

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

На правах рукописи

Кузина Дарья Дмитриевна

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРОВОГО КАНОНА ПУТЕШЕСТВИЯ В
АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА**

Специальность 10.01.03 – литература народов стран зарубежья
(литература США)

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель:
д.ф.н. Панова Ольга Юрьевна

Москва – 2022

Содержание

Введение.....	3
Глава I. Жанр травелога и его место в литературе США.....	25
1.1. Литература путешествий: теоретические трудности в определении жанра.....	25
1.2. Литература путешествий в Америке: основа национальной идеи.....	33
1.3. Литература путешествий в XIX веке: складывание канона.....	42
1.4. Литература путешествий в эру прогрессивизма (1880-1900-е)....	52
1.5. Модернистская программа культурно-национального строительства 1910-1920-х и новые направления путешествий.....	60
Глава II. Генри Джеймс: в поисках национального характера.....	71
Глава III. Теодор Драйзер: путешествие как самопознание.....	87
Глава IV. Лэнгстон Хьюз и Клод Маккей: новое знание о национальных корнях.....	106
Глава V. Генри Миллер: примирение с Америкой.....	134
Глава VI. Джон Дос Пассос и Э.Э. Каммингс: модернистский травелог.....	159
6.1. Джон Дос Пассос: аранжировка впечатлений.....	167
6.2. Э.Э. Каммингс: травелог без правил.....	180
Заключение.....	190
Библиография.....	197
Приложение 1. Библиография американского травелога 1900-1945 гг.....	221
Приложение 2. Переводы.....	248

Введение

Общая характеристика работы. Литература путешествий, тревелог в последние годы все больше интересуют исследователей. Это обусловлено неоспоримым усилением влияния документальной литературы в современной словесности. При этом ясно, что тенденция эта берет начало в литературном процессе вековой давности – переменах, происходивших на рубеже веков и в период между двумя мировыми войнами.

В воспоминаниях Джорджа Оруэлла о Генри Миллере содержатся рассуждения, которые отчасти дают ответ на вопрос о причинах взлета в это время документальных жанров. «За последние полтора века ни одно десятилетие не оказалось так скудно на художественную прозу, как 30-е годы. Были хорошие поэмы, удачные социологические исследования, блестящие статьи, но только не достойная восхищения художественная проза. Начиная с 1933, года духовный климат все менее благоприятствовал ей. Любой человек, способный распознать *Zeit-geist*, вовлекался в политику. Не всякий, разумеется, участвовал в политических комбинациях, но практически все были так или иначе к ним причастны, становясь действующими лицами пропагандистских кампаний и втягиваясь в мелочную перепалку. Коммунисты и сочувствующие им обладали непропорционально большим влиянием в литературных журналах. Наступило время ярлыков, лозунгов и тактических демаршей. В худшие моменты приходилось забиваться в угол и лгать без зазрения совести, в лучшие — добровольно подвергать себя самоцензуре («Надо ли это говорить? Не прозвучит ли это профашистски?»). Разве можно вообразить, чтобы в такой атмосфере родился хороший роман? Хорошие романы пишутся не ортодоксами»¹. Рост внимания и интереса к документальной литературе констатировали не только писатели, но и исследователи. Так, органичность возросшего запроса на

¹ Современники о Генри Миллере. Дж. Оруэлл // Миллер Г. Тропик Рака; Тропик Козерога. Современники о Генри Миллере / Пер. с англ. – М.: АСТ, Астрель, 2000. С. 708-709.

документалистику именно в США и именно в первой трети XX века раскрывается, например, в книге Джеффа Оллреда «Американский модернизм и документалистика времен Депрессии» (2010)².

Изменившийся «баланс сил» между художественной и документальной прозой ведет к переменам в литературном ландшафте – поэтому становятся такими заметными ранее долго считавшиеся периферийными документальные жанры, в том числе травелог, характеризующийся необычайным «протеизмом», способностью сближаться с любыми другими жанровыми формами.

Американец в первой трети XX века, озадаченный вопросом о сущности и будущем своей страны, положение которой в мире стремительно и кардинально менялось, именно через путешествие, через травелог ищет ответ на вопросы: что такое Америка? что значит быть американцем? кто таков я сам? – что, безусловно, сообщает американскому травелогисту того времени особую эмоциональную и идейную насыщенность и способность «порождать смыслы».

С теоретической точки зрения нас интересует жанровая природа литературы путешествий – вопрос, тесно связанный с соотношением документального и художественного в этом жанре и, в силу этого, с генезисом этой литературы. «Кто-то приравнял литературу путешествия к науке, для других она стала способом выжить или оправдаться, третьи превратили ее в прислужницу политики и пропаганды. Единственная цель, которая, пожалуй, всегда вдохновляла всех цивилизованных путешественников – сделать из этой литературы искусство; до сих пор для многих она – один из малого числа способов приложить руку к искусству или творчеству», – пишет М.Д. Цабель, рассуждая о природе жанра³. Нам тоже

² Allred J. *American Modernism and Depression Documentary*. – New York: Oxford University Press, 2010. 283 p.

³ James H. *The Art of Travel. Scenes and Journeys in America, England, France and Italy from the Travel Writings of Henry James* / Ed. and with an introd. by M.D. Zabel. – Garden City, NY: Doubleday, 1958. P. 14.

представляется, что само по себе ощущение себя в роли главного героя какой-то истории не может не влиять на стилистику текста и отбор материала, уводя тревелог от его документальных истоков, – слабее или сильнее, в зависимости от конкретного текста. Таким образом, запрос начала XX века на документальность вкупе с открытиями модернизма (в том числе появлением такой техники, как поток сознания, или проникновением в сферу художественного творчества представлений об относительности времени и пространства) приводят сначала к возвышению документальных жанров – а затем, как следствие, к существенному их переосмыслению. Наше исследование посвящено американскому тревелогу первой трети XX века, поскольку именно в литературе США этот жанр играл и играет до сих пор важнейшую, в многом литературообразующую роль. Этот тезис подробно раскрыт в первой главе нашей работы.

Актуальность исследования. Изучение тревелога до сих пор остается (и, вероятнее всего, надолго останется) чрезвычайно актуальным, ведь разговор об этом жанре, по сути, является разговором об отношениях между жизнью и литературой. Налицо чрезвычайный интерес исследователей к литературе путешествий, выросший в XXI веке в соответствии с запросом на научное рассмотрение пограничных, метапредметных явлений в искусстве, каковым безусловно является тревелог, сочетающий в себе не только черты многих жанров, но и выходящий нередко за рамки собственно литературы.

Кроме того, актуальность нашего исследования обусловлена еще и тем, что американская литература, начавшаяся с тревелога и во многом выросшая из него, предлагает чрезвычайно яркий материал по истории и эволюции жанра; однако, учитывая важное место, которое этот жанр занимает в литературе США, налицо известный дефицит научных работ, посвященных американскому тревелогу, особенно в отечественной американистике.

Объектом нашего исследования является литература путешествий США, а *предметом* – ее развитие и трансформация в первой трети XX века.

Мы рассчитываем достичь следующей *цели*: исследовать американские травелоги первой трети XX века в контексте американской и, шире, западной литературной истории этого времени, проанализировать изменения, произошедшие с травелогом в это время, и причины этих изменений, а также на основании проведенных наблюдений сформулировать собственные соображения о жанровой природе травелога и в частности, о мере документального и художественного начал в нем.

Для этого нам предстоит выполнить следующие основные *задачи*:

- проследить основные этапы складывания жанрового канона травелога в американской литературе до начала XX в., определить национальную специфику жанра;
- составить библиографию американского травелога первой трети XX в.; отобрать наиболее репрезентативные тексты для детального рассмотрения;
- проанализировать корпус травелогов, уделяя особое внимание наиболее значимым и репрезентативным текстам, с опорой на географический (маршрут путешествий), хронологический (время совершения путешествий), биографический (личность автора, роль травелога в его жизни и творчестве) принципы;
- рассмотреть травелоги в контексте литературной, культурной и социально-политической истории США первой трети XX в.; отталкиваясь от жанрового канона конца XIX в., проследить трансформации жанра в 1900-1930-е гг., вскрыть причины этих изменений, выделить характерные особенности тематики и поэтики травелогов этого периода;
- сделать теоретические выводы на основе анализа бытования и динамики жанра травелога в литературе США первой трети XX века.

Степень изученности вопроса. Изучение литературы путешествий в отечественной филологии имеет давнюю традицию. Первыми

исследователями литературы путешествий в России следует считать деятелей Румянцевского кружка, которые в первой четверти XIX века занимались сбором, публикацией и изучением древних памятников русской словесности, в то числе многочисленных «хожений». Эти публикации пробудили интерес к подобным письменным источникам у таких историков, как Н.М. Карамзин («История государства Российского»), М.А. Максимович («История древней российской словесности»), И.П. Сахаров («Путешествие русских людей в чужие земли», 1837; «Путешествие русских людей по Святой земле», 1839; «Путешествие русских людей», 1849). Благодаря интересу исследователей во второй половине XIX века древнерусских текстов о путешествиях было обнаружено уже множество, их изучением занялись вплотную, появились такие работы, как «Древнерусское паломничество по Святым местам Востока вообще и путешествия русских раскольников в те же места в частности» (1867–1869) Н.В. Докучаева. В конце XIX века древнерусскими текстами о путешествиях занимались такие ученые, как Н.С. Тихонравов, П.В. Владимиров, А.Н. Пыпин и другие. При этом как филологов рубежа веков, так и их предшественников тексты о путешествиях интересовали в первую очередь по двум причинам – с точки зрения исторической и этнографической и с точки зрения религиозной; в своих работах они пытались сформулировать образ русского религиозного сознания – что в большой степени является аналогом современных попыток на материале травелогов вести разговор о той или иной национальной идентичности. Однако как явление литературное путешествия интересовали исследователей в малой мере; путешествия считались фактом литературной периферии. В этом же ключе рассматривались тексты более современные – XVI-XVIII вв, даже начала XIX века. Соответственно, чем более современным был текст о путешествии, тем меньший интерес он представлял для исследователей.

С формальной точки зрения к путешествиям первыми подошли такие ученые, как, например, А.П. Скафтымов (в 1929 году, на материале «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева, которое он постарался

проанализировать в том числе как филолог, испытавший влияние формализма: как нечто целостное, а не набор разбросанных наблюдений⁴) или В.П. Адрианова-Перетц (в 1940-х гг., на материале «Хождения за три моря Афанасия Никитина», которое впервые попыталась проанализировать с лингвистической точки зрения⁵). Однако в целом в СССР путешествия изучались мало: ни религиозный, ни страноведческий аспект не обладали актуальностью. До 1980-х гг. изучение литературы путешествий представлялось занятием второстепенным и малозначимым.

В 1980-е гг. и за рубежом, и в России начинают появляться работы, в которых предлагается совершенно новый взгляд на литературу путешествий. Одним из первых ставит вопрос о мнимой или подлинной периферийности этой литературы и связанной с ней области знаний ставит Пол Фассел в книге «За границей: британская литература путешествий в межвоенный период» (1982)⁶. В 1983 году выходит монография Перси Адамса «Литература путешествий и эволюция романа», в которой литература путешествий предстает своего рода параллельной формой развития литературы⁷. Отсюда – соответствие текста о путешествии своей эпохе, которое дает Адамсу повод провести подробный хронологический обзор путешествий разного времени, а кроме того – взаимное влияние двух форм, романной и документальной, стимулирующее развитие и той, и другой. Адамс одним из первых обращает внимание на то, что на сознание путешественника неизбежно влияют его ожидания и предрассудки, – а следовательно, влияют они и на текст. В сущности, это позволяет об авторе путешествия говорить как о «ненадежном рассказчике» нон-фикционального

⁴ Скафтымов А.П. О стиле «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева // Статьи о русской литературе. – Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1958. С. 77-103.

⁵ Хождение за три моря Афанасия Никитина / Под ред. Б. Грекова и В. Адриановой-Перетц. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1948. 302 с.

⁶ Fussell P. *Abroad: British Literary Traveling between the Wars.* – Oxford: Oxford University Press, 1982. 246 p.

⁷ Adams P.G. *Travel Literature and the Evolution of the Novel.* – Lexington, KY: University press of Kentucky, 1983. 382 p.

извода. В подобном же направлении развивается мысль в диссертации В.М. Гуминского «Проблема генезиса и развитие жанра путешествий в русской литературе» (1979)⁸. Гуминский стал одним из первых отечественных исследователей жанра – представителей нового направления в его изучении. Для него литература путешествий тоже является своего рода отдельной, «параллельной» литературой, которая существовала издревле и развивалась по собственным законам, понимание которых необходимо для подлинного постижения природы литературы как таковой.

Работы этих исследователей предвосхитили взлет интереса к литературе путешествий, произошедший в 1990–2000-х гг. Этому способствовали открытия постмодернизма, разрушившие или размывшие границы, во-первых, между понятиями центрального и периферического, а во-вторых – между понятиями действительности и вымысла. В мире обострились проблемы самоидентификации – гендерной, расовой, национальной и т.д. – что чрезвычайно созвучно практически любому тексту о путешествии просто в силу его природы. Выход из эры колониализма, тенденция к глобализации только обострила эти вопросы. Таким образом, литература путешествий на рубеже XX–XXI веков из периферийного явления превратилась в объект пристального внимания филологов. Подходы к изучению литературы путешествий становятся более разнообразными.

Например, касается это возможных классификаций литературы путешествий. Как правило, ключевым в данном случае оказывается вопрос о соотношении в тексте о путешествии литературного, вымышленного – и документального, нефикционального. Одним из первых поставил вопрос об этом соотношении Филип Гоув в своей монографии «Воображаемые путешествия и проза» (1961), указав на необходимость различать

⁸ Гуминский В.М. Проблема генезиса и развитие жанра путешествий в русской литературе. – Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1979. 184 с.

«воображаемые путешествия» и «реальные путешествия»⁹. Стремлением к установлению правил этого различия и объясняется такое множество вариантов классификации текстов о путешествиях, появляющихся до сих пор. Некоторые исследователи, такие как М. Робинсон и Х.К. Андерсен («Литература и туризм», 2002)¹⁰ или П. Холланд и Г. Хагган («Туристы с печатными машинками: критическое исследование современных текстов о путешествиях», 1998)¹¹, предлагают рассматривать путешествие исключительно как явление non-fiction и не пытаться навязывать ему вопросов, типичных для литературы фикциональной. Другие, например, Эрик Лид («Сознание путешественника. От Гильгамеша к глобальному туризму», 1991)¹² или Кейси Блантон («Литература путешествий. Мир и личность», 1997)¹³, на первый план выводят исторический контекст и классифицируют травелоги исходя из хронологического принципа. Для нас особенно интересны заключения К. Блантон, согласно которым каждая эпоха формировала свой «образ» текста о путешествии, задавала его композицию и тематику, и такой текст впоследствии оказывался способен существовать как сложившаяся литературная форма¹⁴. Это согласуется с важным для нас представлением о каноне жанра путешествия. Из современных отечественных исследователей предлагают свои варианты классификаций травелога Е.Р. Пономарев, М.В. Шадрина, И.Ф. Головченко. Эти классификации будут подробно рассмотрены в п. 1.1.

⁹ Gove Ph.B. *The Imaginary Voyage in Prose Fiction. A History of Its Criticism and a Guide for Its Study, with an Annotated Check List of 215 Imaginary Voyages from 1700 to 1800.* – London: The Holland Press, 1961. P. 171.

¹⁰ *Literature and Tourism* / Ed. by M. Robinson and H.C. Andersen. – London; New York: Continuum, 2002. 320 p.

¹¹ Holland P., Huggan G. *Tourists with Typewriters: Critical Reflection on Contemporary Travel Writing.* – Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1998. 261 p.

¹² Leed E.J. *The Mind of the Traveler. From Gilgamesh to Global Tourism.* – New York: Basic Books, 1991. 328 p.

¹³ Blanton C. *Travel Writing: the Self and the World.* – New York: Twayne Publishers, 1997. 182 p.

¹⁴ *Ibid.* P. 14–15.

Также проявляет себя различие подходов к тексту о путешествии в концепциях, стремящихся разъяснить природу путешествия как таковую. Здесь может быть назван, например, семиотический подход, при котором путешествие рассматривается в первую очередь как столкновение разных знаковых систем, где одно и то же действие или событие может быть интерпретировано по-разному – а в пространстве путешествия эти разные интерпретации наличествуют одновременно. В статье Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского ««Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина и их место в развитии русской культуры» акцентируется особенно важная черта путешествия: несовпадение реального путешествия и рассказа о нем, которое тоже понимается как взаимодействие двух разных знаковых систем¹⁵. Еще на один слой смыслов указывает Сара Миллс («Дискурсы различий. Женская литература путешествий и колониализм», 1991)¹⁶, а ей уже вторит Кейси Блантон: при анализе текстов о путешествиях необходимо во всей полноте учитывать историко-идеологический контекст, в котором писалось произведение, вплоть до особенностей быта эпохи. Именно это пытаемся делать мы, предпосылая собственно анализу американских тревелогов первой трети XX века столь обширный историко-литературный комментарий.

Другой подход к объяснению природы путешествия предложен в книге Чарльза Форсдика «Путешествие во французской и франкофонной культуре в XX веке: постоянство разнообразия» (2005)¹⁷. Автор ставит в центр истории развития жанра путешествия понятие «экзотизм» – от актуальности или неактуальности этого понятия, по его мысли, зависит всплеск или угасание литературы путешествий в разные исторические периоды. Для него наиболее

¹⁵ Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Л.: Наука, Лен. отд., 1987. С. 525-606.

¹⁶ Mills S. Discourses of Difference. An Analysis of Women's Travel Writing and Colonialism. – London; New York: Routledge, 1991. P. 69-70.

¹⁷ Forsdick Ch. Travel in the Twentieth-Century French and Francophone Cultures: the Persistence of Diversity. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2005. 255 p.

значимым импульсом для возникновения текста о путешествии является стремление к познанию и репрезентации Другого.

Наконец, одной из наиболее существенных для современного изучения жанра путешествия концепций является теория постколониализма. Эдвард Саид в своей книге «Ориентализм» (1978)¹⁸ сформулировал несколько чрезвычайно значимых для исследователей травелога идей. Первая из них – подмена подлинных образов колонизируемых стран и народов представлениями о них в сознании колонизаторов. На протяжении всей колониальной эпохи не было создано, таким образом, ни одного правдивого текста о не-европейском, не-западном мире (у Саида – о восточном мире). Текст оказывается инструментом колонизации, множащим, утверждающим эти искаженные образы. Саид рассуждает об этом механизме на примере Востока, Е.Р. Пономарев – на примере Запада и СССР, показывая, как неимоверна была разница между Западом реальным и Западом, образ которого транслировался в СССР, Западом идеологическим¹⁹. Но точно так же применим этот принцип к описанию отношений между Новым и Старым Светом, – он необходим для понимания той картины мира, которая разрушалась в американском травелоге первой трети XX века. Логичным следствием из первой идеи является вторая – существование «воображаемой географии», в которой весь мир делится на «наш» и «их» и в которой нет места настоящим странам и народам – только их веками конструировавшимся образам.

Постколониальные идеи, изначально не имеющие прямого отношения к литературоведению, были плодотворно восприняты в XXI отечественной филологией. Особенно интересными они оказались в изучении эмигрантской литературы, в которой имеет место колониальное сознание «наоборот», т.е. лишенное «империи», оставшееся за ее пределами. Очень значимой работой

¹⁸ Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока. / Пер. с англ. – СПб.: Русский Мир, 2006. 639 с.

¹⁹ Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920-1930-х гг. – Дисс. ... доктора филол. наук. – СПб, 2014. С. 36-37.

в изучении советского и эмигрантского травелога является диссертация Е.Р. Пономарева «Типология советского путешествия: “Путешествие на Запад” в русской литературе 1920–1930-х гг.» (2014), которая для нас интересна в первую очередь как вклад в теорию травелога. Первые современные исследования именно русских травелогов были собраны в книге «Беглые взгляды» (2010) под редакцией Г.А. Тиме и В.Ш. Кисселя²⁰. В этом сборнике проявляют себя два основных подхода к изучению травелога – т.н. «метафорический» (в котором текст о путешествии рассматривается через призму той или иной концепции – гендерной, постколониальной и т.д.) и традиционный, в центре которого – основная для травелога тема переоткрытия и переописания пространства. Также Е.Р. Пономарев указывает на то, что именно в этом сборнике состоялся окончательный отказ от раньше принятого в отечественном литературоведении термина «путевой очерк» (который, во-первых, относил текст о путешествии к разряду второстепенных произведений, а во-вторых, производил путаницу, сводя тексты о путешествиях к одной-единственной жанровой разновидности) в пользу термина «травелог», который в отечественном литературоведении впервые был использован А.М. Эткингом в книге «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах» (2001), а впоследствии стал общеупотребительным²¹. На проблеме терминологии в сфере изучения литературы путешествий мы тоже более подробно остановимся в п. 1.1.

Постколониальная оптика как литературоведческий инструмент актуальна и для нашего исследования – ведь в нем речь пойдет в том числе о травелогах афроамериканских авторов – Лэнгстона Хьюза и Клода Маккея (родившегося и выросшего на Ямайке, что сделало проблему колониального сознания одной из важнейших в его творчестве), а также о путешествиях в

²⁰ Беглые взгляды: новое прочтение русских травелогов первой трети XX века / сост. В.С. Киссель, Г.А. Тиме. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. 400 с.

²¹ Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. С. 57

страны, не принадлежащие «западному» миру: в Африку, в Южную Америку, на Ближний Восток.

Крупным центром исследования литературы путешествий на данный момент являются Новосибирский государственный университет, где под руководством Т.Е. Печерской проводятся ежегодные конференции, посвященные травелогу, и выпускаются коллективные монографии под общим заглавием «Русский травелог XVIII–XX веков»²²; Тверской государственный университет, где изучением травелога занимаются М.В. Строганов и Е.Г. Милюгина²³. Особенности изучения травелога в России во многом зависят от того, в каком именно регионе он изучается.

Однако теория травелога – не единственная область, в которой проводились наши изыскания. Необходимыми для нас источниками явились как многообразные истории литературы США, так и труды, посвященные собственно литературе путешествий в США. В числе последних следует назвать несколько особенно значимых работ: «Кембриджский сборник по американской литературе путешествий» под редакцией Альфреда Бендиксена и Джудит Гамеры (2009)²⁴, «Вспоминая пройденные пути: великие американские тексты о путешествиях, 1780–1910» Ларцера Циффа (2000)²⁵, «Темпераментные путешествия: эссе и заметки о современной литературе путешествий» под редакцией Майкла Ковалевски (1992)²⁶, «Три путника в поисках Европы: Эзра Паунд, Генри Джеймс и Т.С. Элиот» Алана

²² См, напр.: Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы / Под ред. Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. 464 с.

²³ Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Русская культура в зеркале путешествий. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2013. 176 с.

²⁴ The Cambridge Companion to American Travel Writing. / Ed. by A. Bendixen and J. Hamera. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 306 p.

²⁵ Ziff L. Return Passages: Great American Travel Writing, 1780-1910. – New Haven, CT: Yale University Press, 2000. 304 p.

²⁶ Temperamental Journeys: Essays on the Modern Literature of Travel. / Ed. by M. Kowalewski. – Athens, GA: The University of Georgia press, 1992. 359 p.

Холдера (1966)²⁷, монография «Взгляни на Америку первым: туризм и национальная идентичность» Маргерит Шаффер, посвященная именно путешествиям американцев по самой Америке (2001)²⁸; также берущая за основу сюжет поиска национальной идентичности монография Джона Кокса «Путешествие на Юг: повествование о путешествии и американская идентичность» (2005)²⁹, монографии Донны Пэкер-Кинлоу «Тревожные путешествия: прошлое, настоящее и конструирование национальной идентичности в американской литературе путешествий» (2012)³⁰. За исключением «Кембриджского сборника...» и монографии Донны Кинлоу, эти исследования, хоть и были исключительно полезны для нас как источники фактов и понимания историко-культурного контекста рассматриваемых травелогов, уделяют мало внимания формальной стороне этих текстов – а главное, их взаимосвязям с «большим» литературным процессом. Учитывая значение для нашей работы тезиса о важнейшем месте документальных жанров в процессе формирования национальной специфики современной американской литературы, нельзя не упомянуть диссертацию Л.А. Мишиной «Художественно-документальные жанры в американской литературе XVII-XVIII вв.» (1994)³¹. Одним из основополагающих текстов стала для нас монография отечественной исследовательницы Е. Стеценко, посвященная американскому травелогу, каким он был в XVII–XIX веках («История, написанная в пути»), и представляющая собой своего рода

²⁷ Holder A. *Three Voyagers in Search of Europe: A Study of Henry James, Ezra Pound, and T.S. Eliot.* – Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1966. 396 p.

²⁸ Shaffer M. *See America First: Tourism and National Identity, 1880-1940.* – Washington, DC: Smithsonian Books, 2001. 438 p.

²⁹ Cox J.D. *Traveling South: Travel Narratives and the Construction of American Identity.* – Athens, GA: University of Georgia Press, 2005. 250 p.

³⁰ Packer-Kinlaw D. *Anxious Journeys: Past, Present and Construction of Identity in American Travel Writing.* – Baltimore, MD: University of Maryland, 2012. 248 p.

³¹ Мишина Л.А. *Художественно-документальные жанры в американской литературе XVII–XVIII вв.* – Дисс. ... доктора филол. наук. – М.: 1994. 300 с.

«предысторию» тех процессов, которые мы описали в собственной работе³². Наиболее значимые положения этих исследований будут освещены в п.1.1.

Что касается работ по общей истории американской литературы, то на сегодняшний день наиболее монументальным исчерпывающим трудом на английском языке является «Кембриджская история американской литературы» в восьми томах под редакцией Сэкуена Берковича³³. На русском же языке таковой является шеститомная «История литературы США», подготовленная в ИМЛИ РАН³⁴. Это издание, в котором соединены фактографическое богатство, объективность изложения и в то же время смелость современной, пост-советской переоценки материала, а также внимание к явлениям, ранее находившимся на периферии: иммигрантской культуре, культуре индейцев. Вместе с тем по-прежнему полезным материалом представляется переводная «Литературная история США» (американское изд. 1955)³⁵. Это издание не может претендовать ни на полноту, ни на объективность изложения фактов, но представляет собой чрезвычайно выразительный образчик собственно американской саморефлексии через историю литературы. Наконец, поистине постмодернистским прорывом в академическом письме представляется опять-таки переводная «Новая литературная история Америки» (перевод выполнен по первому изданию 2009 года)³⁶, где каждое литературное событие прослеживается через внелитературную историческую канву, в нераздельной взаимосвязи с большими и маленькими событиями истории

³² Стеценко Е.А. История, написанная в пути... (Записки и книги путешествий в американской литературе XVII-XIX вв.). – М.: ИМЛИ РАН, 1999. 312 с.

³³ The Cambridge History of American Literature / Ed. by S. Berkovitch. – Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1994-2005.

³⁴ История литературы США / Под ред. Я.Н. Засурского, М.М.Кореневой, Е.А. Стеценко. – М.: ИМЛИ РАН – Наследие, 1997-2009.

³⁵ Литературная история США / Под ред. Р. Спиллера, У Торпа, Т.Н. Джонсона, Г.С. Кэнби; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1977.

³⁶ Новая литературная история Америки / Под ред. Г. Маркуса и В. Соллорса; пер. с англ. – М.: Весь мир, 2021. 1168 с.

США, а высказывания авторов статей максимально неформальны и зачастую даже приобретают автобиографический оттенок.

Кроме того, в качестве справочного материала мы использовали в своей работе источники исторического или междисциплинарного характера, освещающие отношения западной интеллигенции с советским экспериментом. В силу неугасающего интереса к этой теме обеих сторон и расширения доступа к архивам таких исследований в последние десятилетия появляется множество. Следует назвать хотя бы следующие из них: монографии Сильвии Р. Маргулис «Паломничество в Россию: Советский Союз и отношение к иностранцам, 1924–1937» (1968)³⁷, Пола Холландера «Политические пилигримы: : путешествия западных интеллектуалов в Советский Союз, на Кубу и в Китай, 1928–1978» (1997)³⁸, Катерины Кларк «Москва, четвертый Рим: сталинизм, космополитизм и развитие советской культуры, 1931–1941» (2011)³⁹, Майкла Дэвид-Фокса «Витрины великого эксперимента: Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921–1941» (2012)⁴⁰, историков А.В. Голубева «“Взгляд на землю обетованную”: из истории советской культурной дипломатии» (2004)⁴¹ (и ряд других его работ, посвященных советско-западным контактам) и Г.Б. Куликовой «Новый мир глазами старого. Советская Россия 1920–1930-х годов глазами западных интеллектуалов» (2013)⁴², книгу Джулии Микенберг

³⁷ Margoulies S.R. The Pilgrimage to Russia: The Soviet Union and the Treatment of Foreigners, 1924-1937. – Madison, WI: University of Wisconsin, 1965. 684 p.

³⁸ Hollander P. Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba, 1928-1978. – Lanham, MD: University Press of America, 1990. – 526 p.

³⁹ Clark K. Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931-1941. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011. 432 p.

⁴⁰ Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента: Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы / Пер. с англ. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. 561 с.

⁴¹ Голубев А.В. «Взгляд на землю обетованную»: из истории советской культурной дипломатии. – М.: Институт российской истории РАН, 2004. 276 с.

⁴² Куликова Г.Б. Новый мир глазами старого. Советская Россия 1920-1930-х годов глазами западных интеллектуалов: Очерки документированной истории. – М.: Издательский центр Института российской истории РАН, 2013. 368 с.

«Американки в Красной России: в погоне за советской мечтой» (2017)⁴³. В нашей работе речь идет о 1920–1930-х гг., на рубеже которых произошел перелом в развитии советского эксперимента. Западные писатели, посещавшие в эти годы Россию, подвергались тем самым своего рода проверке убеждений, оказывались перед мировоззренческой дилеммой, – именно поэтому в нашей работе так много внимания уделено именно путешествиям в Советский Союз. Для понимания идейной подоплеку и технической стороны этих визитов вышеназванные работы чрезвычайно полезны – однако в центре внимания их авторов, разумеется, оказывается само путешествие, а не повествование о нем.

Степень изученности вопроса, с одной стороны, позволяет нам строить свое исследование на фундаментальных источниках, а с другой – позволяет говорить о *новизне* избранного ракурса и отбора материала. Попытка произвести анализ американского травелога первой трети XX века на примере столь многочисленных и столь различных как по географии путешествий, так и по художественной направленности текстов, вывести на основании этого анализа закономерности развития жанра в целом и показать значимость этого жанра для всей американской литературы и культуры первой половины XX века предпринимается впервые. Кроме того, предлагается новый подход к отобранному материалу: в центр внимания исследователя помещается не собственно рассказ писателя об увиденном, а то, как этот рассказ раскрывает самого писателя. Такой подход редко применяется в отечественном литературоведении, до сих пор сосредоточенном в первую очередь на том, как тот или иной писатель оценивает посещенные им страны. В процессе исследования были созданы переводы фрагментов анализируемых произведений, и тем самым эти тексты впервые были введены в оборот отечественной науки (Приложение 2).

⁴³ Mickenberg J. *American Girls in Red Russia: Chasing the Soviet Dream*. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 2017. 435 p.

Материал исследования. В ходе работы над исследованием была составлена библиография американского тревелога (Приложение 1), обзор которой дан в преамбуле ко второй главе. Нашей задачей было составить себе как можно более полное представление о массиве американской литературы путешествий изучаемого периода и затем отобрать корпус наиболее репрезентативных текстов, которые станут центральными для нашего исследования. В результате для подробного анализа были отобраны следующие тексты о путешествиях: «Английские часы» (“English Hours”, 1905), «Итальянские часы» (“Italian Hours”, 1909) и «Американские зарисовки» (“American Scene”, 1907) Генри Джеймса; «Путешественник в сорок лет» (“Traveler at Forty”, 1913), «Каникулы индианца» (“A Hoosier Holiday”, 1916), «Русский дневник» и «Драйзер смотрит на Россию» (“Dreiser Looks at Russia”, 1928) Теодора Драйзера; «Негр и Советская Россия» (“Soviet Russia and the Negro”, 1923) и «Вдали от дома» (“A Long Way from Home”, 1937) Клода Маккея; «Москва и я» (“Moscow and me”, 1933), “Негры в Москве: страна без Джима Кроу» (“Negroes in Moscow: in a Land where is no Jim Crow”, 1933) и «Большая вода» (“A Big Sea”, 1940) и, в качестве сопоставительного материала, более поздняя книга «Поброжу и расскажу» (“I Wonder as I Wander”, 1956) Лэнгстона Хьюза; «Колосс Маруссийский» (“The Colossus of Maroussi», 1940) и «Аэрокондиционированный кошмар» (“The Air-Conditioned Nightmare”, 1945) Генри Миллера; «Во всех краях» (“In All Countries”, 1934) и «Восточный экспресс» (“Orient Express”, 1927) Джона Дос Пассоса, «ЭЙМИ, или Я ЕСМЬ» (“Eimi: I Am”, 1933) Э.Э. Каммингса. Нетрудно заметить, что, хотя в центре нашего внимания первая треть XX века, разброс между произведениями составляет более 50 лет. Это связано в первую очередь с тем, что тексты о путешествиях нередко становились у писателей этого поколения (особенно это касается Маккея, Хьюза и Дос Пассоса) неотъемлемой частью автобиографий, так что сами путешествия могли иметь место много раньше, нежели о них было написано. Тем не менее, мы постарались сосредоточиться на текстах, по времени максимально

близких к описываемым путешествиям. Выбирая для анализа произведения именно этих авторов, мы стремились к тому, чтобы выполнены были следующие условия: 1) путешествие было не единичным эпизодом в биографии писателя, перемещения по миру были важной частью его жизни; 2) за свою жизнь писателю удалось побывать во многих странах – и именно тексты о разных местах используются в анализе для сопоставления; 3) писатель оставил существенный след в истории литературы США, и притом не только благодаря своим травелогам; 4) в перечне писателей имеет место максимальный поколенческий и мировоззренческий разброс, какой возможен в рамках изучаемого периода. Следование всем этим условиям было необходимо для того, чтобы составить наиболее полное и разностороннее представление о трансформации жанра путешествия.

Основным *методом* исследования является историко-литературный подход с акцентом на биографические исследования, а также использование элементов компаративного и имагологического методов. Помимо работы с собственно текстами о путешествиях во множестве изучались англоязычные источники документального характера: письма, газетные статьи, мемуаристика. Такие источники позволяют отследить биографический и социокультурный контекст путешествий, описанных в выбранных для анализа текстах. Благодаря этому выстраивается объективный и целостный образ путешествия как этапа в жизни и мировоззренческом становлении его автора.

Теоретическое значение работы состоит в расширении представлений о жанровой природе травелога (в частности о балансе документального и художественного в нем) и его национальной специфике в США; вскрытии причин и закономерностей, лежащих в основе трансформации жанра в первой трети XX в.; выдвигании и обосновании концепции о протеизме и синкретизме жанра травелога эпохи модернизма, вбирающего в себя черты автобиографии, публицистики и фикциональных жанров. Библиография американского травелога первой трети XX века

(Приложение I) представляет собой достаточно обширный справочный материал, который может представлять ценность для исследователей.

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут использоваться в преподавании учебных дисциплин по истории зарубежной и, в особенности, американской литературы, теории литературы, а также в издательско-редакторской области для подготовки вступительных статей и справочного аппарата к изданиям американских трэвелогов первой трети XX века. Библиография американского трэвелога 1900-1945 гг. (Приложение 1) может представлять интерес для переводчиков и издателей, поскольку более двух третей этих текстов не переводились на русский язык даже отрывочно.

На защиту выносятся следующие положения:

1. В американской литературе XIX века формируется определенный жанровый канон трэвелога. На формирование этого канона повлияли изначальная сближенность американского трэвелога, с одной стороны, с практической литературой, а с другой – с религиозной, а также концептуальная оппозиция «Новый Свет – Старый Свет», задававшая систему координат генезиса и эволюции американской литературы путешествий.
2. На рубеже XIX–XX в. и в межвоенный период происходит ломка этого канона, связанная как социально-политическими условиями (изменение положения США в мире, стремительная модернизация общества), так и с ходом литературного процесса – модернистская революция, сдвиг в соотношении художественных и нефикциональных жанров в литературе.
3. В первой трети XX в. трэвелог является одним из центральных и наиболее динамично развивающихся жанров американской литературы.
4. Трэвелог является важным смыслообразующим жанром для литературы США в первой трети XX века в связи с чрезвычайно

обострившейся в это время дискуссией об американской национально-культурной идентичности, в которую литература путешествий вносит заметный вклад

5. В первой трети XX в. из достаточно жестко регламентированного жанра травелог превращается в пространство эксперимента; наблюдается его сближение с автобиографией, романом, журналистикой и публицистикой; травелог активно инкорпорирует техники и приемы художественной литературы – от традиционных (исповедальность) до новых (поток сознания).
6. Расширяется география и социальная значимость травелога – помимо традиционных путешествий в Старый Свет и поездок в экзотические края (Восток, Африка и т.п.), в фокусе внимания оказываются локации, где разворачиваются революционные события, социальные эксперименты (СССР, Мексика, Испания и т.д.).

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, шести глав, Заключения, Библиографии и двух Приложений. Во Введении раскрываются актуальность исследования, его объект и предмет, задачи исследования, его новизна и методология, степень изученности вопроса, теоретическая и практическая значимость работы и ее апробация; описывается материал исследования; обозначаются выносимые на защиту положения. В первой главе прослеживаются основные этапы генезиса и эволюции литературы путешествий в США, рассматриваются причины, в силу которых этот жанр изначально занял в американской литературе центральное место; особое внимание уделяется жанровому канону травелога, сложившемуся в американской литературе XIX в. и началу его пересмотра на рубеже XIX–XX вв. В следующих главах дается анализ корпуса травелогов первой трети XX в. – текстов, отобранных в качестве основного материала исследования. Отдельные главы посвящены травелогам Г. Джеймса (гл. 2), Т. Драйзера (гл. 3), Г. Миллера (гл. 5); главы 4 и 6 посвящены каждая двум

писателям (К. Маккею и Л. Хьюзу; Дж. Дос Пассосу и Э.Э. Каммингсу соответственно): их травелоги сопоставляются на основе биографического принципа и/или принципа близости творческих концепций. В Заключении подводятся итоги исследования, обозначаются перспективы дальнейшего изучения американского травелога XX века. Библиография к диссертации состоит из 254 позиций, из них 171 – на английском языке. Приложение 1 – Библиография американского травелога 1900–1945 гг. Приложение 2 – переводы писем и фрагментов анализируемых травелогов.

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в научных докладах на международных научных и научно-практических конференциях:

1. VI Международные Зверевские чтения по американистике «Коллективная память: власть прошлого в социокультурной жизни Америки» (15-16 мая 2019 года).
2. VIII Ежегодная научная конференция аспирантов и молодых ученых «Приключения и путешествия в литературе. К 300-летию романа Даниэля Дефо “Робинзон Крузо”» (13-14 июня 2019 года).
3. Всероссийская конференция «Западно-советские литературные контакты (1917–1990)», Москва, ИМЛИ РАН (27 октября 2020 года).
4. VI Международный конгресс переводчиков (12–15 ноября 2020 года).

По теме диссертации были подготовлены следующие публикации:

1. Кузина Д.Д. Автогеография Теодора Драйзера: три травелога о четырех мирах // Вестник Пермского университета. Серия «Российская и зарубежная филология». 2020. Т. 12. № 2. С. 100–109.
2. Кузина Д.Д. «В недрах моей Африки»: травелоги и Клода Маккея Лэнгстона Хьюза о «стране предков» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Литературоведение, журналистика». 2021. Т. 26. № 2. С. 227–236.

3. Кузина Д.Д. Два друга – две России: советские травелоги Э.Э. Каммингса и Дж. Дос Пассоса // Вопросы литературы. 2022. №2. С. 67-88. *(в печати)*
4. Кузина Д.Д. «Новая Россия» и старые обиды: о литературном скандале вокруг советских травелогов Т. Драйзера и Д. Томпсон // *Studia Litterarum*. 2020. Т. 5. № 4. С. 146–165.
5. Сиротинская (Кузина) Д. Реверсивное движение: путешествия американских писателей в первой трети XX века // *Иностранная литература*. 2021. №10. С. 198–277.
6. Два путевых дневника Германа Мелвилла: эволюция авторской манеры через призму документального жанра // *Литература двух Америк*. Электронная версия. 2019. – URL: http://litda.ru/images/online-2019/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2019.pdf.
7. Хронотоп дороги в повести Дж. Стейнбека «Заблудившийся автобус» // *Литература двух Америк*. Электронная версия. 2018. – URL: – http://litda.ru/images/online-2018/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81_2018.pdf

В ходе работы над диссертацией исследование было поддержано грантом РФФИ № 19-312-90058 Аспиранты «Американские травелоги между двумя мировыми войнами: взгляд на “старую” Европу и “новую” Россию».

Глава I

Жанр травелога и его место в литературе США

1.1. Литература путешествий: теоретические трудности в определении жанра

Перед исследователями, посвятившими себя литературе путешествий – и не важно, на отечественном или на зарубежном материале они разрабатывают эту тему, - встает несколько трудных препятствий на пути к четкому и исчерпывающему определению жанра путешествия (и вообще признанию его отдельным жанром). Главным из них является признаваемая всеми исследователями синтетичность жанра, т.е. его способность в произвольной форме сочетать в себе признаки любых других жанров. На это одним из первых указывал В.М. Гуминский, один из главных отечественных исследователей жанра, считавший, что путешествие сочетает в себе документальное, художественное и фольклорное начала⁴⁴. Понятно, что подобный протезизм жанра – черта, по существу своему препятствующая формулировке любых определений. Е.Р. Пономарев прямо указывает на то, что «работы о путешествиях не имеют сложившегося словаря терминов»⁴⁵.

Пытаясь дать оценку соотношению документального и художественного в путешествии, исследователи идут по пути дробления понятия литературы путешествий на множество поджанров, определяющими для которых являются именно показатели объективности/субъективности повествования в путевой прозе. Это «травелог», «путевая проза», «путевые заметки», собственно «литература путешествий», или «путешествие», «путевой дневник» и т.д. Перечень собственно жанров (а не синонимичных понятий) разнится от источника к источнику, и точно так же не существует единых и общепринятых представлений о том, что именно под всеми этими

⁴⁴ Гуминский В.М. Проблема генезиса и развитие жанра путешествий в русской литературе. С. 41.

⁴⁵ Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия... С. 6.

понятиями подразумевается. Английский исследователь Р. Дэвидсон и вовсе использует термин «литература подвижности» (*literature of mobility*), несозвучный всем прочим. С терминологической неустроенностью литературы путешествий связана, в том числе, неизбежность недопонимания между исследователями, каждый из которых может подразумевать под понятием, скажем, «травелог» вовсе не то, что подразумевает его оппонент. Полагаем, что здесь нам следует обозначить свою позицию и указать, что под «литературой путешествий» и «травелогами» мы подразумеваем корпус текстов, в которых описываются *реально имевшие место* путешествия, совершенные самими авторами этих текстов. Когда речь идет о литературном путешествии именно в таком аспекте, то эти понятия могут рассматриваться как синонимичные, как, например, в работах А.М. Эткинда и Е.Р. Пономарева. Нюансы же будут различаться от текста к тексту и в совокупности, по нашему убеждению, не влияют на понимание жанра как такового, давая лишь недвусмысленное указание опять-таки на его чрезвычайно «подвижную» природу. Таким образом, говоря о «травелоге», мы используем этот термин как *синонимичный* для «литературы путешествий», «путевой заметки», «путевого очерка» и т.д., полагая, что это наиболее удачное обобщающее слово для текстов о путешествиях, соответствующих перечисленным выше признакам.

Крупная исследовательница литературы путешествий Н.М. Маслова тоже предлагает отказаться от тенденции к «дроблению» и четко разграничить путешествия документальные и путешествия литературные; если в первых путешествие является темой, то во вторых – исключительно приемом, а, следовательно, первые нужно рассматривать в контексте публицистики, а вторые – художественной литературы, не считая их чем-то специфическим⁴⁶. Этот подход удобен, но применяя его, мы вынуждены будем игнорировать большую часть характеристик конкретных текстов, придающих им своеобразие. А значит, от указанной другими

⁴⁶ Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра. – М.: Знание, 1980. С. 72.

исследователями синтетичности нам не уйти; придется анализировать жанр, признавая нефиксированность его признаков.

Современная исследовательница В.А. Шачкова в своей статье «Путешествие как жанр художественной литературы: вопросы теории» проводит обзор существующих концепций и завершает его собственным перечнем обязательных признаков жанра, состоящим из девяти пунктов⁴⁷. Действительно, названные ею признаки имеют отношение к большинству текстов о путешествиях, но нам представляется, что выделение подобных закономерностей не столь принципиально, как поиск общей закономерности, порождающей прочие. В связи с этим особенно привлекательной нам представляется концепция В.М. Гуминского, утверждавшего, что в основе литературы путешествий лежит «идея свободы», реализующаяся как на содержательном уровне – в теме путешествия, так и на формальном – в абсолютной свободе текста от жанрового канона⁴⁸. Заключение Н.М. Масловой о том, что сюжетообразующую и «сдерживающую» функцию по отношению к тексту выполняет маршрут, и мысль В.А. Шачковой, что рассказчик в путешествии не имеет права отклоняться от прямого хронологического порядка, опровергаются текстами. На деле повествование о путешествии, хоть и может в каких-то элементах совпадать с другими текстами того же жанра, по сути своей абсолютно свободно.

Как же в таком случае изучать подобный жанр? Еще одна ведущая исследовательница литературы путешествий М.Г. Шадрина предлагает собственный инструмент, позволяющий с большей степенью ответственности классифицировать тексты о путешествиях; этот инструмент – образ рассказчика, самого путешественника. М.Г. Шадрина полагает, что от уровня образованности путешественника, его целей, биографии и

⁴⁷ Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Серия: Филология. Искусствоведение. 2008. №3. С. 280–281.

⁴⁸ Гуминский В.М. Проблема генезиса и развитие жанра путешествий в русской литературе. С. 41.

позиционирования самого себя по отношению к текущей, описываемой в травелогге ситуации и ранжируются тексты о путешествиях, приобретают бóльшую документальность или художественность и оформляются композиционно⁴⁹. Такой подход к изучению подобных текстов представляется нам весьма перспективным, и фигуре рассказчика, его образу в тексте о путешествии в дальнейшем мы будем уделять много внимания. Указывают на то, что путешествие в первую очередь раскрывает читателю самого автора, и зарубежные исследователи – Майкл Ковалевски и Рокуэлл Грей.

Свои классификации текстов о путешествиях предлагали такие исследователи, как А.Ю. Сорочан, Е.Р. Пономарев, И.Ф. Головченко и др. В частности, И.Ф. Головченко, указывая на спутанность параметров в классификациях предшественников, предлагает классифицировать травелог по двум принципам: внешнему – то есть по тому, с каким жанром текст о путешествии соотносится, частью какого текста является; внутреннему – по тому, как соотносится с реальностью совершаемое в тексте путешествие, и здесь оказываются рядом как путешествия настоящие, бывшие в реальности, так и воображаемые – по несуществующим мирам, например; кроме того, И.Ф. Головченко проводит типологию по целеустановке – путешествия-открытия, путешествия-паломничества, туристические путешествия и т.д.⁵⁰. В отличие от М.Г. Шадринной, он полагает, что тип путешествия порождает тип путешественника – а не наоборот, что кажется нам не вполне верным. Непростая классификация, приведенная в работе И.Ф. Головченко, демонстрирует нам, что пытаться определить и раздробить на категории тексты о путешествиях так же трудно и противоестественно, как если бы мы пытались вписать в рамки понятия «жанр» всю мировую литературу. Эти

⁴⁹ Шадринна М.Г. Эволюция языка «путешествий». – Дисс. ... д. филол. н. – М., 2003. С. 312.

⁵⁰ Головченко И.Ф. Семантический комплекс «путешествия» в литературе акмеизма (Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова). – Дисс. ... доктора филол. наук. – М., 2017. С. 54–98.

наши рассуждения созвучны предложению Е.Р. Пономарева, прямо указывающего на то, что для литературы путешествий не вполне уместен термин «жанр», отвести травелогу место «где-то между» родами и жанрами литературы. Е.Р. Пономарев предлагает называть путешествие «метажанром»⁵¹.

Подводя итог в обзоре классификаций, скажем, что наиболее разумно, на наш взгляд, классифицировать травелоги в зависимости от того, с какими жанрами они соотносятся по своим формальным признакам. Подобной же логике следует Е.Р. Пономарев, который, четко разграничив реальные и вымышленные путешествия и сосредоточившись на первых, предлагает делить их на газетно-журнальные и журнально-книжные⁵². Но, по нашему мнению, подобное деление уже излишне. Травелог, как уже было неоднократно упомянуто, способен сочетаться с любыми литературными формами, и значимостью в данном случае будет обладать сама форма, а не то, публицистическая или беллетристическая у нее природа. Это могут быть документальные жанры – дневники, письма; письменно- или устно-публицистические – серии газетных заметок или политические речи; травелоги могут соотноситься с классическими фикциональными жанрами – романом воспитания, например. Соотнесение с тем или иным жанром позволяет выявить цели автора травелога и саму природу, побудительные причины возникновения того или иного конкретного текста – а именно это, в сущности, и является целью подобных классификаций.

В связи с этим важнейшей теоретической монографией на английском языке является для нас «Литература путешествий и эволюция романа» П. Адамса (1983). В ней литература путешествий рассматривается как один из концептуально важных для развития романа жанров. П. Адамс прослеживает его историю начиная с эпохи географических открытий и до XIX века и показывает, что в литературе модель человеческой жизни и

⁵¹ Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия. С. 12.

⁵² Там же. С. 16.

модель путешествия исстари уподоблялись друг другу, а повествование о путешествии так долго существовало в состоянии синтеза с фикциональными жанрами – сказкой, рыцарским романом, плутовским романом и т.д. – что путешествие как мотив стало неотъемлемой частью практически любого романа. Первым романом в современном смысле этого слова Адамс называет «Дон Кихота» – и на его примере доказывает, что природа современного романа разнородна; он обыкновенно включает в себя черты многих жанров: эпической песни, аллегии, новеллы – и, конечно же, путешествия. В эпоху романтизма это было осознано самими литераторами как некий магистральный художественный путь, способ раскрытия характера героя⁵³. Это неудивительно: ведь человеческая личность начинает формироваться именно в тот момент, когда человек впервые ощущает себя во времени и пространстве, берет начальную точку отсчета на координатной оси реальности.

При этом книги о путешествиях изначально обладали сугубо практическим характером – они были предназначены для того, чтобы читатель, никогда не бывавший в тех или иных местах, мог составить о них представление. Таким образом, книги о путешествиях не только заменяли самое путешествие, но и служили важным социальным задачам, в том числе политическим. Именно это противоречие между обезличенным практическим назначением и индивидуальностью авторского стиля и характера (на деле это оборачивалось также противодействием в травелогах установки на правдивость и неизбежного в художественном повествовании вымысла – оппозиция, являющаяся определяющей для современных споров о сочетании в жанре документального и фикционального начал) и являлось движущей силой, толкавшей литературу путешествий к развитию, а вместе с ним, как полагает Перси Адамс – и жанр романа как таковой.

Делая хронологический обзор произведений о путешествиях, автор монографии показывает, как менялось отношение к дихотомии «свой-чужой»

⁵³ Adams P.G. Travel Literature and the Evolution of the Novel. P. 148–160.

на протяжении европейской истории: если изначально экзотика отталкивала, а потом воспринималась как своего рода дидактический материал, повод сравнить чужое со своим и усвоить тот или иной урок, то потом быт, нравы и природа далеких стран начали подвергаться эстетизации, идеализации без примеси нравоучений: в эпоху романтизма писателей и публику привлекало все необычное, благодаря чему колорит арабского востока, или дикие пляжи Полинезии, или непроходимые леса Нового Света превратились в место действия захватывающих приключенческих романов или чарующих сказок, - и ради этого места действия их и читали.

Таким образом, труд Перси Адамса охватывает почти все аспекты бытования путешествия как особой литературной формы, обладающей, с одной стороны, отдельной от чисто фикциональной литературы судьбой, а с другой – являющейся жанром, отражающим важнейшие этапы становления и изменения общества и отдельного человека. При этом он делает акцент на путешествиях, в которых велика роль именно художественного начала.

Для И.Ф. Головченко, как и для П. Адамса, путешествие интересно в первую очередь как неизменная составляющая литературных сюжетов, из-за чего собственно документальные тексты очень часто перерастают свои нон-фикциональные границы. И.Ф. Головченко выводит в центр путешествия как литературное явление и предлагает говорить о нем не как о жанре или сюжетной составляющей, а как о семантическом комплексе⁵⁴. При этом понятие травелога и понятие семантического комплекса для него разделены, и травелог называется текстом, для которого путешествие является самоцелью. Возвращаясь к нашей собственной работе, подчеркнем: именно такого рода тексты, травелоги, рассказы о реальных путешествиях интересуют нас здесь.

Практически все исследователи американского травелога пишут о центральности понятия путешествия для американской культуры (и

⁵⁴ Головченко И.Ф. Семантический комплекс «путешествия» в литературе акмеизма. С. 24–54.

литературы в частности), для американского национального сознания: на это указывают и Дж. Кокс, и Е.А. Стеценко, и авторы вступления к «Кэмбриджскому сборнику по американской литературе путешествий» А. Бендиксен и Дж. Гамера. Д. Кинлоу, как и мы, сердцевиной американского травелога видит поиск национальной идентичности, но отталкивается при этом от фрейдистской теории и полагает, что движущей силой для американского писателя-путешественника является страх – страх потери этой идентичности, страх во время путешествия потерять себя как писателя⁵⁵. Указывает она также на то, что на рубеже XIX-XX веков жанр в Америке претерпевает серьезные изменения. В большинстве своем исследователи сходятся в том, что если для европейца путешествие – это в первую очередь развлечение, то для американца всегда – некий вызов самому себе, сложное духовное переживание. Л. Цифф, чья книга «Вспоминая пройденные пути: великие американские тексты о путешествиях, 1780-1910» посвящена именно американской литературе путешествий, обращает внимание на то, что проблема поиска и выражения индивидуальности является одной из важнейших для путешествия: путешествие становится способом выделить индивидуальное из общего, племенного⁵⁶. Поиск идентичности, поиск индивидуальности – в американском контексте путешествие оказывается чрезвычайно проблемным, эмоционально насыщенным жанром. Мы будем обращаться к работам исследователей американского травелога в следующих пунктах и подробно разберем их теории.

Из выполненного нами обзора посвященных травелогу исследований нетрудно заключить, что, несмотря на заинтересованность ученых этой темой и множество интересных гипотез, жанр этот по-прежнему вызывает у исследователей многочисленные трудности. Почему же изучать литературу путешествий и писать о ней представляется такой важной и увлекательной

⁵⁵ Packer-Kinlaw D. *Anxious Journeys...* 248 p.

⁵⁶ Ziff L. *Return Passages: Great American Travel Writing, 1780-1910*. P. 286.

задачей? Вероятно, потому, что эта литература является своего рода «изнанкой» художественной литературы, литературы вымысла – это ее двойник, который берет сюжет, хронотоп и героев из действительности, и автору остается только использовать их в своем тексте, komponуя по собственному вкусу. Таким образом, травелог – это альтернативная форма литературы, в которой основной ее элемент, путешествие, – лишь условность, ничуть не мешающая сосуществованию внутри текста любых других элементов; текст промежуточного характера, помещающийся между литературой вымысла и реальностью. Неудивительно, что серьезный исследовательский интерес к травелогу возник сравнительно недавно – как раз после открытий постмодернизма, размывшего границы между этими двумя сферами.

1.2. Литература путешествий в Америке: основа национальной идеи

Исследователям американской литературы представляется очевидным, что путешествие если не как жанр, то как тема, является одной из основных составляющих американского литературного и культурного «кода». С путешествием было сопряжено освоение нового континента, зарождение нации и государства, его расширение и развитие. Первыми же текстами, посвященными Америке, были естественным образом тексты о путешествиях, и довольно долго осмысление формирования новой страны и нового общества было вписано именно в травелог – ведь любые написанные об Америке тексты воспринимались как рассказ о неизведанной и экзотической стране.

Древнейшими письменными источниками, относящимся к Америке, считаются три скандинавских манускрипта об Эрике Рыжем, хранящиеся в Королевской библиотеке Копенгагена. Эти рукописи описывают события IX-X века и содержат отрывки описаний Винландии, или Винланда, – скандинавских поселений в Северной Америке, на территории современной

канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В 982 г. Эрик Рыжий, изгнанный из Исландии за буйный нрав, отплыл на запад и стал основателем первого поселения в Гренландии. В 986 г. торговец и мореплаватель Бьярни Херьюльфссон отправился к берегам Гренландии в гости к поселившемуся там отцу, но корабль его сбился с курса и оказался у восточных берегов Америки. Херьюльфссон рассказал о своем путешествии сыну Эрика Рыжего Лейфу Эриксону, и тот решил сам посетить эти места. В результате и были основаны винландские поселения, кроме того, Эриксон побывал в Маркланде (предположительно, современный Лабрадор) и Хеллуланде (предположительно, современная Баффинова земля). Довольно скоро поселения были покинуты из-за конфликтов с коренным населением. Однако все эти земли появились на древних картах викингов и были описаны в «Саге об Эрике Рыжем» и «Саге о гренландцах».

В эпоху Великих географических открытий и с началом колонизации появляется великое множество путевых записок путешественников, торговцев, проповедников и авантюристов из Испании, Португалии, Франции, Голландии, Швеции и Великобритании, посещавших обе Америки. Это Альва Нуньес Кабеса де Вака с его «Кораблекрушениями» (1542), Педро Костанеда с «Отчетом о путешествии в Сиболу» (1540-е), Самюэль де Шамплен с «Путешествиями» (1613), Луи Эннепен с «Описанием Луизианы» (1683), Томас Хэриот с «Кратким и правдивым описанием вновь открытой земли – Виргинии» (1588), знаменитый Джон Смит с тремя книгами: «Истинный рассказ о событиях в Виргинии» (1608), «Общая история Виргинии» (1624) и «Судебные процессы в Новой Англии» (1620) – а также множество других авторов и текстов, многие из которых до сих пор переиздаются и читаются⁵⁷.

Важнейшим трудом, объединившим записки первых путешественников по Америке, являются «Главные исследования, путешествия и открытия английской нации» Ричарда Хэклита (1589), преемником которого стал

⁵⁷ Литературная история США. Т. 1. С. 59-77.

Сэмюэл Перчес («Посмертные записки Хэклита, или Странствия Перчеса», 1625). Общий характер путевых записок того времени определялся своеобразным сочетанием особенностей мышления, свойственных разным культурным эпохам, на рубеже которых и вершились географические открытия и колонизация. Как указывает Е.А. Стеценко, рассуждая о путевых книгах Джона Смита, ренессансный антропоцентризм, центральность идеи решительной, отважной и в конечном счете всемогущей личности, вся энергия которой направлена при этом на разрешение общественных, а не эгоистических задач, сочеталась в покорителях Америки с творческим стремлением к восстановлению целостности мира и переустройству его в соответствии с европейскими представлениями о порядке и добре: «Человек ощущал свою соразмерность вселенной и способность подчинить и переделать в ней то, что не отвечало его представлениям, в чем-то возлагая на себя функции Всевышнего. Таким образом, творческое начало могло проявляться и в созидании, и в разрушении, и в артистизме, и в вандализме»⁵⁸. Но возрожденческие представления о мире на ранних этапах освоения Америки сочетались со средневековыми, сквозь призму которых эта страна воспринималась как некое легендарное место, где возможны любые чудеса, место, в равной степени способное оказаться обителью Бога на земле или пристанищем дьявола. В эпоху же колонизации они взаимодействовали уже с просветительскими идеями об абсолютной ценности разума и порядка, принципам которых следует подчинить «дикий» и «хаотический» мир неосвоенного континента⁵⁹. Столь невероятная идейная насыщенность, которой характеризовалась история открытия, исследования и заселения Америки, находила свое отражение в текстах путешественников, с одной стороны, описывавших всевозможных фантастических зверей и растения, а с другой, – наполнявших свои записки огромным количеством скрупулезно фиксируемых фактов.

⁵⁸ Стеценко Е.А. История, написанная в пути... С. 43.

⁵⁹ Там же. С. 36.

Рассказывая о сказочном плодородии американской земли, путешественники стремились привлечь за океан как можно большее число переселенцев. При этом рассказы об американских диковинках привлечь могли людей скорее такого же склада, как сами путешественники, а тех, кто не обладал авантюрными наклонностями, больше отпугивали. Со временем на это противоречие обратили внимание, и тон записок изменился – теперь главной идеей их было то, что «переезд в Новый Свет не будет означать полного разрыва с привычной средой обитания и что американский мир является не чужим и враждебным, а как бы продолжением европейского». Такова книга упоминавшегося выше Томаса Хэриота. Как только прошло первое потрясение от знакомства с новой землей, на первый план вышли, вместо инаковости и фантастичности, те блага и те возможности, которые открывались перед европейцами по ту сторону Атлантики.

Далеко не все из этих ранних сочинений можно относить к собственно американской литературе, поскольку их авторы в большинстве своем отправлялись в Америку, а потом возвращались домой. Первыми собственно американскими текстами следует считать записки первопоселенцев – европейцев, переселившихся в Америку и посвятивших остаток дней обустройству жизни уже в новой стране.

Разумеется, не все эти произведения можно отнести собственно к жанру путешествия. Исходя из того, что переселение в Америку изначально вносит в любой текст колониального периода путешествие как тему, озвучиваемую или подразумеваемую, мы можем говорить скорее о том, что такой текст наверняка содержит элементы жанра путешествия – но не относится к нему полностью. Это объясняется в первую очередь синкретизмом, характерным для литературы США этого времени. «Обыкновенно в таких сочинениях присутствуют разнородные черты, позволяющие читать их одновременно как географические или этнографические очерки, исторические хроники, приключенческие повести или даже богословские трактаты. Рядом с живыми описаниями природы и

климатических условий, ландшафта, флоры и фауны располагаются, произвольно сменяя друг друга, рассказы о чудесных происшествиях, зарисовки обычаев и нравов аборигенов, записи их преданий и легенд, исторические экскурсии, изложение фактов и событий из жизни поселений, сведения об управлении колоний и повседневном обиходе, портретные миниатюры, рекомендации относительно ведения хозяйства, дидактические наставления, отвлеченные рассуждения, богословские выкладки и финансовые расчеты. Можно говорить, следовательно, об определенном жанровом синкретизме произведений, заложивших первый камень в фундамент будущей американской литературы»⁶⁰.

Тем не менее, выделить в этом синкретическом потоке определенные жанры возможно. Это главным образом документальные жанры: хроники, дневники, мемуары, письма, отчеты, - а также поэзия и религиозные тексты. В XVII-XVIII вв. тональность и стилистика литературы колониального периода в Америке, определялась несколькими основными факторами. Во-первых, строительство жизни в колониях первопоселенцев порождало запрос в первую очередь на литературу практического содержания. Второй и главный фактор – принадлежность абсолютного большинства авторов к протестантской системе ценностей, в которой, в связи с центральностью идеи труда и умеренности, не поощрялись ни развлекательное, ни фикциональное начало в искусстве – а значит, на первый план выходило начало документальное. А.А. Аствацатуров связывает приверженность первопоселенцев к документальным жанрам не только с протестантским недоверием к изящной словесности как «праздной» и «порочной», но в первую очередь со стремлением к осознанию и месту своего «я» в соотношении с божественным замыслом⁶¹. В связи с этим особое место в литературе первопоселенцев занимают дневники – например, дневник

⁶⁰ История литературы США. Т.1. С. 101-102.

⁶¹ Аствацатуров А.А. Генри Миллер: художественное и документальное // Филология и культура. 2016. № 4(46). С. 105.

плимутского губернатора Уильяма Брэдфорда или губернатора Массачусетса Джона Уинтропа-старшего. Дневники представляют собой опять-таки синкретические тексты, смысловую целостность которым придает стремление к поэтапной фиксации путешествия в Новый Свет, затем происходящих в колонии событий, связанное именно с желанием осознать свое место на этой новой земле, закрепить его за собой. Эти дневники отличает осознание автором общественной и исторической значимости того, что он записывает. Подобного рода тексты становятся в том числе пространством для озвучивания своих представлений о политике и устройстве общества. В журналах элемент путешествия присутствует, но уже не является ведущим.

Именно за счет абсолютного преобладания небеллетристических жанров в американскую литературу колониального периода гораздо активнее, нежели в Европе, внедрялись явления, свойственные именно беллетристической литературе. Как пишет Е.А. Стеценко, «записки на раннем этапе во многом взяли на себя функции фольклора, эпоса и беллетристики»⁶². Это определило содержательную пестроту в том числе путевых записок, превратило их в своего рода универсальное экспериментальное пространство, усилив и обнажив изначально присущий литературе путешествий протеизм.

«Кембриджский сборник по американской литературе путешествий» указывает на то, что до XVIII века травелога как отдельного жанра в Америке не существовало – он, как и было описано выше, был «рассеян» в виде характерных черт той или иной весомости по всем прочим жанрам. Одной из наиболее ранних форм травелога предлагается считать так называемую «рекламную литературу», в которой описывались преимущества жизни в Соединенных Штатах и которая призвана была привлечь за океан как можно большее количество «рабочих рук». В качестве примера приводятся «Некоторые сведения о колонии Пенсильвания в Америке» Уильяма Пенна.

⁶² Стеценко Е.А. История, написанная в пути... С. 101.

Подробно анализирует подобные тексты и Е.А. Стеценко. Мы бы предпочли отделять эти произведения от литературы путешествий – в первую очередь по признаку целеполагания.

К началу XVIII века травелог начинает вычленяться как жанр более самостоятельный. «Куда точнее отражал реалии ранней Британской Америки такой жанр, как колониальный дневник путешествия. Практика ведения таких дневников в начале XVIII века имела самые разные источники, но прежде всего следует принимать во внимание протестантскую традицию “ведения учета” своего духовного состояния. В колониальной Новой Англии эта традиция выкристаллизовалась настолько, что на изображаемую физическую реальность накладывалась (а иногда и затмевала ее) религиозная тема путешествия души». В качестве примера в «Кембриджском сборнике...» приводится «Дневник» Сары Кэмбл Найт (1704-1705), в котором рассказывается о ее путешествии из Бостона в Нью-Йорк. Этот дневник наполнен не поэтическими пейзажными зарисовками, но подробными описаниями, зачастую шутивными и даже сатирическими, быта новоанглийских колоний, и целью его написания было «укрепление социального благополучия и культурных ценностей» в ближайшем кругу знакомых Сары Найт. Таким образом, «форма этого текста и предполагаемая читательская аудитория таковы, что привычные нам сегодня границы между общественно-направленным писательством и частной, личной практикой письма здесь размываются»⁶³. Для нас это существенное наблюдение: уже в ранних американских травелогах мог присутствовать выраженный публицистический элемент, и способность к такому синтезу оказала влияние на дальнейшее развитие жанра. Иллюстрируя эту тенденцию, можно привести и другой пример: «Путеводитель» Александра Гамильтона, в 1744 году совершившего большое путешествие по колониям, начавшееся в Аннаполисе и закончившееся в Нью-Йорке. В этом тексте еще более ярким и выразительным становится сатирический элемент. Следует упомянуть также

⁶³ The Cambridge Companion to American Travel Writing. P. 14.

путевые книги Уильяма Берда: «Путешествие в страну Эдема» (1733), «Путешествие в шахты» (впервые опубликовано в 1841 г.) и «Тайную историю разделительной линии между Вирджинией и Северной Каролиной» (1728) - остросатирический и местами даже непристойный текст, в котором идет речь об аппалачском фронтире и который первоначально предназначался лишь для узкого круга друзей.

В первой половине XVIII века создавались также поэтические тексты о путешествиях, например, «Сила сорной травы, или Путешествие в Мэриленд» (1708) Эбенезера Кука или «Путешествие из Патапско в Аннаполис» (1732) Ричарда Льюиса. Поэтическая форма служила оболочкой тому же, в сущности, содержанию: сатире, пейзажным и этнографическим зарисовкам. Нам представляется, что облечение травелога в форму поэмы на этом этапе диктовалось не потребностью в особой лирической исповедальности, а опять-таки жанровой ограниченностью литературы США колониального периода.

Наиболее значительные и зрелые травелоги XVIII века появляются во второй его половине. В преддверии Войны за независимость травелог наполняется все более осознанным политическим звучанием. На этом этапе путешествие часто принимает форму автобиографии, однако личная история автора всегда блекнет на фоне описываемых исторических событий, и авторское «я» в некоторых случаях из текста исчезает вовсе, как это происходит, например, в «Естественной истории Каролины, Флориды и Багамских островов» Марка Кейтсби. Вполне формируется путевая литература фронта, одним из наиболее значимых произведений которой являются труды картографа и ученого Льюиса Эванса, чьи «Географические, исторические, политические, философские и производственные очерки» (1755-1756) стали одним из наиболее ранних описаний американских земель к западу от Аллеганских гор и были восприняты Сэмюэлом Джонсоном как признак появления национальной американской литературы, и «Путешествие из Пенсильвании в Онондагу в 1743 году»

спутника Эванса - Джона Бэртрама⁶⁴. В конце века сын Джона Бэртрама Уильям тоже издал травелог - «Путешествия» (1791). Бэртрам-младший, не чуждый художественному и литературному творчеству, одним из первых описал дикую природу Америки не только как ученый, но и как литератор, увидел и показал ее через призму эстетики. Продолжала развиваться и традиция духовного путешествия, в которой путешествие реальное предпринималось с миссионерскими целями. Самой известной автобиографией странствующего проповедника «Кембриджский сборник...» называет «Журнал Джона Вулмана», опубликованный посмертно в 1774 году. В частности, Вулман описывает свое путешествие на Юг, где он становится свидетелем страданий рабов; в текст «Журнала» включаются исполненные негодования фрагменты, которые считаются одним из первых образцов аболиционистской риторики.

Итак, можно утверждать, что травелог как самостоятельный жанр в американской литературе сформировался к концу XVIII века – и не просто сформировался, а обладал большой влиятельностью и был одним из основных среди небольшого числа жанров. При этом у травелога были разновидности, определяемые магистральной темой – религиозной, научно-исследовательской или политической. Эти темы, наиболее типичные для литературы путешествий колониального периода, определили формирование канона американского путешествия, окончательно сложившегося в XIX веке.

Е.А. Стеценко отмечает такие свойственные американскому путешествию черты, как целенаправленность; специфическая модель времени (с устремленностью вперед, в будущее, и болезненностью темы прошлого); центральность образа путешественника, самодостаточной и активной личности; вынужденная сконцентрированность путешественника на действительности (которая на ранних этапах мешала ему видеть Новый Свет исключительно сквозь призму легендарных образов); изначальный автобиографизм и многое другое – и утверждает, что все эти особенности в

⁶⁴ Литературная история США. Т. 1. С. 134.

конечном счете и стали определяющими как для ценностей и характера среднестатистического американца, так и для появившейся впоследствии художественной литературы США⁶⁵.

Нам представляется, что в конечном счете эти утверждения оказываются верны, но из соображений точности их следовало бы разнести в хронологическом отношении. Ориентированность на практику, на объективное изображение действительности, и способность к сближению с публицистикой (в особенности религиозной) – вот главные черты ранней американской литературы путешествий. Значимость же образа путешественника-первопроходца, подспудно, безусловно, влиявшая на формирование национального характера, в литературном смысле приобрела вес и осознанность лишь с течением времени. Изначально литература первопоселенцев, в особенности путевая литература, конечно же, ориентирована вовне, на мир американской *terra incognita*, а не на внутренний мир автора.

1.3. Литература путешествий в XIX веке: складывание канона

Мы уже упоминали о том, что Война за независимость привнесла в записки американских первопроходцев новую тональность – об Америке все чаще писали не как об очередной колонии, а как о новой стране с совершенно самостоятельным духом и системой ценностей. Да и отношение самих американцев к собственной стране менялось: для первопоселенцев «домом», родиной все-таки была Европа, а к XIX веку в стране жили уже американцы во втором и даже третьем поколении, те, для кого Америка была домом. А следовательно, в системе координат «свое»/«чужое» все не-американское уже оказывается чужим. Так и формируется необходимая среда для первых «настоящих» путешествий американцев в Старый Свет, ведь для путешествия необходима ситуация столкновения с «чужим». Известно, что

⁶⁵ Стеценко Е.А. История, написанная в пути... С. 10-14.

еще целое столетие вопрос взаимоотношений с Европой будет для американцев одним из самых болезненных, и вопреки декларируемой независимости на деле эта страна вплоть до рубежа XIX-XX веков будет страдать от колониального комплекса. Именно литература путешествий XIX века дает нам наиболее яркие свидетельства этого умонастроения американцев.

Критика Европы, погрязшей в пороках, нищете и социальном неравенстве, была в порядке вещей в Америке конца XVIII века. Столетие спустя яркими представителями этой критической, даже сатирической тенденции являлись такие авторы, как Лоуэлл, Такерман, Полдинг.

«Кэмбриджский сборник...» проводит границу между «критическим» и «восторженным» периодами в восприятии Европы американцами XIX века по Гражданской войне. А. Бендиксен, автор главы «Американские травелоги о Европе до Гражданской войны», указывает на то, что преимущественно националистический тон, которым проникнуты американские тексты о путешествиях в Европу до 1860-х гг., становится все менее уверенным по мере того, как Гражданская война рушит иллюзорное представление об Америке как о мирной аграрной стране демократических свобод⁶⁶. Оливер Холмс, уже во второй половине XIX века рассуждая о колебаниях в этих отношениях, даже высказывал предположение, что многие американцы пожелают вернуться в Европу, и эту позицию разъясняет Кристоф Уэгелин в своей книге «Европа Генри Джеймса», также считая наиболее существенными политические обстоятельства: «Как только космополитизм начинает восприниматься как часть национальной традиции, он перестает быть мерой отклонения от понятия “американскости”. Покуда еще оставались живы порывы Революции, политика давала устойчивое ощущение национальной идентичности. <...> “Кровные узы”, общие религиозные и политические традиции” <...> по-прежнему будут притягивать американца английского происхождения в “старый дом” его отцов, “чудесный сам по

⁶⁶ The Cambridge Companion to American Travel Writing. P. 103-104.

себе, да к тому же “бесконечно желанный” за счет близости “ко всему самому интересному в Европе”. А раз путешествовать туда-сюда за океан и обратно опасно и неудобно, раз потеряли силу причины, изгнавшие первопоселенцев с их “горячо любимой родины” (ведь свобода вероисповедания отныне “столь же доступна в Англии, как и в Америке”), значит, <...> непрерывный поток “ре-эмигрантов” в Англию предков почти неизбежно вскоре сравняется с потоком мигрантов в Соединенные Штаты»⁶⁷.

Как бы то ни было, богатеющие американцы получают возможность отправляться в Европу с туристическими целями, посылать своих детей учиться в старинных университетах Старого Света. Е.А. Стеценко пишет, что «в моду вошло не только путешествие, но и его описание»⁶⁸ - и появляются не только письма родным и путевые дневники, но и газетные заметки и целые книги. Массив этих текстов был так велик, что это позволило Баярду Тейлору составить из них два сборника: «Энциклопедию современных путешествий» и «Иллюстрированную библиотеку путешествий». Уже во второй половине XIX века состоятельный и образованный американец стал практически немислим без такой страницы в биографии, как путешествие в Европу. При этом сам образ путешествия к концу XIX века принципиально меняется: «Только-только перевалило за середину XIX века, <...> и характер путешествия – сначала у европейцев, потом подхватили и американцы – начал меняться. Раньше путешествие требовало заранее все продумать, вложиться деньгами и временем. Подразумевалось, что, отправляясь в путешествие, ты рискуешь здоровьем и даже жизнью. Путешественник был активным. А теперь стал пассивным. Раньше путешествия были состязанием атлетов, а теперь превратились в спорт для зевак»⁶⁹.

Гранд-тур по-американски принципиально отличался от традиционного европейского гранд-тура тем, что он по природе своей не мог быть окрашен

⁶⁷ Wegelin C. The Image of Europe in Henry James. – Dallas, TX: Southern Methodist University Press, 1958. P. 4.

⁶⁸ Стеценко Е.А. История, написанная в пути... С. 218.

⁶⁹ Wegelin C. The Image of Europe in Henry James. P. 62.

настроением нейтральной заинтересованности. С самого начала для американца столкновение с Европой – своего рода вызов, испытание, зачастую переломный момент в судьбе. Ведь у отправляющегося в Старый Свет американца всегда наготове уже давно сформировавшаяся картина мира, в которой Европа - либо не сравнимая по своему масштабу с США носительница великой древней культуры и истории, либо отживающая свои дни, побежденная окраина мира, либо великая загадка, сулящая внимательному американскому исследователю познание собственной национальной самобытности. Как бы ни обстояло дело в каждом отдельно взятом случае, очевидно, что объединяет эти умонастроения их максимальная личностность, болезненность, ведь в сердцевине вопроса о восприятии Европы – вопрос самолюбия, и такое путешествие уже труднее называть развлекательным и уж во всяком случае приходится признать связанным с немалым психологическим напряжением. Марк Твен, в свойственной ему парадоксальной манере, утверждал даже, что путешествие в Европу необходимо американцу для того, чтобы остаться американцем, не «европеиться» окончательно: ведь только в Европе американец может по-настоящему понять, что такое Америка.

При этом важно понимать, что при всей этой напряженности для образованного американца путешествие в Европу обладало особым очарованием – странствия в мир истории, мир любимых книг и любимых легендарных и подлинных персонажей и сюжетов, то есть в сущности в мир вымышленный. Кстати говоря, об этой склонности американских путешественников к «романтизации» европейских локаций пишет Терри Цезарь и показывает, что сохранилась она и в XX веке – у Ричарда Халлибертона, Эрнеста Хемингуэя, Генри Миллера. «Через сотни лет Новый и Старый Свет как бы меняются местами, плавание к “земле обетованной” теперь совершается уже с запада на восток, а сам новообретенный рай

оказывается не неведомым, а с детства знакомым по книгам и рассказам»⁷⁰, - пишет Е.А. Стеценко. Таков был контекст поездок в Европу первых подлинно национальных американских писателей – Вашингтона Ирвинга («Книга очерков», 1820), Генри Уодсворта Лонгфелло («Outre-mer. Паломничество за море», 1833), Натаниэля Готорна («Старый дом», 1863) и Эмерсона, также оставившего европейские очерки (1856). Эти авторы, представители американского романтизма, с разной степенью увлеченности оценивают свои европейские впечатления с точки зрения романтических идей и вкусов: любви к экзотическому, интереса к национальному (в том числе своему, американскому – именно так, по аналогии с европейскими достижениями по собиранию и обработке национальных фольклоров, появляется новая тенденция к эстетическому восприятию индейского фольклора как уникальной и самодостаточной ценности, выразившаяся в «Песни о Гайавате»), идеализации прошлого, взаимоотношений человека и природы и т.д. Имела место и зеркальная тенденция: Донна Кинлоу описывает, как Уильям Дин Хоуэллс странствовал по Европе в поисках мест, связанных с людьми, ставшими уже американскими героями: первооткрывателей, отцов-пилигримов и т.д.⁷¹

Особый интерес представляет книга Джеймса Рассела Лоуэлла «Путешествия у очага» (1864), в которой высказывается достаточно свежая для того времени мысль: Америка являет собой уникальный пример одновременного сосуществования разных эпох развития человечества, культурных ментальностей и национальных характеров, а потому американцу вовсе не обязательно отправляться за океан, чтобы со всем этим ознакомиться: куда поучительнее и полезнее заняться изучением собственной страны. Также следует упомянуть в этом контексте, в сущности, классические травелоги Генри Дэвида Торо «Неделя на реках Конкорда и Мерримака» (1849) и «Леса Мэна» (1864), в которых не только воспеваются

⁷⁰ Стеценко Е.А. История, написанная в пути... С. 225.

⁷¹ Packer-Kinlaw D. Anxious Journeys... P. 16-17.

единение человека и природы в духе трансцендентализма, но и становится центральным персонажем сама Америка – ее красота, чистота и первозданность, способные сделать явным лучшее в человеческой натуре.

Значительная часть появлявшихся в то время травелогов уже не носила строго документального или назидательного характера, характеризовалась бóльшей формальной раскрепощенностью, давала пространство для проявления образа самого путешественника. Авторы такого рода литературы путешествий работали уже на границе документального и художественного, ориентируясь на традицию «сентиментального путешествия», которая на рубеже XIX и XX веков была переосмыслена и преобразила как американский, так и европейский травелог. В строго объективном нраво- и бытоописательном ключе тоже продолжали работать, и очень многие: это, например, священник Уилбур Фиск с его «Путешествием на европейский континент» (1838), Уолтер Чаннинг с «Каникулами врача или летом в Европе» (1856) или Каролин Керкленд с «Каникулами за границей, или Европой, увиденной с Запада» (1849). Обе тенденции можно проиллюстрировать двумя путевыми дневниками одного из наиболее выдающихся американских писателей Германа Мелвилла, совершившего в 1849-1850 гг. плавание в Лондон и путешествие по Европе и не забывавшего вести об этом записи, а в 1856-1857 гг. создавший «Дневник путешествия в Европу и Левант» - текст, изначально предназначенный для печати и использовавшийся Мелвиллом впоследствии при подготовке к лекциям о мировой культуре, с которыми он ездил по Америке после краха своей писательской карьеры. Промежуток в семь лет, разделяющий эти тексты (для Мелвилла это промежуток между 30 и 38 годами) был решающим в творческой судьбе Мелвилла, а в самих путевых дневниках интересным образом сочетаются описанные нами выше тенденции.

Решающей здесь становится мера осознанной «литературности» - первый дневник писался «для себя», второй – для публикации. Первый использовался автором скорее как ежедневник: это скупые заметки о

виденном, главное же наполнение – события дня, новые знакомства, встречи с редакторами, письма от друзей и от жены, съеденное за обедом и т.д. Мелвиллу путешествовать не в новинку, в частности и в Англии он уже бывал (первое плавание Мелвилла – рейс корабля «Акушнет» из Нью-Йорка в Ливерпуль), так что ни восторженных описаний достопримечательностей, ни пространных рассуждений о соотношении двух англо-саксонских культур мы здесь не увидим. Зато этот текст характеризуется повышенной субъективностью: в нем действует реальный Мелвилл со своими сиюминутными мелвилловскими новостями и заботами.

Другое дело второй дневник, созданный Мелвиллом – уже зрелым писателем, пусть не признанным, но вполне сформировавшимся. Этот дневник сочетает в себе объективность отстраненной авторской позиции и поэтичную, образную, полную рефлексии интонацию. Для Мелвилла путешествие по странам Средиземноморья становится сродни путешествию во времени: в греках и турках, в пейзажах и строениях XIX века он видит не столько явления современного ему мира, сколько персонажей древних легенд, иллюстрации к знаменитым страницам истории. Так, сидящих на порогах лачуг стариков он называет «Периклами, загнанными в шифоньерку». Наиболее же выразительным фрагментом, который наилучшим образом иллюстрирует чувства и размышления американца, оказавшегося в Старом свете, нам представляется пассаж о египетских пирамидах:

После знакомства с пирамидами вся остальная архитектура кажется кондитерскими изделиями. Хотя я провел немного времени в созерцании пирамид, этого оказалось достаточно, чтобы в моей памяти отложилось точное представление о них. Дело тут обстоит так же, как и с океаном. В течение пяти минут можно узнать о его необъятности ровно столько же, сколько за целый месяц. То же и с пирамидами. Они сбивают с толку. Человек, обнаружив, что он не в состоянии постичь величие океана, принялся измерять его глубину и определять плотность воды. Точно так же человек поступает с пирамидами. Он измеряет длину основания, высчитывает размеры отдельных камней. Однако пирамида не очень-то поддается изучению и пониманию. <...> Когда хотят похвалить какое-нибудь творение рук человеческих, говорят обычно — оно поражает воображение, словно создание природы. <...> Очевидно, мудрецы

древнего Египта отличались необычайной изобретательностью. Поскольку с помощью своего искусства сумели извлечь из всего разнообразия природных форм совершеннейшие очертания пирамиды, очевидно, что точно так же из груды простейших человеческих мыслей, присущих людям, смогли они с помощью аналогичного мастерства выработать идеальную концепцию бога. Однако не со святой целью была создана пирамида. Она не отбрасывает тени днем⁷².

Мы не только видим здесь поэтическое и философское раздумье над таким традиционным памятником культуры, как египетские пирамиды, но и «узнаем» Мелвилла-писателя, его «романные» интонацию и пафос. Объективность в сочетании с художественностью максимально отдаляют «Дневник путешествия в Европу и Левант» от травелога в традиционном понимании, в основе которого – субъективность и документальность (сочетание тоже противоречивое, но тем не менее жанрообразующее). Такая трансформация – частный случай расширения жанровых рамок, более того – размывания жанровых границ. Частный случай этот симптоматичен⁷³.

Как это обыкновенно и бывает, поток американских гранд-туров того или иного толка, при этом объединенных идеей необходимости учиться у Европы тонкости, вкусу и культурному богатству, породил к концу XIX века противоположную тенденцию – насмешническую и пародийную. Насмешке подвергались как обожатели всего европейского, так и сама Европа. Указывает на это и Дэвид Сид⁷⁴. Начиная с 1880-х годов Америка становилась все более процветающей, все более уверенной в себе нацией. Ощущение, будто по ту сторону океана осталась «половина» истории и национального характера, покинуло эту нацию, она все более уверяется в

⁷² Мелвилл Г. Энкантадас, или Очарованные Острова. Дневник путешествия в Европу и Левант / Пер. с англ. – М.: Мысль, 1979. С. 147.

⁷³ Подробнее о путевых дневниках Мелвилла см.: Кузина Д.Д. Два путевых дневника Германа Мелвилла: эволюция авторской манеры через призму документального жанра // Литература двух Америк. Электронная версия. 2019. URL: http://litda.ru/images/online-2019/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2019.pdf.

⁷⁴ Seed D. Nineteenth-Century Travel Writing: An Introduction // The Yearbook of English Studies. 2004. Vol. 34. P. 1-5.

собственной самодостаточности. Наряду с солидной политической и социальной критикой в духе конца XVIII века (в Европе нет свободы слова, положение женщины ужасно, ведутся нескончаемые войны, люди помешаны на титулах и родословных) – такой работой можно считать, например, книгу Чарльза Фултона «Европа, увиденная через американские очки» (1874) – появляются откровенно издевательские травелоги вроде «Из Понкапога в Пешт» (1883) Томаса Б. Олдрича, объявившего войну подлинным и фальшивым руинам и их почитателям, а также отстаивавшего ту точку зрения, что европейская культура построена на некрофилии. Одна же из наиболее известных американских книг о путешествиях периода угасания старого жанрового канона – «Простаки за границей» Марка Твена (1869), представляющая Старый Свет с точки зрения американского обывателя. Книга эта тоже скорее юмористическая.

Появление в той или иной традиции пародийных произведений означает ее трансформацию. В случае с американской литературой путешествий мы тоже можем заключить, что в охарактеризованный нами период развитие жанра переходит на новый этап. Складывавшийся с XVI века образ текста о путешествии готов к тому, чтобы быть оспоренным и разрушенным текстами нового времени – для этого требуется только внешний толчок, каким могло бы стать изменение исторического ландшафта. Именно такие изменения ожидали и Америку, и весь мир на рубеже XIX-XX веков и между двумя мировыми войнами.

Накануне этого исторического периода канон жанра путешествия в Америке складывается из следующих черт:

- Ориентированность вовне. Вопреки тому, что путешественники XIX века уже свободно включали в свои записки автобиографические элементы и личные рассуждения, тем не менее, путешествие оставалось для них в первую очередь знакомством с «другим», а текст о путешествии – инструментом познания «другого». Все инородные

жанровые явления в путешествиях – рассказ о себе, воспоминание, ассоциация или эссеистическая вставка – служили тем же целям.

- Зависимость от оппозиции «колония-метрополия», неосознанная или осознанная трансляция представлений об Америке как о вторичной цивилизации, периферии. Это относится даже к текстам патриотического толка, идея которых в том, чтобы доказать право Америки называться цивилизацией полноценной и самобытной. Какими бы по сути ни были эти тексты – критическими или хвалебными по отношению к Европе – в основе их лежала идея взаимного сближения/отталкивания двух цивилизаций.
- Тематическая ограниченность. До XIX века американцы вообще путешествовали не часто, главным образом по собственной стране (причем то были в основном путешествия ученых и пионеров, сохранявшие упор на фактографию и практическую пользу, отличавший литературу первопоселенцев), а до XX века практически не бывали в странах за пределами маршрутов гранд-тура – за редкими исключениями не посещали ни Россию, ни Азию, ни Африку, ни Австралию и Океанию, а если и посещали, то не с туристическими целями, а с деловыми целями. При этом виденное ими в Европе описывалось в основном в соответствии с привычной формулой: древние руины, музеи, дворцы и прочие достопримечательности. Обусловлено это было, как отмечалось выше, определенностью, «заготовленностью» ожиданий от Европы, образ которой формировался в воображении американцев на основании одних и тех же источников.
- Способность органично сливаться с другими жанрами. Эта черта, свойственная травелогу вообще, в американском травелоге оказывается особенно плодотворной в случаях сближения с публицистикой. Объясняется эта особенность тем, что на ранних этапах развития национальной литературы именно путевые записки и публицистика –

пропагандистские брошюры, зазывавшие европейцев в Новый Свет, и речи проповедников – были по сути единственными литературными жанрами, существовали в тесном взаимодействии и влияли друг на друга, а зачастую и соединялись в одном и том же тексте.

В дальнейшем мы увидим, как составляющие этого канона одна за другой оспариваются и видоизменяются в литературе путешествий авторов следующего поколения.

1.4. Литература путешествий в эру прогрессивизма (1880-1900-е)

Для того, чтобы рассуждать о трансформации какого бы то ни было жанрового канона в американской литературе первых десятилетий XX века, следует понимать, что в предшествовавшие им годы - 1880-1900-е - трансформации подвергались все сферы американской действительности.

После Гражданской войны США окончательно отходят от модели аграрной страны, которая мыслилась некоторыми из отцов-основателей как залог построения идеального христианского общества, и превращаются в страну процветающей промышленности. Это влечет за собой приток иммигрантов, надеющихся найти в Америке рабочие места, рост числа очень богатых людей и увеличение финансового разрыва между представителями разных слоев общества. Все более очевидные проявления социальной несправедливости, о свободе от которой Америки еще недавно с гордостью писали посещавшие Европу путешественники, побуждают многих писателей обращаться к социалистическим идеям, в Европе и России уже давно обретшим влияние.

Но по-настоящему американские умы захватили другие общественно-политические течения в философии. Как Америка, так и Европа в конце XIX века были потрясены теорией эволюции Ч. Дарвина. Эта теория подрывала все основы представлений о человеке, на которых до этого строилась

антропоцентрическая западная культура, видевшая в человеке подобие и порождение Бога, не ограниченное в своих возможностях ничем, кроме христианских представлений о морали. Для Европы развенчание этих идей стало поводом для распространения кризисных, апокалиптических настроений, мучительного переживания краха привычных ценностей, ухода в имморализм и субъективизм. В Америке дарвинизм был воспринят по-разному: для кого-то перспектива отказа от антропоцентричной картины мира была чрезвычайно болезненной, а кто-то, усмотрев смежность эволюционистских идей с прагматическими установками протестантизма, переосмыслил христианское учение в современном ключе – с точки зрения его «полезности» в земной жизни. Борьба за лучшее, стремление к увеличению благосостояния, забота о личном преуспевании – все эти вполне понятные американцам ценности и устремления получали отныне научное обоснование⁷⁵.

В этих условиях формируются новые литературные и социальные тенденции, оказавшие существенное влияние на, прежде всего, национальное самосознание американцев – и, как следствие, на литературу путешествий последующих десятилетий.

Приток иммигрантов в Америку в последние десятилетия XIX века был чрезвычайно масштабным и представлял собой фактор, существенно влиявший на жизнь страны. О. Оверланд приводит следующие цифры: «В 1910 году 14,7% населения США составляли люди, родившиеся за рубежом. Чтобы уразуметь значение этой цифры, следует припомнить, что иммигранты распределялись по территории неравномерно, концентрируясь на Северо-Востоке и Среднем Западе. Во многих городах иммигранты и их дети составляли более 80% жителей»⁷⁶. Этот неослабевающий людской поток вызывал у американцев тревогу: им казалось, что подобная национальная пестрота способна в конечном счете заглушить и уничтожить расу истинных

⁷⁵ История литературы США. Т. 5. С. 10-30.

⁷⁶ Там же. С. 770-771.

хозяев Америки – англо-саксонскую. Одним из символов этой англо-саксонской цивилизации являлся, конечно же, английский язык, и в 1880-1890-е годы в стране начали принимать законы, ограничивающие использование других языков, преподавание на них в школах и т.д. Развернулась кампания по «американизации» иммигрантов, целью которой было превращение приезжих итальянцев, шведов, поляков, японцев и т.д. в идеальных представителей американского общества: им надлежало говорить по-английски, одеваться как англо-американцы, перенимать у местного населения обычаи⁷⁷.

С другой стороны, в это же время чрезвычайно обострилась расовая проблема – сразу после Гражданской войны возникли такие организации, как ку-клукс-клан, но пик антинегритянских настроений пришелся опять-таки на 1880-1900-е гг. О.Ю. Панова приводит такие цифры: «В 1890-х число линчеваний доходило по всей стране до 200 случаев в год; именно в это время произошли самые массовые и впечатляющие расовые погромы – в Новом Орлеане (1900), Нью-Йорке (1900) и в Атланте (сентябрь 1906), где в расправах с неграми приняли участие более 10 тысяч белых»⁷⁸. При этом освобожденные негры в поисках работы массово перебирались из Черного пояса в большие города, что не могло не обострять ситуацию. За расовой войной стояла опять-таки обеспокоенность судьбой высокой англо-саксонской культуры и ее представителей – англо-американцев. Две эти тенденции (а в сущности одна), совпав по времени с распространением эволюционистских идей, привели к расцвету увлечения евгеникой⁷⁹.

Для нас эти факты существенны по двум причинам. Во-первых, этот контекст необходим для осмысленного разговора не только о творчестве афроамериканских писателей Клода Маккея и Лэнгстона Хьюза, чьи тексты о путешествиях будут рассмотрены нами четвертой главе, но также и о

⁷⁷ Там же. С. 768-770.

⁷⁸ Панова О.Ю. Негритянская литература США XVIII – начала XX века: проблемы истории и интерпретации. – Дисс. ... доктора филол. наук. – М., 2014. С. 404-405.

⁷⁹ Там же. С. 405-407.

размышлениях над своей национальной идентичностью Теодора Драйзера, о котором О. Оверланд пишет: «Первым крупным американским писателем с иммигрантскими корнями был Драйзер, который вырос в доме, где говорили на немецком языке»⁸⁰. Немцем по происхождению был и Генри Миллер (о котором речь пойдет в пятой главе), а Джон Дос Пассос (шестая глава) – португальцем по деду. Во-вторых, обострение национальной неприязни, озабоченность позициями англо-американцев свидетельствуют о кризисе национального сознания, выход из которого и предстояло отыскать представителям следующего поколения. Позиции англо-американцев в меняющейся Америке, где становились все более заметными представители других национальностей, несомненно, пошатнулись – в том смысле, что прежняя картина мира, где они были единственными хозяевами Америки, все менее сходилась с действительностью. Попытки преодоления этого кризиса про помощи евристических законов и институций не могли увенчаться успехом – требовалась новая концепция Америки, новое представление об американце.

Кроме того, по мнению Донны Кинлоу – и подтверждение тому мы находим в текстах, например, Генри Джеймса и Генри Миллера - многими американцами болезненно воспринимался урбанизм новой эпохи, возникло такое явление, как ностальгия по старой доброй аграрной Америке. Американцы начинают все более активно путешествовать по глубинке в поисках этой уходящей в прошлое Америки; Кинлоу приводит в пример Миртл Барретт («Наша удивительная поездка», 1914) и Мэри Остин («Страна игрушечного дождя», 1903). Также она ссылается на Лоуренса Левина, писавшего, что противодействующие энергии прогресса и ностальгии всегда существенно влияли на развитие США и обладали «одинаковой исторической силой»⁸¹. Эта тенденция в травелогике идет рука об руку со взлетом литературы регионализма на рубеже XIX-XX вв.

⁸⁰ История литературы США. Т. 5. С. 795.

⁸¹ Packer-Kinlaw D. Anxious Journeys... P. 15.

Интерес к родной стране, желание путешествовать по Америке – эта тенденция, в следующие десятилетия ставшая столь значимой и плодотворной, появилась именно на излете прогрессивистской эры. Она нашла отражение не только в поэтических очерках Мэри Остин о Калифорнийской пустыне, в которых она главным образом восхищается девственной природой малозаселенного Запада, но и, например, в серии бытоописательных репортажей Клифтона Джонсона с общим заголовком «Вдоль и поперек» («Вдоль и поперек: Юг», 1904; «Вдоль и поперек: долина Миссиссиппи», 1906; «Вдоль и поперек: Скалистые горы», 1910). Профессиональный фотограф и иллюстратор, Клифтон Джонсон чрезвычайно интересовался жизнью сельской Америки, и его очерки возникли как сопровождение к фотографиям, пояснительные записи. В них Америка предстает, в сущности, новой, неизученной, малознакомой для жителей восточных штатов страной. Сосредоточенность Джонсона именно на деревенской жизни вкупе с другим его увлечением – сбором и литературной обработкой американского фольклора – делает его в определенной степени провозвестником модернистского проекта национально-культурного строительства. В 1910 году также выходит травелог Джона Нейхардта, чьи наиболее известные книги посвящены североамериканским индейцам, о путешествии по реке Миссури от штата Монтана до Сент-Луиса – «Река и я».

Если образ Америки в травелогах становится все более насыщенным и лично окрашенным, то травелог европейский в творчестве крупнейших писателей-путешественников нулевых годов редко выходит за пределы старых форм, которые «Кембриджский сборник...» называет нежизнеспособными: «За исключением Джека Лондона, крупнейшие писатели-путешественники предвоенной эпохи явственно и даже болезненно оторваны от жизни. Генри Адамс, Генри Джеймс и Эдит Уортон предлагают европейский травелог того типа, дни которого на рубеже веков уже сочтены. Все они выросли в то время, когда гранд-тур считался вершиной,

завершающим штрихом элитного образования, все пересекали океан, желая оказаться подальше от своей, как думалось, культурно убогой родины»⁸². В стремлении обрести в Старом Свете духовную родину, исток Западной цивилизации, писатели-путешественники следуют торными маршрутами и описывают не столько то, что видят, сколько то, что должны видеть в соответствии со своими ожиданиями. «Генри Джеймс <...> практически неизменно остается в позиции зрителя по отношению к посещенному им месту: если то, на что падает его взгляд, не является ни рисунком, ни акварелью, ни живописным полотном, тогда оно будет представлено драматической сценой, увиденной из ложи. Не возникает сомнений, что писатель-путешественник навязывает посещаемым местам свои фантазии в такой степени, что с тем же успехом мог бы выдумать их целиком»⁸³. Здесь в первую очередь имеется в виду сборник «Портреты мест» (1883) – более поздние травелоги Джеймса, во многом сохранив названные особенности, все же подготовили трансформацию жанра путешествия, о чем речь пойдет в отдельной главе.

Эдит Уортон, ученица Генри Джеймса, который даже сопровождал ее в путешествии по Франции, в первом десятилетии XX века написала два травелога: «Итальянский фон» (1905) и «Мотопробег по Франции» (1908), третий, «В Марокко», вышел уже в 1919 году. Есть элементы травелога и в «Воспитании Генри Адамса» (1907), также в 1904 году Адамс выпустил отдельный травелог – «Мон-Сен-Мишель и Шартр», в котором поэтические рассуждения о средневековой культуре и архитектуре сочетаются с историческим эссе. И для Уортон, и для Адамса, и для Джеймса эмоциональной кульминацией текста о путешествии является описание того или иного архитектурного или живописного объекта, прочтение через этот объект многовековой западной истории. Действительная жизнь современных Франции, Англии или Италии практически их не интересует. Как мы видим,

⁸² The Cambridge Companion to American Travel Writing. P. 127.

⁸³ Ibid. P. 128.

это и в самом деле подход к путешествию, тип текста о путешествии родом из XIX века, и в условиях меняющегося мира он стремительно устаревает.

Одним из немногих исключений из этой тенденции является травелог Джека Лондона «Люди бездны» (1903), в котором автор, верный принципам натурализма, описывает жизнь бедных лондонских кварталов в Ист-Энде. Желая лучше понять, как живут лондонские бедняки, Лондон проводит несколько недель в районе Уайтчепел, ночует в работных домах и даже на улице, квартирует у бедной рабочей семьи. Получившийся в результате этого эксперимента текст резко отличался от большинства травелогов, посвященных Англии, прародине всего англо-саксонского мира – ведь другие писатели-путешественники «стремились к обществу аристократов, художников и интеллигенции»⁸⁴, а всеобъемлющее превосходство англо-саксонской расы и цивилизации представлялось им «неоспоримым фактом»⁸⁵.

Это представление проявлялось и в путешествиях по странам, не входившим в маршрут гранд-тура – Испании, странам Южной Америки, тихоокеанским островам. Культуры этих стран воспринимались как отсталые и второстепенные, местные жители даже и в начале XX века трактовались в просвещенческом духе и выводились в травелогах как примитивные, близкие к природе, наделенные особой первозданной мудростью существа, нуждающиеся в покровительстве. Классическим автором, создавшим в американской литературе образ тихоокеанских островов и их жителей, является, конечно, Герман Мелвилл – на него и ориентируются путешественники последующих поколений; Джек Лондон, например, в своем «Путешествии на Снарке» (1907) неоднократно его цитирует. Кристофер Макбрайд, рассуждая о путешествиях американцев по тихоокеанским островам – на Маркизские острова или Гавайи – подчеркивает, что в этих путешествиях вопрос о национальной идентичности вставал не менее остро,

⁸⁴ The Cambridge Companion to American Travel Writing. P. 128.

⁸⁵ Ibid.

чем в путешествиях в Старый Свет: «Вдобавок, эти тексты позволяли американским авторам самоутвердиться за счет создания в травелоге литературного образа Другого – и это давало им возможность писать с позиций литературного и культурного лидерства. Таким образом, Америка могла избавиться от своего унижительного статуса отсталой, развивающейся нации и передать его кому-то другому»⁸⁶. Подобным же образом – сверху вниз – смотрели путешествующие американцы и на Южную Америку – в прогрессивистскую эру она воспринималась как своего рода «южный фронт»⁸⁷. Надо отметить, что даже в «Путешествии по Южной Америке» (1943) Уолдо Фрэнка можно обнаружить восхищение естественной, «дикарской» непосредственностью местных жителей: «Мы, североамериканцы, и есть настоящие дикари. Мы, с этой нашей неспособностью что бы то ни было объяснить, - ни дать не взять первобытные люди. А эти мальчики и девочки из Сантьяго уже в конце пути, они закончены, они совершенны. Их красота сродни животному здоровью. Точно так же совершенна породистая лошадь»⁸⁸.

Мы видим, что формы травелога в 1890-1900-е гг. за редкими исключениями остаются традиционными – и в связи с этим жанр стремительно теряет свою состоятельность, оказываясь неспособным описывать реальный мир начала XX века. Это – частное проявление общего кризиса выразительности, имевшего место в американской литературе этого времени и нашедшего отражение в соперничестве двух направлений: натурализма и школы благопристойной традиции, унаследовавшей и законсервировавшей достижения американских романтиков. Американские писатели, которых относят к натуралистам – С. Крейн, Ф. Норрис, Дж. Лондон, Х. Гарленд - не всегда были последовательны в своей приверженности этому течению и в своих текстах совмещали стремление к

⁸⁶ Ibid. P. 177.

⁸⁷ Ibid. P. 181.

⁸⁸ Frank W. South American Journey. – London: Victor Gollanzes Ltd, 1944. P. 86-87.

научной проницательности с романтикой и даже героикой. Э. Спиллер вовсе полагает, что «до Драйзера в Америке не существовало писателя, о котором можно было бы сказать, что он натуралист, целиком и полностью преданный философии, тематике и методу Золя»⁸⁹, впрочем, и Драйзера тоже трудно назвать абсолютным натуралистом. Как бы то ни было, именно в исканиях писателей-натуралистов выразилась потребность в новой тематике и новом языке национальной литературы, предвосхищавшая модернистский проект переоткрытия Америки 1910-х гг.

1.5. Модернистская программа культурно-национального строительства 1910-1920-х гг. и новые направления путешествий

Проблема взаимоотношений Америки и Европы, во многом определявшая развитие американской культуры в XVII-XIX вв., с наступлением эпохи модернизма перешла в новую фазу. Связано это было как с очевидным изменением положения Америки в мире, так и с возросшей зрелостью и автономностью литературной и культурной традиции (показательно в этом смысле название книги Ван Вик Брукса «Совершеннолетие Америки», 1915). Эстетические и идейные достижения модернизма давали американским писателям 1910-1930-х гг. новые инструменты для ведения этой дискуссии. При этом нараставшее разочарование в характерном для Америки духе секуляризованного пуританства (культ успеха и наживы, практицизм, приземленность и т.д.) оформилось в протест и стало одной из движущих сил американского модернизма в целом. Однако пути исправления этой ситуации виделись писателям-модернистам разными. И уже в 1910-х гг. на страницах новых модернистских журналов, таких как «Poetry» или «Seven Arts», обозначились идеи двух враждующих ответвлений американского модернизма – европоцентристского и нативистского.

⁸⁹ Литературная история США. Т. 3. С. 102.

Европоцентристское крыло было сформировано писателями и поэтами, в большинстве своем переселившимися в Европу (Э. Паунд, Т.С. Элиот, Х. Дулиттл и др.) в связи с убежденностью в том, что Америка лишена всяческого творческого потенциала и способна лишь губить этот потенциал в других. Признавая кризис западной цивилизации, они искали источник спасения культуры в прошлом, в искусстве добуржуазной эпохи.

Нативистов также не устраивал избранный Америкой в XX веке путь – стяжательства, преумножения земных благ и пр., - но объяснение этому они видели в том, что все эти двести с лишним лет Америка шла по неверному пути, храня свою культурную зависимость от Европы. Именно теперь, в XX веке, у нее есть шанс спастись: порвав с Европой, не превратиться в ее бессмысленную и бесплодную копию. Так появляется формула «переоткрытия Америки»: если следовать нативистам, то Америка в сущности до сих пор оставалась неоткрытой, и вопреки тому, что ее заселили и обжили, сохранила свою первозданность. Журналом, в котором особенно отчетливо были сформулированы нативистские идеи, был появившийся в 1916 году “Seven Arts”, основанный Джеймсом Оппенхеймом и Уолдо Фрэнком.

Подобно путешественникам XVI-XVII вв., отправившихся в Америку в надежде основать рай на земле, нативисты грезил о «новосветной утопии» - устремленной в будущее, в котором именно Америка с ее чистотой и первозданностью займет место мирового культурного лидера. Именно в этом состояла конечная цель программы нативистов – окончательное преодоление провинциального комплекса в отношениях с Европой и обретение лидерства в мировом культурном процессе в наступившем XX веке. Одним из манифестов этой программы стала книга Уолдо Фрэнка «Наша Америка» (1919), где он критикует пороки американского общества, от которого отвернулся Бог, и писателей предыдущего поколения (в особенности Марка Твена и Джека Лондона), оказавшихся недостаточно смелыми, чтобы противопоставить им свое искусство, но при этом возлагает

надежду на поколение своих современников, которое «первым осознанно стремится к духовному развитию нации и формированию гармоничного человека»⁹⁰.

Подобные установки не могли не выдвинуть травелог – жанр, для которого тема поиска национальной идентичности, познания «души» той или иной нации является абсолютно естественной, - на первый план. Отныне травелог становился инструментом познания подлинной Америки и ее места в мире, и тема идентичности становится для него не просто органичной, но центральной. Описанная нами выше тенденция к новому, «путешественническому» освоению Америки в 1910-1920-х расцветает, появляется огромное количество новых текстов о путешествиях по США: «Наша удивительная поездка» (1914) Миртл Барретт, «По Гранд-Каньону от Вайоминга до Мехико» (1914) Элсворта Колба, серия «Домашняя заграница» Джулиана Стрита («Домашняя заграница: американские странствия, наблюдения и приключения», 1914; «Американские приключения: вторая поездка по домашней загранице», 1917), «Каникулы индианца» (1916) Теодора Драйзера, «Карманное руководство для нищих...» (1916) Вейчела Линдси, «Что посмотреть в Америке» (1919) Клифтона Джонсона, «Вниз по самой опасной в мире реке» (1921) Клайда Эдди, «Южные сьерры Калифорнии» (1923) Чарльза Сондерса, «Там, где кончаются путешествия» (1924) Мэри Остин, «Как знать: Правдивый рассказ о впечатлениях художника, проехавшего на машине от Нью-Йорка до Калифорнии и обратно» (1925) Джеймса Флэгга и многие другие. Невозможно «переоткрыть Америку», не изучая ее непосредственно; расцвет региональных течений в литературе позволяет не только обозначить и исследовать присущие каждому из регионов проблемы, обычаи и характеры, но и окружить каждый из них особым ореолом, различить в их самобытности очередную черту «подлинной Америки». По США начинают путешествовать

⁹⁰ Попова В.Ю. Новое открытие «нашей Америки»: культурная утопия Уолдо Фрэнка в контексте раннего американского модернизма // Научный диалог. 2018. №7. С. 207.

так, как некогда путешествовали по Европе: посещая памятники истории и выдающиеся природные объекты. Кого-то, как Генри Джеймса, интересует при этом собственно «музейная» сторона дела: его особенно трогают места воинской славы или пространства, связанные с книгами или писателями, в то же время бичевание современности, прогресса, рост промышленных городов повергают его в ужас; кто-то же, напротив, подобно Драйзеру, восторгается именно этой стороной жизни Америки в XX веке:

В смысле технической обустроенности Европа по сравнению с нами несмышленный младенец. Покажите мне заграничную страну, где вы смогли бы проехать на междугороднем трамвае такое же расстояние, как от Нью-Йорка до Чикаго, или государство, по размеру сопоставимое с Огайо или Индианой, не говоря уж о том, чтоб с обоими этими штатами вместе взятыми – пронизанное сетью комфортабельных дорог, устроенных так, чтобы можно было путешествовать по ним куда угодно, чуть ли не в любое время дня и ночи. Где как не в Америке вы можете наугад зайти в любую из наших комфортабельнейших телефонных будок и позвонить в любой город, даже если он за три тысячи миль от вас; или взойти на поезд любого направления и в любое время, и знать, что он без пересадок доставит вас за тысячу миль или дальше; или проехать, вот как мы, две тысячи миль по цветущей, плодородной земле, минуя превосходные фермы и сельскохозяйственную технику, где все дышит здоровым процветанием – и даже, можно сказать, обескураживает изобилием? Ибо стоило нам пересечь эту страну, как она явилась мне чудесно плодородной, полной просторных и удобных жилищ, энергичных, открытых и даже не чуждых остроумия людей – по-настоящему счастливых людей. Думается мне, это чего-то да стоит – и посмотреть на это стоит⁹¹.

Полемика нативистов и европоцентристов меняет и европейский травелог. Теперь американец осознанно стремится разделить «европейское» и «американское», в том числе в самом себе. Для кого-то при этом целью становится освобождение от «американскости», а для кого-то, напротив, ее кристаллизация. Таковы «Путешественник в сорок лет» (1913) Теодора Драйзера или «Парижская тетрадь» (1921) Шервуда Андерсона. При этом нельзя не отметить, что если не поездок в Старый Свет, то травелогов, ему посвященных, в 1910-1920-е гг. появляется относительно немного. По

⁹¹ Dreiser T. A Hoosier Holiday. – Bloomington; Indianapolis, ID: Indiana University Press, 1997. P. 61.

нашему мнению, это связано не только с Первой мировой войной. Донна Кинлоу со ссылкой на Денниса Портера указывает, что американцами, отправлявшимися в Европу в то время, владело чрезвычайно сильное желание совершить открытие, увидеть нечто новое там, где «уже все увидено» - и при этом не менее интенсивное сожаление о том, что они всюду «опоздали», что на карте не осталось белых пятен⁹². Мы полагаем, что это отчасти объясняет существенное расширение географии американских путешествий в начале века. Нативистские идеи оказали влияние на писателей-путешественников: именно в эти годы им стали куда более интересны мало исследованные или новые цивилизации. Достаточно перечислить некоторые из выходявших в те годы травелогов с указанием авторских маршрутов: «Австралия глазами женщины» Джесси Аккерман (1913); путешествие Гарри Фрэнка «По Мексике, Гватемале и Гондурасу» (1917); «Куда ведут таинственные тропы» Эдварда Пауэлла (1921) о путешествии по Сулу, Борнео, морю Сулавеси, Бали, Яве, Суматре, Малайзии, Сиаме, Камбодже, Аннам и Китаю; путешествия по Южной Америке Гарри Фрэнка (1921) и Льюиса Фримана (1921); «Земля каннибалов: приключения человека с камерой на Новых Гебридах» Мартина Джонсона (1922) о путешествии по Меланезии; «На гребнях Шалы: описание некоторых путешествий в краю горных племен Албании» Роуз Лейн (1922) о Балканском полуострове; путешествия по Ближнему и Среднему Востоку Эдварда Пауэлла (1923), Гарольда Спикмана (1923), Пола Кравата (1925), Томаса Лоуэлла (1925), Джона Дос Пассоса (1927) и др.; поездки по Китаю, Тибету, Индии и Малайзии: «Белые воды и черные» Гордона Маккри (1926), «Странствие по Северному Китаю» Гарри Фрэнка (1923); по Арктике: «Негритянский исследователь на Северном полюсе» Мэттью Хэнсона (1912), «В двенадцати градусах от Полюса» Дональда Макмиллана (1927); по Африке: Эдит Уортон (1919), Уильяма Биби (1921), Мартина Джонсона (1924), Эдварда Пауэлла (1926) и др. Колониальный взгляд на мир,

⁹² Packer-Kinlaw D. *Anxious Journeys...* P. 1-2.

в котором столь бесспорно господство и превосходство англо-саксонской цивилизации, начинает уходить в прошлое. Страны, раньше мало кому интересные, оказывались в то время в центре внимания зачастую потому, что именно там вершились социальные и политические эксперименты, реализовывались те или иные идеи, нередко весьма привлекательные для мыслящих американцев. К числу таких стран относились Россия, страны Центральной и Южной Америки, Испания.

Конечно же, особый интерес для американцев представляли путешествия в Россию. Этот интерес на протяжении интересующих нас десятилетий был неодинаков. В книге П. Холландера «Политические пилигримы...» говорится о том, что СССР является безупречным примером парадоксального положения вещей, при котором интерес к тому или иному обществу и связанные с ним надежды крепнут отнюдь не в зависимости от количества сведений о его успехах, а в соответствии с ухудшением обстановки в обществе ему противопоставленном, в среде смотрящего⁹³. В качестве аргумента приводится тот факт, что Октябрьская революция 1917 года не привлекла к себе всеобщего внимания в мире и была интересна скорее энтузиастам левых течений, - именно потому, что кризис капиталистического общества еще не наступил, и в западных странах все еще царилло благополучие. Но потом начинается Великая депрессия, которая бьет в первую очередь по США, но отражается на экономике всего мира, в связи с чем наступает повсеместный кризис капиталистической картины мира. В конце 1920-х – начале 1930-х гг., по мере нарастания этого кризиса, СССР, страна, по всеобщему мнению, торжествующего социализма и «работающего будущего», приковывает к себе все большее внимание. От пресловутого благополучия не осталось и следа – и тут уже на Россию обратились взгляды не только противников капитализма, но и самих капиталистов. Рассуждая об интересе к советской России в 30-х годах не американцев, а англичан, Джордж Оруэлл пишет: «Но есть кое-что еще, способствовавшее культу

⁹³ Hollander P. Political Pilgrims... P. 102-103.

России среди английской интеллигенции в последние годы, — спокойствие и надежность самой английской жизни. <...> Едва ли не все ведущие писатели 30-х годов принадлежали к мягкотелому, при всей эмансипированности, среднему классу, они были слишком молоды в годы мировой войны, чтобы она их обогатила необходимым опытом: для людей этого склада такие вещи, как чистки, тайная полиция, тюрьмы, казни без суда и прочее, слишком невняты, чтобы ужаснуться им. Они легко смиряются с тоталитаризмом, потому что не имеют никакого опыта, кроме либерального»⁹⁴. Из рассуждений Оруэлла становится очевидным, что популярность советской России у молодежи 30-х, в особенности творческой и интеллектуальной, была обусловлена в первую очередь описанной нами выше ценностной перестройкой: «Беда в том, что на исходе 20-х годов не существовало ничего, кроме разве науки, искусства и “левого” политического движения, во что смог бы уверовать мыслящий человек. <...> Ведь потребность верить во что-то все равно не исчезает. <...> Не думаю, что нужно и дальше отыскивать причину притягательного воздействия коммунистической партии на молодых писателей 30-х годов. Эта идея была из тех, в которые можно верить. Вот оно, все сразу — и церковь, и армия, и ортодоксия, и дисциплина. Вот она, Отчизна, а — года с 35-го — еще и Вождь. Вся преданность, все предубеждения, от которых интеллект как будто отрекся, смогли занять прежнее место, лишь чуточку изменив облик. Патриотизм, религия, империя, боевая слава — все в одном слове: Россия. Отец, властелин, вождь, герой, спаситель — все в одном слове: Сталин. Бог — Сталин, Дьявол — Гитлер. Рай — Москва, Ад - Берлин. Никаких оттенков»⁹⁵. Нам представляется, что в основе своей эти рассуждения, хоть они и отражают непримиримую позицию самого Оруэлла по отношению к тоталитарным режимам и не могут претендовать на объективность, применимы вообще к западному миру того времени.

⁹⁴ Современники о Генри Миллере. Дж. Оруэлл. С. 704-705.

⁹⁵ Там же.

При этом существует объяснение тому, почему именно американцам Советский Союз казался таким интересным; почему среди иностранных активистов, прибывавших в СССР не из-за последствий Великой депрессии, а непосредственно после революции и в годы Гражданской войны, было столько американской молодежи. Дело в том, что СССР был очередной попыткой построить рай на земле, создать безупречное общество, - это была новая воплощенная утопия, каковой воспринимала себя некогда и Америка; каковой она в той или иной степени воспринимает себя до сих пор. Это было для всех очевидно, и в Россию устремлялись не только и не столько убежденные марксисты, сколько те американцы, которые разочаровались в собственно американской идее. Неслучайно глава монографии Джулии Микенберг «Американки в Красной России: в погоне за советской мечтой», посвященная сибирскому эпизоду жизни Рут Кеннел, покинувшей семью и устоявшийся быт в Сан-Франциско ради жизни в далекой сибирской коммуне в 1920-х годах, называется «“Новая Пенсильвания”: поиски дома в Сибири», а сама Микенберг в интервью тexasскому журналу “Life and Letters” говорит об «исходе тысяч американцев» в «красный Иерусалим» в то время.

Впрочем, по-новому привлекательной страной для американских путешественников был не только СССР. Не меньший интерес вызывали в первой трети XX века другие страны, в которых происходили политические перевороты – это Мексика в годы Мексиканской революции (1910-1917) и после нее, Испания в годы Испанской войны (1936-1939), страны Ближнего Востока в период политических переворотов 20-х гг. В этих странах американцев интересовало не только движение живой истории, в котором проверку действительностью проходили занимавшие тогда столь многих революционные и социалистические идеи, но и то, что именно там, на периферии западной цивилизации или за ее пределами человеческие характеры, ценности и отношения сохранили природную чистоту и выразительность, которые не выжили бы в условиях европейской «высокой

культуры», обезличивающей людей. В связи со сказанным выше о проекте культурно-националистического строительства становится понятно, что отправляясь в Мексику или на Восток, американский писатель в большой степени мог надеяться на то, что в соприкосновении с не тронутой европейским влиянием, самобытной культурой ему откроется путь к той самой подлинной, первозданной Америке.

Другой важной причиной, по которой писатели-путешественники посещали те или иные страны – на этот раз самые разные – был поиск не общенациональной, а личностной идентичности. Писатели отправляются туда, откуда были родом их предки, путешествуют «в поисках корней», стремясь осознать меру своей «американскости» и понять, в чем она, собственно говоря, заключается. Теодор Драйзер едет в Германию, афроамериканцы Лэнгстон Хьюз и Клод Маккей – в Африку. Переработка собственного национального сознания, размышление над понятием «американскости» приводят в конечном счете к переосмыслению национальной специфики США в целом. На фоне расцвета иммигрантской культуры, на фоне Гарлемского Ренессанса и ренессанса индейского актуализируется образ «гражданина мира», а Америка начинает пониматься как страна, причудливым образом преломившая в себе культуры всего мира и выработавшая (не механически, а органически) на их основе собственную, ни на какую более не похожую.

В XX веке путешествовать стало гораздо проще, а жизнь менялась с такой стремительностью, что скорость и движение очень скоро стали своего рода новой идеологией. «Путешествие, перемещение, поиск, открытие – все это так всеобъемлюще напитало литературу новой эпохи – эпохи неустанности, подвижности; столь громогласно напомнило всем о своей древней сущности – пробуждать воображение к раздумью о частном и о нравственном, - что произвело мощный, коренной переворот во многих писателях. Роман о движении стал главным жанром в эпоху потерянности и

непокою»⁹⁶, - пишет М.Д. Цабель. Таким образом, нативистский запрос на поиск американской национальной идентичности, общий запрос времени на документальность и технический прогресс вместе возвысили травелога и поставили его на одну из центральных позиций в американском литературном процессе первой трети XX века. В соответствии с этой новой позицией с одной стороны и модернистской революцией в мире литературных форм с другой - закономерным образом старые модели травелога постепенно оказались изжиты или деформированы и появились модели новые – состоялась трансформация жанра, о которой пойдет речь ниже.

Нам удалось составить достаточно подробную библиографию американского травелога первой трети XX века, в которой пестрота этих направлений отражена в полной мере (Приложение 1). Мы видим, что травелоги в это время писали не только авторы, часто и много путешествовавшие и даже превратившие путешествие в каком-то смысле в часть собственной профессии (Дос Пассос, Генри Джеймс, Халлибертон); есть в библиографии тексты писателей, для которых литературно осмысленное путешествие было скорее эпизодом в творческой биографии (Шервуд Андерсон, Э.Э. Каммингс) и книги тех, чья профессиональная деятельность была связана с какой-то конкретной страной или областью и потому оформилась в несколько произведений, объединенных географически или идеологически (Юджин Лайонс, Уолдо Фрэнк). Кроме того, очевидно, что среди указанных в библиографии писателей есть представители разных поколений и эстетических взглядов, что весьма существенно для понимания оценок, которые они дают виденному. Таким образом, можно сказать, что эта библиография предлагает разнообразный и показательный корпус текстов, анализ которого дает возможность составить целостное представление о том, как и почему менялся в это время жанр травелога в Америке.

⁹⁶ James H. The Art of Travel... P. 12.

При анализе можно обратиться к географическому принципу. В таком случае в центре исследования окажутся *собираемые образы* тех или иных стран и областей, которые чаще всего описывали путешествовавшие американцы, и судить о трансформации жанра и представлений о национальной идентичности американцев нужно будет отталкиваясь именно от этих собираемых образов. Более разносторонний и показательный результат может дать анализ, основанный на сопоставлении литературных путешествий одного и того же автора по разным местам. В таком случае мы сможем проследить за тем, как образы не похожих друг на друга стран мира воспринимаются одним художником, проистекая из его личной и творческой биографии, вплетаясь в его писательский поиск и влияя, от места к месту, на его самовосприятие как американца. Именно этот подход и был избран нами, а центральными фигурами исследования должны были стать писатели много путешествовавшие, принадлежавшие к разным поколениям и оставившие в истории литературы США достаточно яркий след, не сводимый к созданным ими травелогам. Поэтому в дальнейшем наше исследование будет поочередно обращаться к фигурам Генри Джеймса, Теодора Драйзера, афроамериканских писателей Лэнгстона Хьюза и Клода Маккея, Генри Миллера, Джона Дос Пассоса и Э.Э. Каммингса, что позволит нам выявить основные тенденции развития травелога как жанра на межкультурном материале и в динамике.

Глава II.

Генри Джеймс: в поисках национального характера

Генри Джеймс и по возрасту, и по складу своей творческой биографии может называться писателем XX века и даже писателем рубежа веков лишь с большой натяжкой. В сущности, интересующие нас травелоги – «Английские часы» (1905), «Итальянские часы» (1909) и «Американские зарисовки» (1907) были практически последними его работами, поскольку оставшиеся после них 10 лет до смерти Джеймс посвятил главным образом подготовке собственного собрания сочинений, а также нескольким романам, которые он не успел завершить. Эти травелоги были для Джеймса далеко не первыми опытами в этом жанре, поскольку автобиографические произведения он многократно публиковал и до наступления XX века, а учитывая то, как тесно его жизнь была связана со всевозможными переездами (в первый раз он оказался за границей, во Франции, вместе с родителями в возрасте одного года), можно сказать, что травелог был для него одной из самых испытанных форм. Те же Париж, Лондон, Венеция и Флоренция, о которых идет речь в указанных текстах, были уже неоднократно описаны Джеймсом как в автобиографических, так и в художественных произведениях.

Тем не менее, мы полагаем, что Джеймс должен быть включен в наш анализ – прежде всего как писатель, для которого переходное, пограничное состояние было не только и не столько особенностью творческого пути, но неотъемлемой частью образа жизни; более того, он осознавал, что это состояние типично для представителей его поколения: «Человеческое предназначение его современников <...> Джеймс благодаря своему весьма хаотическому воспитанию ощущал с необыкновенной остротой; то было предназначение отзывчивого ума в период, который может быть назван переходным: позади осталось господствующее влияние старых идеалов классического христианства и старых европейских институтов, впереди были

новые идеалы, как бы их впоследствии ни именовали», - отмечает Ричард П. Блэкмур⁹⁷.

М.Д. Цабель пишет: «Из всех современных писателей он особенно примечателен тем, как обращался к опыту путешествия, как использовал его»⁹⁸. После упомянутой первой поездки в Европу с родителями (1843-1845) Генри Джеймс еще несколько раз приезжает в Старый Свет: долго живет там (1855-1860), затем путешествует (1869-1870, 1872-1874); наконец в 1875-1876 гг. принимает решение переселиться в Европу насовсем и уезжает сначала во Францию, а потом и в Англию, где и будет жить до конца своих дней. При этом он несколько раз посещает Америку, в последний – в 1904-1905 гг. с обширным лекционным турне, с чем и было связано появление «Американских зарисовок». Блэкмур полагает, что такое раннее приобщение детей к путешествиям и европейской атмосфере было сознательным воспитательным актом отца писателя, Генри Джеймса-старшего: «Своих сыновей Уильяма и Генри он “окрестил”, по собственному разумению, в младенчестве, когда ни один из них еще не говорил, взяв их за границу и решительно погрузив в купель европейской жизни: обряд, который на всю жизнь определил их особую силу и слабость»⁹⁹.

О глубоком впечатлении, которое произвели на будущего писателя эти путешествия, писал Ван Вик Брукс в уже упоминавшейся нами работе «Паломничество Генри Джеймса». Брукс в весьма эмоциональном тоне показывает, как побледнели из-за них привычные домашние картины, как отдалился Джеймс от обладавших менее широким кругозором сверстников и как вообще со временем сформировалась в нем тяга ко всему старинному, в том числе к американской старине, – в противовес современности. «Как ни странно, американская панорама лишь распалила его страсть. Нью-Йорк,

⁹⁷ Литературная история США. Т. 3. С. 127.

⁹⁸ James H. The Art of Travel... P. 12.

⁹⁹ Литературная история США. Т. 3. С. 129.

Америка – его Америка – в один голос говорили с ним о Европе. Где-то там, на заднем плане раздавался сбивчивый шум и гул, связанный с чем-то другим – с бизнесом, политикой, покорением Запада, горами и лесами, непонятными чудными деревушками и городами с индейскими названиями. <...> Но дома обо всем этом говорили так редко; и не было ни “Панча”, ни Гаварни, ни Теккеря чтобы сделать это разноцветным, понятным. <...> А вот в остальном это и впрямь была «Европа», Европа черно-белая вместо Европы цветной! <...> Мистер Ирвинг был ни дать ни взять англичанин, а серебристый голос мистера Эмерсона, разумеется, не мог иметь ничего общего с гулом Четырнадцатой улицы. А другие? Увы этим другим, увы всему нью-йоркскому искусству! Не для того разве стекались они к семейному очагу, чтобы лишний раз убедить мальчика: знаменитые художники Старого Света несравненны и неодолимы?»¹⁰⁰. И наконец, Брукс переходит к импрессионистическому пассажи, посвященному тому, какой при подобном воспитании должна была казаться маленькому Джеймсу родная Америка: «“Так или иначе я всегда ‘был’ в Европе, потому что все, что меня окружало, было ‘оттуда’, ‘тамошнее’”, – так характеризовал атмосферу своего детства сам Джеймс, уже повзрослевший. Все, что он видел, что слышал, к чему прикасался, что пробовал на вкус в родной стране – все это, буквально все было отражением, напоминанием о той, другой, волшебной стране за океаном. <...> Все это наружное, все это “почему-то не европейское” – на улицах такого было полно, и ему это казалось уродством»¹⁰¹.

Такая жизнь на два континента и является наиболее интересной особенностью биографии и творчества Генри Джеймса для большинства исследователей. Они задаются вопросом о том, следует ли относить его произведения к американской или к европейской литературе, и рассуждают о психологической стороне «жизни на два дома», зачастую приходя к выводу,

¹⁰⁰ Brooks V.W. The Pilgrimage of Henry James. – New York: Dutton, 1925. P. 12-13.

¹⁰¹ Ibid. P. 14.

что Джеймс чувствовал себя чужим повсюду и нигде так и не прижился. Нам представляется, что судьба этого писателя стала своего рода воплощением того состояния американской культуры, которое мы описывали в главе, посвященной XIX веку и его окончанию. Сложные отношения взаимного притяжения и отторжения, противостояния и соперничества, попытки отделить общее от индивидуального – этот напряженный диалог между Америкой и Европой стал для Джеймса главной, ведущей творческой темой и в то же время личным внутренним конфликтом, который так существенно повлиял на его жизнь. В этом отношении, несмотря на всю свою любовь к Европе, Джеймс оказывается подлинно американским писателем. К. Уэгелин пишет, рассуждая о мере американского и европейского в творчестве Джеймса: «“Быть американцем – это значит в том числе брать на себя обязательство, – писал Джеймс в начале 1870-х, – Борьба против суеверий, связанных с Европой”. <...> Готовность принять на себя такую миссию относительно Европы – не просто порождение “экспатриантских” предрассудков. Многие американские писатели XIX века чувствовали необходимость расставить точки над *i* в своих собственных отношениях с Европой и в отношениях Европы и Америки; очень немногие из них полагали, что их долг как американцев – отвернуться от Европы. Когда речь идет об отношении Джеймса к Америке и к Европе, об этом забывать нельзя. Пускай его история была особенной – это была американская история»¹⁰².

При этом следует иметь в виду, что дело не только в вопросах взаимоотношений Америки и Европы, но и в проблеме нравственного выбора, которым для Джеймса, безусловно, явился переезд в Европу. Цабель пишет, что в Америке подобное решение воспринималось гораздо более болезненно, чем в других странах Запада. Он видит в этом одно из проявлений многоликого «американского комплекса вины»: «Наверное, ни одна нация не была так переменчива в своем отношении к путешествиям, как американская. Это единственная западная страна, в которой эмиграция

¹⁰² Wegelin C. The Image of Europe in Henry James. P. 3.

всегда воспринималась как какой-то проступок, если не сказать – оскорбление патриотических чувств, чуть ли не предательство – и она же, по всей видимости, никогда не могла избавиться от чувства вины, которое возникает у общества, построенного на лишении людей свободы и родины и при этом разросшегося до нынешних масштабов за счет непрерывной миграции и неустанного движения»¹⁰³. Кстати говоря, Генри Миллер, которого нередко сравнивают с Генри Джеймсом именно в контексте их осуществившейся или не осуществившейся эмиграции, тоже отчетливо понимал особенность американского отношения к этой теме, но полагал, что отрицательное отношение к эмигрантам было особенностью его времени: «Когда я в первый раз вернулся из Европы, мне часто напоминали, что я “эмигрант”, и, бывало, в этом слове ощущался неприятный душок. Эмигрант выглядел как сбежавший. Пока не разразилась война, мечтой каждого американского художника было отправиться в Европу и прожить там как можно дольше. В те давние дни никто не сказал бы о таком человеке, что он сбежал — это было так естественно, так укладывалось в нормальный порядок вещей. С началом войны пробился на поверхность какой-то ребяческий, наглый шовинизм. “Ну что, рад очутиться опять в старых добрых Штатах?” – таким стало обычное приветствие. “Лучше Америки места нету, так ведь?” В ответ от вас ждали чего-нибудь вроде: “В самую точку попали!” <...> Америка, по преимуществу, страна эмигрантов, беглецов, а если выразиться покрепче, страна ренегатов»¹⁰⁴. Миллер тоже видит в склонности к постоянному перемещению одну из основных черт американского национального характера, который, так же, как и для Джеймса, был для него одной из центральных и наиболее болезненных тем.

Рассуждая о том, какое именно этот внутренний конфликт имел значение для Джеймса и его творчества, Цабель приходит к важному для нас

¹⁰³ James H. The Art of Travel... P. 15.

¹⁰⁴ Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар: Эссе, рассказы / Пер. с англ. – М.: Б.С.Г.-Пресс: Пушкинская библиотека, 2001. С. 14-15.

выводу: «Но спор этот (о нравственной стороне выбора в пользу эмиграции – прим. Д.К.) ведется и внутри его произведений. Он положил его в основу своей нравственной драмы, сделал его своей интернациональной темой. <...> Но он сделал это не как моралист или философ, равным образом как не выступал он при этом в роли политика, социолога, националиста. <...> Его делом было – превратить свои путевые заметки и вымышленные истории в искусство, но для этого сначала сами путешествия должны были стать искусством»¹⁰⁵. Именно таким представляется травелог Генри Джеймса – не столько автобиографическим, сколько литературным; сама жизнь мыслилась им как литературное событие. «История борьбы за постижение жизни как чувства и претворении последнего в искусство и представляет собой нескончаемую историю творчества Генри Джеймса, – отмечает Блэкмур. – <...> Его страстное желание полноты жизни для других требует от него принести собственную жизнь в жертву искусству»¹⁰⁶.

Словом, путешествие не могло не стать основной темой творчества путешественника-Джеймса – и основным приемом, к которому он прибегал, исследуя психологический облик своих героев и особенности своей эпохи, главным же образом – национальный характер американца. Цабель пишет: «Следует подчеркнуть, что Джеймса подталкивал не только личный опыт. Дело было в самой эпохе, в моменте, в том, какова была среда, в которой он вырос и жил – с точностью врача-диагноста он улавливал пульс самых отчаянных ее нужд. Путешествие в его творчестве – вовсе не пустяковая виньетка для создания романтической атмосферы, не случайная причуда и не попытка сбежать от реальности. Оно – плоть от плоти той нравственной и исторической драмы, к которой постоянно обращался он сам, в нем – культурный конфликт, который он полагал основным для своего времени, в нем – вся «непростая доля», которая выпала ему, американцу и в то же время человеку, облеченному соответствующей времени восприимчивостью и

¹⁰⁵ James H. The Art of Travel... P. 17.

¹⁰⁶ Литературная история США. Т. 3. С. 128.

умом, сознающим свою ответственность»¹⁰⁷. Этим запросом времени было, как мы показывали выше, именно определение и осознание американского национального характера и места Америки в мире, которое на тот момент требовалось совершить именно за счет сопоставления с Европой - что Джеймс и делал в своих произведениях.

Как уже говорилось выше, первостепенным для Джеймса было его писательское искусство. Несмотря на то, что в своей творческой биографии он проходил через разные этапы, обращаясь то к романтизму Готорна, то к реализму Бальзака и Тургенева, то к модернистским экспериментам, восприятие жизни через призму литературы, эстетика как один из важнейших принципов отбора материала были свойственны ему всегда. И особенно хорошо это видно именно по его путешествиям, по тому, в какую позицию он себя ставит. Рассуждающим о национальной принадлежности его творчества должна показаться примечательной такая его фраза: «Хотелось бы писать так, что для непосвященных окажется невозможным определить, кто я в данный момент: американец, рассказывающий об Англии, или англичанин, описывающий Америку»¹⁰⁸. Мы видим, что в обоих случаях Джеймс оказывается противопоставлен окружающему миру, он нарочно меняет личины, чтобы оставаться на противоположном полюсе: в Америке англичанином, в Англии американцем. Это означает, что для Генри Джеймса принципиально важной представляется возможность смотреть со стороны, не сливаясь с окружающим; всегда оставаться чужаком, чтобы точнее и глубже понимать и оценивать то, о чем он пишет. Это своего рода принципиальное и взятое за правило «остранение», которое оказалось не только воплощено в литературных произведениях, но и претворено в жизнь. «Я не считаю, что быть космополитом – значить достичь идеала. По-моему, идеал – это убежденный, неколебимый патриотизм. Космополитизм – это

¹⁰⁷ James H. The Art of Travel... P. 13.

¹⁰⁸ Нерсесова Э.В. Категория национального самосознания как художественная доминанта романов Генри Джеймса. – Автореферат дисс... канд. филол. наук. – М., 2008. С. 18.

трагическая случайность, но следует извлекать из этой случайности максимум пользы», - писал он¹⁰⁹.

Итак, в травелогах Генри Джеймса чрезвычайно высока доля литературности, что проявляется как в отборе материала, так и в его подаче. Красота, поэтичность, «вписанность» в историко-культурный контекст, философская наполненность – эти черты присущи всему, на что обращает внимание в своих травелогах Джеймс. Писатель наделяет посещаемые им места особой символической «изнанкой», чувствует в них особую энергию. Это, конечно, сближает его с писателями-путешественниками старшего поколения. «“Путешественник-фантазер”, – так он обычно себя называл; иногда “сентиментальный путешественник”, изредка – “искатель эстетического наслаждения и охотник до всего живописного”, часто – “космополит”, а наиболее характерное прозвание – “страстный пилигрим”. В сущности, он, конечно же, принадлежит к породе путешественников XIX века. Породе, которая в наше время уже почти совсем исчезла. <...> Их расцвет пришелся на период между лишениями и опасностями первооткрывательства и исследовательским либо политическим ажиотажем наших дней. Их век был веком “гения места”», - пишет Цабель¹¹⁰.

Впервые силу «гения места» Джеймс ощутил в Париже, в те самые несколько поездок с родителями, которые имели место еще в детские годы будущего писателя. «На родине Джеймсу заранее привили вкус к французскому изяществу, очарованию, цивилизованности, - он впитывал их, восхищаясь выступлениями французских акробатов, танцоров и актеров в саду Нибло. <...> Все, что впоследствии занимало взрослого писателя, дало ростки в ребенке, и вся жизнь Джеймса в ретроспекции представляется долгим паломничеством к хорошо известным ему местам и предметам»¹¹¹. Впоследствии европейские страны, в которых он бывал чаще всего: Франция,

¹⁰⁹ Там же.

¹¹⁰ James H. The Art of Travel... P. 31.

¹¹¹ Delbaere-Garant J. Henry James. The Vision of France. – Paris: Les Belles Lettres, 1970. P. 4.

Англия и Италия – достаточно отчетливо разделились для Джеймса по той роли, которую они сыграли в его судьбе и творчестве. Блэкмур характеризует эти роли так: «В Лондоне он жил, в Париже учился, Италию любил; Америка же для его художественного и социального сознания стала по преимуществу страной, с которой нужно поддерживать контакт. Лондон дал ему опору в виде организованного общества, способствовавшего упроченной жизни и репутации; Италия дала ему краски, форму, тепло, а также идеальное удовлетворение его романтической ностальгии по всем этим ценностям. Но Париж дал ему профессию, ибо там он встретил Тургенева, которого называл “замечательным гением”, и Флобера, который показался ему вульгарным человеком, но совершенным писателем»¹¹². Учитывая то, как много значило для Джеймса писательство – из предыдущих цитат можно заметить, что, по мнению некоторых исследователей, он даже подменил в конечном счете писательством саму жизнь, – становится ясно, почему именно Франция обладала для него настолько сильной притягательностью, что и переселиться изначально он собирался именно туда.

Из всех «волшебных стран за океаном» именно Франция была для Джеймса наиболее идеализированной, пропитанной ассоциациями, которые, с одной стороны, слишком отвлекали внимание от жизни текущей, с другой – приводили к раздражению в случае слишком близкого с ней соприкосновения. Национальный характер, привычки простых французов зачастую Джеймса раздражали. «Джеймс не был обыкновенным туристом и Францию воспринимал почти исключительно через призму литературы и изобразительного искусства. Природный пейзаж, например швейцарский, не привлекал его вовсе. <...> Ни одна страна не была столь же занимательна, как Франция – потому, что именно там жизнь, какой ее изображали художники, по-прежнему была повсюду», – отмечает Жанна Дэльбер-Жаран в книге «Франция Генри Джеймса», внушительном литературоведческом труде, целиком и полностью посвященном взаимоотношениям Джеймса с

¹¹² Литературная история США. Т. 3. С. 130.

этой страной¹¹³. Подтверждается это суждение и воспоминаниями знакомого Джеймса по Парижу, Уильяма Ротенштайна: «Генри Джеймс часто приезжал в Париж, где у него было великое множество друзей. Для французских писателей, впрочем, как и для своих соотечественников, он был, что называется, *persona grata*. <...> Он всех нас очаровывал; он любил молодежь и всю свою жизнь водил близкое знакомство с художниками и скульпторами. Меня забавляла его манера говорить – неспешная, одному ему присущая. <...> Я не читал его сочинений и знал его исключительно как поклонника Парижа, влюбленного в его старинные улицы и здания, но и еще, разумеется, как бесподобного собеседника»¹¹⁴.

Мы видим, что Франция для Джеймса была своего рода испытанием, непростым материалом, сопротивление которого постоянно приходилось преодолевать. Учитывая мнение Блэкмура, называющего Джеймса очень непоследовательно и в конечном счете плохо образованным человеком, ~~мы~~ можно заключить, что Джеймс покинул Францию, чувствуя, что она его подавляет. Согласен с таким выводом и Уэгелин. Для того, чтобы совершенствовать свое писательское мастерство, Джеймс перебирается в Англию, где и переживает многочисленные периоды творческой перестройки.

Впечатления от Англии, а точнее от Лондона, у него тоже двойственные. Поначалу Лондон обескураживает его, даже пугает: «Ощущение чистого величия Лондона – его немислимой безмерности – я был раздавлен им настолько, что это парализовало мой разум и мешало ему различать детали... Оно вводит тебя в какую-то невероятную интеллектуальную угнетенность... этакая необъяснимая сплюсненность ума. Это место сидит на тебе, нависает над тобой, топчет тебя ступнями, лапами и копытами своих бесчисленных двуногих и четвероногих. Оно ужасно и оно

¹¹³ Delbaere-Garant J. Henry James. The Vision of France. P. 30.

¹¹⁴ James H. Henry James: Interviews and recollections / Ed. by N. Page. – Basingstoke: Macmillan, London, 1984. P. 39.

восхитительно»¹¹⁵. И все же именно в Лондоне Джеймс находит то, что наиболее интересно и важно для него как для художника:

Такой опыт чрезвычайно познавателен – он укрепляет характер и возвышает ум. Трудно говорить о Лондоне справедливо или исчерпывающе, – пишет он сестре несколько лет спустя. – Это не приятное место; оно не милое, не веселое, не беззаботное, не безупречное. Оно – великолепное, и все тут. Не составит труда набросать перечень всего того, что делает его невыносимым. Туман, дым, грязь, темнота, сырость, невероятные расстояния, всевозможное уродство, бешеные размеры, ужасающая многолюдность, то, как вся эта безумная избыточность губительна для уюта, для удобства, для общения, для хороших манер – можно распространяться обо всем этом и о многом другом сколько угодно. Можно называть этот город унылым, мрачным, глупым, скучным, бесчеловечным, вульгарным по сути и наводящим тоску – по форме. <...> Но для того, кто смотрит на вещи подобно мне, Лондон – наиболее точное подобие жизни. Я смотрю на него глазами художника и холостяка, глазами того, кто так страстно любит наблюдать и чье дело – изучение человеческой жизни. Здесь я вижу величайший срез этой жизни, самое полное ее собрание, какое есть в мире. Здесь полнее, чем где бы то ни было, представлена человеческая раса, и если вы выучитесь Лондону – вам откроется великое множество других знаний¹¹⁶.

Описывая парижские и лондонские улицы, Джеймс редко фиксирует внимание на том, о чем не писали бы другие американские путешественники; он позволяет себе отдаваться потоку ассоциаций, пусть и не самых оригинальных, любоваться прекрасным и поверять окружением приходящие ему в голову философские парадоксы. Письма Джеймса к друзьям изобилуют рассказами о посещениях картинных галерей и театров и рассуждениями о том, какие мысли и воспоминания вызвали у него увиденные образы. Так же он выстраивал и свое отношение к Италии; миссис Намфри Уорд, итальянская знакомая Джеймса, вспоминала о том, как писатель однажды познакомился с молодым монахом по имени Аристодемо и пришел в восторг от его имени, напомиавшим ему об античных персонажах¹¹⁷. Травелог для него всегда остается в первую очередь собранием материалов для

¹¹⁵ James H. The Selected Letters of Henry James / Ed. with an introd. by L. Edel. – New York: Farrar etc., 1955. P. 20.

¹¹⁶ James H. The Complete Notebooks of Henry James / Ed. with introd. and notes by L. Edel and L.H. Powers. – New York: Oxford University Press, 1987. P. 217-218.

¹¹⁷ James H. Henry James: Interviews and Recollections. P. 40.

художественной прозы; из рассуждений Цабеля в уже цитировавшейся нами книге с показательным названием «Искусство путешествовать» (*The Art of Travel*) даже проводятся параллели между конкретными фрагментами травелогов и собственно романами и рассказами Джеймса. Вероятно, точнее всего сформулировал свой подход к травелогам сам Джеймс в предисловии к очерку Венеции («Итальянские часы»):

Какое наслаждение – написать слово! И все же я не уверен, что добавляя к нему другие слова, вы не проявляете некоторое нахальство. Тысячи и тысячи раз рисовали и описывали Венецию; во всем мире нет города, где было бы проще побывать, его при этом не посещая. <...> Все знают, что сказать о Венеции больше решительно нечего. Там бывали все, и каждый привез с собой целую коллекцию фотокарточек. В Большом канале загадочности столько же, сколько в соседней улице, а звучание имени Сан Марко столь же привычно слуху, как звонок почтальона в дверь. И все же нет запрета на то, чтобы говорить о хорошо знакомом; и я полагаю, что для истинного поклонника Венеции Венеция никогда не тускнеет. Конечно, о ней не скажешь ничего нового, но ведь старое всегда лучше новизны. Я бы сказал, что поистине печальным будет тот день, когда сказать что-то новое и в самом деле придется. Я пишу эти строки, полностью сознавая, что мне нечего вам сообщить. Я не претендую на то, чтобы просветить читателя – лишь на то, чтобы пробудить его память; и еще я думаю, что любой писатель, влюбленный в собственную тему, - уже оправдан¹¹⁸.

Такой предстает у Джеймса Европа, но Америка для него – особая территория. После эмиграции он побывал в Америке четырежды: в 1881 году, в 1882 году после смерти отца, в 1903-1904 гг. с циклом лекций и, наконец, в 1910-1911 гг. В третий свой приезд он побывал в Калифорнии, Флориде, Чикаго, Филадельфии и других городах. Его помощница Элизабет Джордан, которая занималась обустройством его лекционного тура, оставила воспоминания об этом визите и писала так: «Он нашел ее (Америку – прим. Д.К.) чрезвычайно изменившейся, и многие из этих перемен глубоко огорчили его, поскольку оправдали худшие из его предчувствий»¹¹⁹. Фрагмент из «Американских зарисовок», в котором Джеймс сравнивает

¹¹⁸ James H. *Italian Hours*. – Boston: Houghton, Mifflin and Co; London: William Heinemann, 1909. P. 3.

¹¹⁹ James H. *Henry James: Interviews and Recollections*. P. 41.

новоанглийский Конкорд, центр Американского Ренессанса, с другими американскими городами, также красноречиво свидетельствует о том, какое тягостное впечатление произвела промышленная Америка нового времени на писателя: «Страна эта колоссальна, а ты (Джеймс обращается к Конкорду – прим. Д.К.) – лишь крохотное пятнышко на подоле ее одеяния, и все же нигде здесь нет ничего подобного тебе, ибо на тебя мы можем взирать с благодушием, невооруженным глазом, а между тем по карте, как жирные пятна, расползаются огромные ошестинившиеся области, так называемые центры населенности, которые никогда в жизни не понравятся нашим глазам, никогда не смогут приковать к себе наше зрение: взгляд скользит мимо, притворяясь, что этих пятен попросту нет»¹²⁰.

Подобная избирательность зрения, как мы уже не раз отмечали, вообще была свойственна Джеймсу. Джордан описывает несколько забавных эпизодов взаимодействия писателя и американской жизни, явно иронизируя над его европейской утонченностью:

От случая к случаю он делился своими первыми, весьма яркими, впечатлениями от американской жизни. Ему претил американский шум и гам, то, что у людей язык без костей и дурные манеры, то, что они не скупаются на грубости. Чтобы привести пример подобной грубости, он рассказывал мне историю про молодого кондуктора; эта история случилась с ним самим. Шел этот кондуктор мимо вагона, в котором ехал мистер Джеймс. Писатель остановил юношу и поинтересовался, в котором часу поезд прибудет в такой-то город. Кондуктор посмотрел на него и, не произнеся ни слова в ответ, отправился своей дорогой.

– Таково было завершение, - с грустью говорил мистер Джеймс. – Этой беседы, которая, как я всей душой надеялся, вопреки своей краткости могла бы оказаться столь приятной¹²¹.

Или другой пример: «Яростнее всего мистер Джеймс возражал против, как он выражался в минуты особенно пылкие, “этих гнусных орхидей”. Казалось, он всеми силами удерживался от проклятий, которые так и рвались

¹²⁰ James H. American Scene. – London: Chapman and Hall, 1907. P. 257.

¹²¹ James H. Henry James: Interviews and Recollections. P. 42.

с его губ, и все же он давал понять совершенно ясно: “эти гнусные орхидеи”, без которых не обходился ни один обед, ни один ужин, куда его приглашали в гости, – для него подлинное воплощение американской склонности к дешевому, вульгарному пусканию пыли в глаза»¹²².

Именно здесь, в Америке начала XX века, как нигде проявилась устремленность Джеймса в прошлое. Именно поэтому Конкорд и Бостон с их неизменным первопоселенческим обликом трогают его более всего; для него это места Готорна и Эмерсона, которых он так высоко ставил и считал своими учителями в литературе. Из рассуждений о последних видно, что именно казалось Джеймсу столь важным в деятельности американских романтиков: то, что они сумели пересадить в почву Америки семена европейской мысли.

Столь высокая планка, разумеется, делала Джеймса глухим к новым веяниям в американской литературе; в Америке его интересовало лишь то, долго ли осталось ей пребывать в неиспорченности. С этим связан еще один эпизод, пересказанный Элизабет Джордан, - на этот раз об общении Джеймса и современных ему американских писателей:

Он в свою очередь тоже немало разочаровал американцев. Он прекрасно и с большой любовью помнил старую литературную гвардию Бостона и Нью-Йорка, но не имел ни малейшего представления о тех, кто пришел в литературу позже, - и не испытывал к этому ровным счетом никакого интереса. Я устроила для него прием, на который пригласила тех его старых друзей, с которыми сумела связаться, и компанию подающих надежды молодых писателей. Имена этих последних ни о чем ему не говорили, и сердечные рукопожатия мистера Джеймса не могли изгладить впечатления от его весьма красноречивой рассеянной улыбки. Многих писателей это возмущало, что старых, что молодых. Представляя их нашему мэтру, я произносила каждое имя настолько отчетливо, что это почти резало слух – и все без толку. Хэмлин Гарленд был до того задет невозмутимым спокойствием, которым было встречено его имя, что прямо-таки вспыхнул:

– Мистер Джеймс, я Хэмлин Гарленд!

– А-а-а, - отвечал мистер Джеймс с ангельской улыбкой, пожимая ему руку во второй раз.

Ходила еще история, будто когда мистеру Джеймсу очень пышно представили мисс Уилкинс: - мол, мисс Мэри Э. Уилкинс, писательница, - тот

¹²² Ibid.

улыбнулся и ласково сказал: «А, так вы пописываете?» Я этому никогда не верила¹²³.

Если посещение Конкорда для Джеймса – мероприятие в целом туристического характера, то визит в Салем – это путешествие очень интимное, имеющее автобиографическое значение, практически возвращение в детство. В очерке Салема Джеймс в импрессионистическом ключе фиксирует свое отношение к Готорну и его «Дому о семи фронтонах», изо всех сил стараясь передать в тексте охватывающие его противоречивые чувства. Неслучайно весь этот очерк начинается с упоминания о странной особенности собственного характера: «Ни разу не обманывало меня правило, в согласии с которым я, куда-нибудь направляясь и будучи при этом несколько взвинчен, обращаюсь к кому-нибудь с вопросом и делаю это неизменно так, как будто я какой-то невыносимый иностранец. Ни разу не было такого, чтобы я заговорил с каким-нибудь горожанином, идя на все риски, которые таит в себе общение с туземным духом, и при этом не потерпел полный крах»¹²⁴. Обратившись к местному юноше с вопросом, Джеймс неприятно удивлен тем, с какой неприязнью тот ему отвечает; ему не нравится то, что с таким отношением он сталкивается именно здесь, в месте, которое для него так важно. Все, что Джеймс видит в Салеме, он воспринимает исключительно сквозь призму готорновских романов: «...наконец осознание умирания рыбацкого промысла глянуло на меня, поверх поросшего травой оврага, из пустых окон старой таможни из вступления к “Алой букве”. <...> В тот раз, глядя из окна обратного поезда, я больше ничего не мог увидеть, но мелькнувшие передо мной образы не забылись; причудливая фантазия подсказывает, что они будто бы были завернуты в клочок того самого вышитого полотна, которое раскрывают перед нами восхитительные страницы готорновского вступления – страницы,

¹²³ James H. Henry James: Interviews and Recollections. P. 43.

¹²⁴ James H. American Scene. P. 265.

на которых слова столь же чудесно точны, как шелковые золотые стежки под иглой бедной Эстер Принн»¹²⁵.

Джеймс, в Европе освоившийся со всевозможными памятниками культуры и за них ее полюбивший, у себя на родине начинает «творить» подобные памятники самостоятельно. С готовностью и радостью обращаясь для этого к историческим местам Америки, он сравнивает их с европейскими – и в этом сравнении Америка обретает для него ценность: «Казалось бы, Старая Усадьба, возле которой мы недавно останавливались и о несколько акров земли которой трется по-кошачьи неторопливая река, должна была бы потрясать смущенным отсутствием тех самых мхов, которые развесила на ней легкая рука Готорна, и все-таки она стоит за своими воротами, подобная всем на свете сморщившимся памятникам старины»¹²⁶.

Впрочем, не следует забывать о том, что для Джеймса вопрос о соотношении американского и европейского на самом деле не повод поупражняться в красноречии, а чрезвычайно острая и жизнеобразующая проблема. Как и большинство исследователей Генри Джеймса, мы все это время говорили о нем как о писателе, устремленном в прошлое, европоцентристе, идеалисте. А между тем Блэкмур охарактеризовал его так: «Он был неисправимо современен». С чем связана такая оценка? Мы полагаем, прежде всего – с тем, что Джеймс «принял на себя» один из центральных вопросов своей эпохи и своей нации и сделал его своей главной темой. Таким образом, именно Генри Джеймс с его «космополитизмом» положил начало тому, что **жанр травелога стал главным пространством для дискуссии об американском национальном характере и превратился в пространство самоанализа и свободного потока ассоциаций.** Именно эти главные изменения впоследствии развили писатели нового поколения.

¹²⁵ Ibid. P. 266.

¹²⁶ Ibid. P. 263.

Глава III

Теодор Драйзер: путешествие как самопознание

Если Генри Джеймс интересен нам в первую очередь как писатель рубежного поколения, в целом унаследовавший от XIX века представления о взаимоотношениях Америки и Европы и поверявший эти представления новой действительностью, то Драйзер для нас – первый представитель новой американской литературы, взглянувший на Старый и Новый Свет с полным осознанием перераспределения их культурных ролей в мире. Мы увидим, что в его травелогах выходит на первый план одна из основных новых особенностей жанра – максимальная исповедальность, регулярное сближение лирической тональности с публицистической, а также способность сближаться с всевозможными другими жанрами, осознанная и используемая уже как прием.

Уже будучи признанным писателем, Драйзер создал три больших книги о своих путешествиях. Это, в порядке написания, «Путешественник в сорок лет» (1913), «Каникулы индианца» (1916) и «Драйзер смотрит на Россию» (1928). Они посвящены, соответственно, трем путешествиям – в Европу, по родному штату и в СССР. Таковы три «мира», в которых довелось побывать Теодору Драйзеру: европейский, американский и советский. Но исчерпывается ли этими «мирами» исследование, которому Драйзер посвятил себя как писатель, путешественник и публицист?

Нам представляется, что каждая из этих книг может быть рассмотрена не только как собственно травелог, но и как составная часть автобиографической хроники – жанр, которому Драйзер также отводил немалое место в своем творчестве: помимо травелогов, писатель выпустил также автобиографию «Книга о самом себе» (“A Book about Myself”, 1922; в 1931 году переиздавалась под заголовком “Newspaper Days” («Дни газетчика»)); русский перевод был опубликован в журнале «Интернациональная литература» в 1935 году), автобиографию “Dawn”

(«Заря»; в 1965 году на русском языке выходили отрывки в переводе Б.А. Гиленсона) и автобиографический любовный роман «Это безумие» (“This Madness”, 1929; на русский язык не переводился). Путешествия оказывались для Драйзера не только источником впечатлений и знаний о внешнем мире, но и побудительным «толчком» для конструирования личностной идентичности, тесно связанной с его мироощущением как писателя и американца. Каждое из путешествий Драйзера в литературной обработке самого писателя становится этапом в его духовной жизни; потому очень важным в травелогах является образ самого автора.

Путевые книги Драйзера – писателя, чрезвычайно много размышлявшего о специфике исторической роли США и об их судьбе – дают богатый материал для анализа путей и способов конструирования личной и социокультурной идентичности. Примечательно, что и порядок его поездок соответствовал логике движения «от старого к новому» - сначала он повидал Старый Свет, потом «постаревший» Новый (так иронизировал над Америкой XX века Лев Троцкий), - и, наконец, подлинный «Новый Свет» XX века – СССР.

Обращение к документальному жанру травелога обладало для Драйзера биографической значимостью еще и в силу изначального тяготения Драйзера к документалистике и жанрам художественно-документальным. Известно, что Драйзер начинал публиковаться как репортер и в этом качестве добился известности и успеха, а самое главное – получил возможность изучить самые разные стороны жизни американского общества. Потом художественное творчество на некоторое время оттеснило документальные жанры на второй план, и книга о путешествии в Европу в 1911-1912 гг. стала первым крупным документальным произведением Драйзера за более чем 10 лет. Она открывается таким пассажем: «Мне только-только стукнуло сорок. В жизни мне довелось кое-что повидать. Я был репортером, был редактором, подвизался в журналах, сочинительствовал, а еще раньше выступал в роли всевозможных клерков с туманными обязанностями – все это понадобилось,

чтобы в конце концов я понял, чем мог бы заняться на самом деле. Одиннадцать лет назад я написал свой первый роман»¹²⁷.

Из этого отрывка видно, что Драйзер воспринимает свой возраст как некоторый жизненный рубеж, и путешествие в Европу, конечно, становится здесь дополнительной вехой – сорокалетний Драйзер вступает в новый период своей жизни. Показательно, что в связи с этим он возвращается к документалистике и как бы обретает заново свой прежний голос, с которым и вошел в литературу – голос репортера, фиксирующего и толкующего факты действительной жизни. Создание травелога о Европе – в первую очередь попытка с позиций обретенного жизненного и писательского опыта разобраться в себе и судьбе своей страны. Логичным продолжением такого путешествия становится поездка в родную Индиану, повествование о которой наполнено воспоминаниями о детстве и юности. Не менее личным, как мы покажем ниже, было отношение Драйзера к путешествию в Советский Союз.

В сознании чужеземцев любая страна бытует как некоторый образ, набор стереотипов. Путешествие означает взаимодействие не только с самой страной, какая она есть на самом деле, но и с условной реальностью собственных ожиданий, сформированных этими стереотипами. Для Драйзера как для писателя, всегда живо интересовавшегося обществом и социальными процессами, разделение стереотипа и сложной, многомерной реальности, за которым следует создание уже собственной версии этой реальности, воплощенной в травелоге, определяют содержание и смысл этого жанра.

Одним из следствий подобного сложного соотношения документального и фикционального в травелоге является то, что рассказывающий о путешествии превращается в его героя. Таким героем, наполовину автобиографическим, наполовину литературным, становится в собственных травелогах и Драйзер.

¹²⁷ Dreiser T. A Traveler at Forty. – New York: Cosimo Classics, 2005. P. 5.

Например, во время путешествия по Европе Драйзер вполне отчетливо осознает, что не только его собственной судьбой – самой литературной традицией «гранд-тура» обусловлено ощущение «жизненного рубежа» и «поиска себя». Он посмеивается над своим возрастом, нетипичным для героя романа воспитания, но и подчеркивает, что в сорок лет восприятие может быть ничуть не менее и даже более острым, чем в двадцать: «Иногда жизнь бывает удивительно щедрa. Она входит к тебе и кричит: “Эй! Я хочу, чтобы ты кое-что сделал”, а потом принимается разбираться с твоими проблемами и в конце концов решает их за тебя. Я так забавно себя чувствовал в то время – будто бы я стою на пороге великих перемен. Когда тебе исполняется сорок и ты вот-вот отправишься в первое в жизни трансатлантическое путешествие – это не шутки; это может стать даже более знаменательным событием, чем если бы тебе было двадцать»¹²⁸.

Драйзер отправляется в европейское путешествие в ноябре 1911 г. и возвращается в апреле 1912-го. Такую поездку ему посоветовал английский друг и издатель Грант Ричардс, которому посвящена книга и который фигурирует на ее страницах под именем Barfleur, – Ричардс как раз собирался в Англию и предложил Драйзеру составить ему компанию. Драйзер в это время занимался исследованием жизни Чарльза Йеркса – американского финансиста, ставшего прототипом главного героя «Трилогии желаний». В последние годы своей жизни Йеркс принимал участие в развитии системы подземных железных дорог в Лондоне, и Драйзер надеялся именно там побольше узнать об этом периоде его биографии. Ричардс помог Драйзеру заключить с издательством “Harper and Brothers”, в 1911 году опубликовавшим в Лондоне и Нью-Йорке роман «Дженни Герхардт», договор на аванс за следующий роман «Финансист», а с издательским домом “The Century Company” – на публикацию нескольких очерков о европейской поездке. За пять месяцев Драйзер побывал в Англии, Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Голландии и Бельгии, и уже в январе 1912-го у него

¹²⁸ Ibid.

была готова подборка очерков о путешествии. Отдельной книгой они выходят через два года после начала самого путешествия: в ноябре 1913-го. Такой длительный перерыв может быть объяснен тем, что Драйзер был поглощен окончанием романа «Финансист» и его публикацией, а также работой над следующей частью «Трилогии желаний», которую начал сразу после выхода первой¹²⁹.

Помимо интересов культурологических и писательских, Драйзером в этой поездке движет стремление предельно личное: отыскать в Германии город Майен, откуда был родом его отец. В Майене Драйзер находит «не тронутую прогрессом», «патриархальную» Германию и, сознавая типичность этого городка, все же позволяет себе увидеть в каждой его детали особое, символическое очарование. Для него это город прошлого – и поэтому он не раз с облегчением упоминает о том, что его не коснулась современность. Центральным эпизодом посещения Майена становится прогулка по кладбищу (вполне в рамках литературной традиции предромантизма), завершающаяся рассуждением о жизни и смерти.

При этом взаимосвязи между Америкой и Германией интересуют Драйзера и в общем – хоть, как он признавался в интервью М. Мозес¹³⁰, ему трудно делать какие-либо выводы о стране, которая для него в первую очередь является родиной его предков. Сопоставление американского и немецкого в самом дневнике имеет характер не только автобиографический, но и обобщенный: «Сегодня говорят, что американцы походят куда более на немцев, нежели на англичан, но из того, какие типы доводилось мне видеть в Англии, я заключил, что многообразием своих характеров американцы обязаны именно этой земле», «У нас нет даже близко ничего общего с

¹²⁹ A Theodore Dreiser Encyclopedia / Ed. by K. Newlin. – Westport, CT: Greenwood Press, 2003. P. 377.

¹³⁰ Dreiser T. Interviews / Ed. D. Pizer, F.E. Rusch. – Chicago: University of Illinois Press, 2004. P. 24-29.

немцами, от которых, казалось бы, нам следовало бы почерпнуть все главные черты нашей национальной идентичности»¹³¹.

Рассуждения о национальной идентичности американцев в европейском травелоге занимают центральное место: роль, которую берет на себя Драйзер, – не просто типичный американец, но носитель и выразитель самого американского духа; человек, который едет в Старый Свет, горячо любя США – в отличие, например, от Генри Миллера или представителей «потерянного поколения», многие из которых десятилетием позже покидали «бездушную» «материалистическую» Америку с облегчением.

Именно здесь наметился образ Драйзера как «литературного пророка Америки», который потом начал укрепляться и за счет того, как этого писателя воспринимали другие. Уже в середине 1910-х гг. некоторые журналисты, бравшие у Драйзера интервью (например, Монтроуз Мозес в интервью для “New York Times Review of Books” от 23 июня 1912 года или репортер газеты “Philadelphia Public Ledger”, опубликовавший интервью с Драйзером в выпуске от 26 апреля 1914 года¹³²), и критики, писавшие о нем (например, Шервуд Андерсон в “The Little Review”: «Драйзер стар - он очень, очень стар. Понятия не имею, сколько он уже прожил - тридцать лет, пятьдесят лет - но он ужасно стар. <...> Тяжел, тяжел шаг Теодора. Чего проще: разворошить его книжки, растащить на кусочки - и позубоскалить над ним. Там, там, там! - вот он идет, Драйзер, грузный и древний!»¹³³), – все они стремились создать у читателя впечатление, что речь идет о человеке необыкновенном; человеке, которого всегда распознаешь в толпе. Позже, описывая путешествие Драйзера по СССР, Рут Кеннелл прямо называет его «пророком»¹³⁴. Забегая вперед, отметим: то, как вдумчиво и старательно

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid. P. 45-46.

¹³³ Anderson Sh. Dreiser // The Little Review. 1916. Vol. 3. No. 2. P. 48.

¹³⁴ Панов С.И., Панова О.Ю. Послесловие к предисловию: материалы к истории (не)издания Т. Драйзера в СССР // Новые российские гуманитарные исследования. 2015. №10. URL: <http://www.nrgumis.ru/articles/1957/>.

изучал Драйзер советскую действительность, явилось следствием не только его любознательности, но и уверенности в своей особой миссии. «Ни в какой санаторий я не поеду, а поеду в Россию. Может, здоровье мое и плохое, но, знаете, я смерти не боюсь»¹³⁵, – патетически отвечает он на увещания врачей, запрещающих ему ехать в Россию зимой.

В 1912-м Драйзеру еще только предстоит написать «Американскую трагедию», прославившую его на весь мир, и он много размышляет о том, в чем состоит уникальность его писательского голоса, какую тематику он призван осветить в литературе. В Европе он находит те же социальные проблемы, с которыми сталкивался в Америке и которые считал своим долгом выводить в собственных сочинениях. Он вспоминает любимых европейских писателей – Джордж Элиот, Теккерея, Флобера, – пытаясь определить, продолжателем чьей линии в литературе его можно было бы считать, и в связи с этим упоминает о Диккенсе и о Гете¹³⁶. Вполне в традиции этих писателей выполнен очерк о лондонской проститутке, который может восприниматься как отдельный рассказ и построен как своего рода психологический эксперимент в сочетании с интервью. Здесь Драйзер совмещает травелог как с традиционным рассказом (и прямо говорит, в том числе своей героине, что превратит ее историю в книжный сюжет), так и с журналистским расследованием.

Серьезность, с какой он относится к своей роли обличителя социальной несправедливости, Рут Кеннелл, с которой он познакомился спустя 15 лет, подвергла едкому сомнению: «Его философия – это философия интеллектуального аристократа. Воображая себя сверхчеловеком, он с безопасной высоты спокойно взирает на жалкую жизнь масс. Приходится констатировать, что хотя Драйзер вышел из глубин беднейшего населения и карабкался кверху весьма медленно, он смотрел на трагедии оставленных

¹³⁵ Драйзер Т. Русский дневник / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2018. С. 17.

¹³⁶ Dreiser T. A Traveler at Forty. P. 42.

внизу все более и более спокойным оком, испытывая, быть может, чисто отвлеченную жалость к их несчастному положению»¹³⁷.

И действительно: больше всего, как следует и из книги, и из интервью, Драйзеру понравился в Европе дух того самого «неисправимого индивидуализма», своей склонности к которому писатель никогда и не пытался скрывать. Этот внутренний диалог между такими, на первый взгляд, противоречащими одна другой ценностями, как индивидуализм и желание общечеловеческого блага и справедливости, как видно, был одной из важнейших составляющих его представления о самом себе.

Фрагменты, в которых Драйзер рассуждает об Америке или о себе, очень красноречивы и эмоциональны. В остальном же Драйзер – автор европейского травелога – пишет витиевато и тяжеловесно, полагает обязательным делать подробные зарисовки об общепринятых «туристических объектах». Европа вызывает у Драйзера интерес скорее интеллектуальный; путешествуя по городам Англии, Франции, Италии, он будто бы перебирает и отстраненно разглядывает открытки. Показательно его мнение о знаменитой римской базилике Санта-Мария Маджоре: «Какой-то гоголь-моголь из истории, роскоши, самообмана, всего, что они там не поделили, и ни про религию, ни про людей ничего не понятно. <...> Просто затейливая коробка с украшениями, ничего больше»¹³⁸. Строгая последовательность повествования усиливает это чувство: перед нами еще не тот Драйзер, которого Рут Кеннелл упрекала за «бессвязность» его книг о путешествиях¹³⁹.

При этом Г.Л. Менкен отзывался о европейском травелоге Драйзера так: «Книга не имеет ничего общего с тем, к чему мы привыкли; она полна литературной новизны, проливает свет на многие неясности, - словом, ее

¹³⁷ Цит. по: Панов С.И., Панова О.Ю. Послесловие к предисловию...

¹³⁸ Dreiser T. A Traveler at Forty. P. 338. У Донны Кинлоу в сноске 1 (р. 2) приводится показательное сравнение этого фрагмента с описанием той же базилики, восторженным и исполненным самых возвышенных эпитетов, в «Итальянских часах» Генри Джеймса.

¹³⁹ Панов С.И., Панова О.Ю. Послесловие к предисловию...

даже можно было бы считать еретической. Она совсем не похожа на обычные путевые заметки: это не столько описание мест и людей, сколько рассказ о том, какое влияние встреча с ними оказывает на человека необыкновенного, отчасти даже чудаковатого. Тот, кому романы Драйзера понравились, прочтет ее с удовольствием. Эта книга, в каком-то смысле, - вольный комментарий к его романам, эдакий “эпилог в миру”. Она помогает составить представление о философии Драйзера, о его взглядах на жизнь»¹⁴⁰.

В этой оценке самым важным представляется нам указание Менкена на некоторые чрезвычайно значимые, «еретического» масштаба изменения, которые Драйзер привнес в травелог; из комментария ясно, что под «привычными» путевыми заметками автор понимает «описание мест и людей», между тем как Драйзер в центр повествования о путешествии помещает того, кто о нем рассказывает, и его реакции на увиденное. По всей видимости, такая акцентировка поистине произвела на Менкена впечатление поворотной – каковой она, в сущности, и была, явившись одним из самых ярких индикаторов свершающейся трансформации литературы о путешествиях. Следовательно, эта трансформация не только имела место, но и осознавалась современниками, - во всяком случае, теми, кто, подобно Менкену, глубоко понимал литературный процесс, - обращала на себя внимание, производила впечатление важного явления. Менкен прозорливо указывает на то, что в случае, когда речь идет о путевом очерке человека выдающегося, например писателя, подобный текст становится своего рода автокомментарием к основным произведениям своего автора, некой параллельной плоскостью его творчества, изучение которой может пролить свет на собственно творчество. Одним словом, Менкен в своем отзыве предвосхищает один из основных методов нашего исследования.

В августе 1915 г. друг Драйзера, художник Франклин Бут предлагает ему отправиться в автомобильную поездку по Индиане и окрестным штатам,

¹⁴⁰ Dreiser T. Complete Works of Theodore Dreiser. – Hastings: Delphi Classics, 2017. P. 10279.

и Драйзер решает посетить города своей юности: Терре Хот, Винсеннес, Салливан, Варшаву, Блумингтон, - и написать об этом книгу. Как он сам признается на первых же страницах своего травелога, идея такой поездки и такой книги давно не давала ему покоя¹⁴¹. Дуглас Бринкли, автор вступления к изданию «Каникул индианца» 1998 года, полагает, что этой книгой, сам того не подозревая, Драйзер повлиял на формирование и появление такого чисто американского жанра, как «литература автострады» (the literature of highway), или «книга дороги» (road book), ставшего потом очень распространенным не столько даже в литературе, сколько в кино (роуд-муви)¹⁴².

Если в европейском травелоге Драйзер отправляется на поиски исторической родины в Германию – и этому уделена лишь малая часть текста – то в «Каникулах индианца» тема исследования истоков собственной личности является основной. Возвращение в городок детства (в первой книге – отцовского, во второй – своего собственного) является одним из кульминационных эпизодов обеих книг. Посещение мест, практически не изменившихся за тридцать лет, заставляет Драйзера дать оценку тому, как он сам прожил эти годы, и постоянные переключения между реальным временем путешествия и временем воспоминаний приводят к тому, что травелог утрачивает линейность и превращается в поток ассоциаций и даже фантазий. Такая «импрессионистичность» сообщает повествованию особый лирический, душевный тон и приближает его, при всей остроте затронутых в нем социальных вопросов, к литературной традиции «сентиментального путешествия».

Важно понимать, что поездка в Индиану и написание травелога пришлось на самый разгар литературной борьбы, разразившейся вокруг романа «Гений», также наполовину автобиографического. Важной ее темой является становление художника. Опять-таки перед нами роман воспитания

¹⁴¹ Dreiser T. A Hoosier Holiday. – Bloomington, IN: Indiana University Press, 1997. P. 21.

¹⁴² Ibid. P. 3.

XX века - «Американская трагедия», кстати говоря, тоже окажется чрезвычайно близка к этому жанру. Превратности успеха – одна из постоянных драйзеровских тем, что, безусловно, связано с его биографией. Неудивительно, что, путешествуя по местам своего детства, он так много размышляет о том, что определило специфику его судьбы¹⁴³. Написав уже множество художественных произведений на эту тему, он может оценить как литературного героя и самое себя.

При этом такое путешествие, само собой, - это и продолжение «поиска Америки». Во время европейского путешествия, осознав себя как подлинного американца и писателя, которому надлежит выразить в своих произведениях американский дух, Драйзер продолжает рассуждать об американском национальном характере и уже со знанием дела противопоставляет друг другу две стороны света. Энергичность, прямоту, зачастую примитивность американца Драйзер напрямую ассоциирует с некоторой стихийной силой, бескомпромиссной логикой роста, свойственной самой природе. Главная особенность американского характера – то, что он пребывает в состоянии формирования и потому не считается ни с какими правилами, его не трогают ничтожные условности, которыми так увлечено европейское общество. Эта созидательная энергия, которую не способны задуть ни социальная несправедливость, ни бедность, ни невежество (наличие которых в несовершенном американском обществе Драйзер не только не отрицает, но постоянно подчеркивает), это умение и желание вступать в борьбу пленяют его, и именно их он делает ведущими характеристиками большинства своих персонажей. Он признает, что основные американские ценности, главным образом идея свободы личности и права каждого на жизненные блага и успех, - порождение европейского развития мысли, но полагает, что практическим продолжением этих идей является именно американская модель человеческой судьбы.

¹⁴³ Ibid. P. 230-231.

Воскликая: «Мои дорогие, неотесанные, упертые мечтатели-американцы! Как я люблю их! И необъятные просторы от Атлантики до Тихого океана, собирающие их в тесный круг, и все их надежды! Как они поднимаются по утрам, как спешат, как бегут за солнцем!»¹⁴⁴, Драйзер принимается воспевать родные края, - как и многие его современники, стремившиеся в духе традиций регионализма и нативизма по-новому или даже впервые воспеть регионы и даже отдельные штаты и города (Средний Запад - У. Кэсер (Небраска, Канзас), Х. Гарленд, Ш. Андерсон (Огайо, Висконсин, Миннесота); Запад - Ф. Норрис (Калифорния); Юг - У. Фолкнер, и т.д.) во всем их своеобразии и в то же время как часть единой, ни на какую другую не похожей страны. Сравнивая Америку с «тощим юношей», которому еще предстоит многого добиться¹⁴⁵, или пылко рассуждая о том, что американцы – народ, не знавший рабства¹⁴⁶, Драйзер использует известные еще со времен Мелвилла и Уитмена литературные клише, которые он иллюстрирует очерками вполне конкретных городов и местностей вполне конкретной исторической эпохи. Таким образом, он «достраивает» уже существующий литературный образ своей родины, а не создает его заново.

«Будущее Америки», о котором рассуждает Драйзер, вот-вот наступит: Первая мировая война меняет соотношение политических сил в мире, и Америка действительно начинает постепенно занимать главенствующее положение в экономике и политике. Драйзеру удастся запечатлеть Америку буквально в последние годы ее старой жизни.

Дневник пребывания в СССР, написанный более 10 лет спустя, отличается от первых двух тревелогов куда более необычной историей создания. В октябре 1927 г. Драйзер получает приглашение посетить Москву в дни празднования 10-летия Великой Октябрьской революции. Драйзер, вопреки тому, что именно в это время ухудшается состояние его здоровья (он

¹⁴⁴ Ibid. P. 96.

¹⁴⁵ Ibid. P. 61.

¹⁴⁶ Dreiser T. A Traveler at Forty. P. 17.

страдал бронхитом), принимает приглашение, но не довольствуется официальными мероприятиями и визитами, а настаивает на том, чтобы побывать помимо Москвы и Ленинграда в других городах, в разных частях России и познакомиться с жизнью советского общества поближе¹⁴⁷. В итоге Драйзер провел в СССР около двух с половиной месяцев (4 ноября – 13 февраля 1927-1928 гг.) и посетил столицы, Нижний Новгород, города центральной и южной Украины, Кавказ. Особым пунктом путешествия была поездка в Ясную Поляну, которая состоялась 27 ноября и произвела на писателя большое впечатление (Драйзер в один год со своей книгой о России опубликовал статью к 100-летию Толстого). При этом Драйзер побывал в России на исходе 20-х годов, накануне «года великого перелома» (1929), после которого резко переменилась как экономическая, так и идеологическая политика СССР. Таким образом, писателю опять-таки удалось уловить в своем травелоге эпоху, которая буквально через пару лет отошла в прошлое.

В путешествии по СССР Драйзера сопровождала его соотечественница, с начала 1920-х жившая в России, известная журналистка и активистка, впоследствии детская писательница Рут Кеннелл, которая помогала Драйзеру делать записи о поездке, фактически вела дневник за него. Кеннелл почти сразу стала его любовницей. Совмещать романтические отношения с деловыми было весьма характерно для Драйзера¹⁴⁸. Каждый день Драйзер просматривал написанное ей, редактировал, дополнял вставками из собственных записных книжек. При этом Кеннелл вела еще и особый, секретный дневник, который впоследствии помог ей написать книгу «Теодор Драйзер и Советский Союз» (1969).

Дневник, который Рут Кеннелл печатала для Драйзера на машинке, вместе с его собственными к нему дополнениями был выпущен издательством Пенсильванского университета (1996). В этом издании текст

¹⁴⁷ Подробнее об этом периоде его жизни см. в: Swanberg W.A. Dreiser. – New York: Scribner, 1965. 614 p.

¹⁴⁸ Pizer D. Dreiser's Relationships with Women // American Literary Realism. 2017. Vol. 50. No. 1. P. 67.

Драйзера передан курсивом, а текст Кеннелл – прямым шрифтом, что дает возможность изучить, как их метод работы функционировал на практике. Несмотря на то, что Кеннелл вела записи от лица Драйзера, увидеть, насколько по-разному они описывали, а зачастую и оценивали одни и те же события, не составляет труда.

Например, о посещении московских церквей и виде, открывающемся с Большого Каменного моста на Кремль, Кеннелл оставляет довольно краткую заметку: «На мосту через Москву-реку мы остановились, чтобы полюбоваться прекрасным видом на Кремль. Перейдя мост, мы <...> подошли к величественному собору с пятью огромными золотыми куполами — храму Христа Спасителя. <...> Этот великолепный собор был построен всего около 25 лет назад и сегодня является самой богатой из московских церквей»¹⁴⁹. Культурологический акцент здесь понятен: задача Кеннелл – сохранить в первую очередь как можно больше фактов и деталей, которые сам Драйзер просто не успевал бы фиксировать. Самого же писателя этот эпизод побуждает отдаться потоку уже накопившихся московских впечатлений, и в одном абзаце умещаются у него и опера «Борис Годунов» (которую они с Кеннелл называют «оперой о царе Теодоре»), и исторические сведения об Иване Грозном, и впечатления от русского духовенства, и восхищение колокольнями и куполами, количество которых в Москве потрясло писателя... На подобные пассажи его вдохновляют не только красивые виды, но и сущие мелочи, например наблюдения за галками¹⁵⁰.

Тон вставок Кеннелл в значительной степени обусловлен ее личным отношением к советскому эксперименту, за успех которого она болела всей душой и которому посвятила значительную часть своей жизни (подробнее о жизни Кеннелл в Советском Союзе можно прочесть в книге Джулии Микенберг «Американки в красной России»). Драйзер же изначально был настроен по отношению к СССР скептически - на это указывает как его

¹⁴⁹ Драйзер Т. Русский дневник. С. 52.

¹⁵⁰ Драйзер Т. Жизнь, искусство и Америка / Пер. с англ. – М.: Радуга, 1988. С. 259.

стремление противопоставить советской идее коллективизма собственный индивидуализм («Все знают, что я неисправимый индивидуалист – а ведь это претит коммунистической идее как таковой, - потому-то Советское правительство и предложило мне посетить Россию и поглядеть на тамошнюю жизнь»¹⁵¹), так и рассказ критика и литературного функционера С. Динамова, из которого следует, что американский писатель был убежден в намерении советских властей обмануть его и показать ему СССР исключительно в выгодном свете¹⁵². Во время путешествия по России Драйзер и Кеннелл много спорили, и судя по рецензии Кеннелл¹⁵³ на книгу «Драйзер смотрит на Россию», в которой она продолжает с ним полемизировать, их разногласия так и не были до конца разрешены. Это чувствуется и в некоторых фрагментах «Русского дневника», где две точки зрения на СССР, восхищенная и критическая, подспудно соперничают друг с другом: «...Номера здесь большие, светлые и чистые, кровати застелены чистыми бельем и одеялами и выглядят комфортно. <...> Здесь работает небольшая агрономическая выставка, читаются лекции, в большом зале демонстрируются кинокартины и даются представления, проводятся экскурсии в музеях и т. д. *Крестьянам – и это правильно – по прибытии предлагают принять ванну или посетить баню с парной. Если бы еще удалось убедить их делать то же самое каждый день...*»¹⁵⁴ (курсив мой – прим. Д.К.).

Итак, книга «Драйзер смотрит на Россию» появилась из материала весьма неоднородного и противоречивого. Очевидно, работая после возвращения домой с записями Кеннелл и своими собственными, писатель подумывал составить об СССР путевые мемуары, отличные по тону и отбору

¹⁵¹ Dreiser T. Dreiser Looks at Russia. – New York: Horace Liveright, 1928. P. 9.

¹⁵² Динамов С.С. Лекция по американской литературе, прочитанная в Институте Красной Профессуры 21.4.1936 г. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр.1043. Л. 21.

¹⁵³ Кенель Р. Драйзер о Советской России // Вестник иностранной литературы. 1929. № 1. С. 221.

¹⁵⁴ Драйзер Т. Русский дневник. С. 51.

материала от того, что получилось у него в «Драйзер смотрит на Россию», и предполагал создать нечто подобное предыдущим своим тревелогам. Томас П. Риджио, автор вступления к книге «Русский дневник», полагает, что писатель отказался от этой идеи, когда внимательно перечел записи Кеннелл и осознал, какого рода художественные задачи перед ним стоят. Риджио пишет об этом с сожалением: «Книга “Драйзер смотрит на Россию”, вероятно, стала бы гораздо лучше, если бы он следовал своему обычному способу построения повествования вокруг отдельных частей путевых дневников, которые он организовывал в хронологическом порядке и связывал между собой анекдотами и личными размышлениями»¹⁵⁵.

Действительно, «Драйзер смотрит на Россию» на предыдущие книги путешествий не похожа. Это книга социологическая, полная теоретических построений, - чуть ли не монография. У нее чрезвычайно выразительное оглавление: «Достижения постреволюционной России в политике и других областях», «Текущий экономический план Советского Союза», «Коммунизм: теория и практика», «Современное состояние крестьянского вопроса», «Русский рабочий: заводы и промышленность», «Женщины в современной России», «Религия в России», «Живопись, литература и музыка большевиков» (в двух частях) и т.д. Разумеется, именно такого очерка в первую очередь ждали от Драйзера по обе стороны океана. К «двум голосам» (самого Драйзера и Кеннелл) из «Русского дневника» присоединяется третий – голос Драйзера, который выступает в той самой роли «пророка», о которой мы упоминали выше. Он часто обращается к американскому читателю, «вовлекая» его в текст: «если бы вы увидели...», «вы бы могли подумать...», «может быть, у вас возникнет вопрос...» и т.д. При этом он постоянно подчеркивает, что высказывает именно свое, личное мнение: «я вас уверяю», «я гарантирую», «я убежден» и т.п. В книге практически ничего не говорится о мыслях и переживаниях Драйзера, не связанных с СССР, – ведь это работа не автобиографического порядка. Драйзер, въедливый и любознательный,

¹⁵⁵ Там же. С. 6.

изо всех сил старался изучить действительность и дать ей оценку, которой потом мог бы поделиться с соотечественниками – и эта фактографическая и психологическая работа нашла свое воплощение также и в многочисленных интервью, которые Драйзер с готовностью давал по возвращении на родину¹⁵⁶. Но, как указывает Рут Кеннелл¹⁵⁷, по книге «Драйзер смотрит на Россию» трудно составить представление о том, как держал себя и как чувствовал американский писатель в Советском Союзе.

Собирался Драйзер опубликовать «Русский дневник» или нет – в любом случае, книга, вышедшая в 1996 году под этим заглавием, дает возможность взглянуть на это путешествие с другой стороны. Драйзер здесь самоироничен, ворчлив, подчас даже равнодушен к происходящему вокруг. Здесь он часто рассуждает о собственном настроении, о своих взаимоотношениях с женщинами, о здоровье, о смерти, о работе, которая не касается путешествия, - и рассуждения эти нередко полны раздражения или горечи: «По дороге меня нагоняет тоска по родине. Я здесь — почти за 4000 миль от Нью-Йорка. Уже девять или десять дней, по крайней мере. И я заболел — может быть, серьезно. А вдруг — смертельно? А Хелен так далеко. И мне так плохо. Я чувствую себя совершенно несчастным и посылаю ей каблогранму из двадцати слов. О, если бы она была здесь. Несколько часов лежу в постели и чувствую себя сиротой — всеми отвергнутым, в утлой лодчонке»¹⁵⁸.

Он кажется себе стареющим: «Даже самому старому человеку нужно дать какое-то занятие — ему нельзя дать почувствовать, что у него осталось только одно: смотреть. Он (Мюллер) думает, что это потребует больше

¹⁵⁶ См. например: Dreiser Back from Russia// New York Herald Tribune, 22.2.1928, p. 6; Dreiser Home, Sees Soviet Aims Gaining// New York Times, 22.2.1928, p. 9; Dreiser Looks at the Russian Jews// Sulamiph Ish-Kishor for The Day (New York), 10.2.1929, p. 1; Dreiser Talks about Women and Russia// Vivian Richardson for Dallas Morning News, 18.5.1930, FeatureSection, p.2.

¹⁵⁷ Kennell R. Theodore Dreiser and the Soviet Union, 1927-1945: A First-Hand Chronicle. – New York: International Publishers, 1969. P. 5.

¹⁵⁸ Драйзер Т. Русский дневник. С. 32.

мужества, чем есть у большинства стариков. В конце концов я объявляю, что это идеальное состояние для меня»¹⁵⁹.

Он записывает свои сны, и показательны как содержание снов, так и сам факт, что они вообще были записаны: «Утром — дождь; ночью — холодно и сухо. Мой бронхит, кажется, немного ослабил свою хватку. Прошлой ночью мне снился странный сон. В последнее время я чувствую себя довольно плохо и вяло. Первые симптомы возраста, как я понимаю. Но во сне я был восхитительно энергичным и веселым — в прежних возрасте и силе. Казалось, я находился в закрытом дворе, где были тропинки и трава, и на одной из тропинок я танцевал — почти обнаженный — с бутылкой вина в руке и второй бутылкой, которую я держал высоко над головой. Я радостно прыгал туда и сюда, переходил из одной танцевальной позиции в другую. Но вскоре я увидел, что ко мне подходит — или просто идет по другой тропинке — пожилой человек в темной одежде, такой типаж консерватора или ученого. И вдруг я немного испугался, как будто он мог что-то со мной сделать. Почувствовав это, я также понял, что именно он может сделать и как. И в тот же миг я проснулся»¹⁶⁰.

Поездка в Советский Союз была для Драйзера не просто любопытным опытом: живой интерес к острым вопросам социальной и политической жизни нового общества, который он проявлял уже в первых своих газетных заметках; решительный отказ верить в то, что на земле возможна «вселенская панацея», которая сделала бы всех счастливыми, - все это превращало столкновение с советским экспериментом в проверку жизненной философии, сформировавшейся у Драйзера к 56 годам. Посещение Советского Союза в 1927-1928 гг. значительно повлияло на дальнейшую жизнь Драйзера, который как репортер и публицист принимал участие в поддержке

¹⁵⁹ Там же. С. 14.

¹⁶⁰ Там же. С. 103.

бастующих шахтеров в начале 1930-х годов, а в 1945 году даже вступил в Компартию США¹⁶¹.

Представляется очевидным, что с образом автора, с анализом как текущих ощущений, так и воспоминаний, во всех трех книгах соотносятся своеобразные лирические монологи, отдаляющие текст от схем документального повествования и наполняющие его приемами художественного письма, более того, **мы увидели и подробно рассмотрели фрагменты, где повествование о путешествии сближается с традиционными фикциональными жанрами, с политическим выступлением, с социологическим трактатом, с журналистскими жанрами вроде интервью или заметки и т.д. Всюду это используется автором совершенно сознательно, ради того или иного эффекта. Это позволяет говорить о резком, масштабном и осознаваемом расширении границ жанра и его возможностей**¹⁶².

¹⁶¹ Подробнее о дальнейшей истории советского травелога Драйзера, в частности, о «деле о плагиате» между Драйзером и Дороти Томпсон и «инциденте с пощечиной» с участием Синклера Льюиса, см.: Кузина Д.Д. «Новая Россия» и старые обиды: о литературном скандале вокруг советских травелогов Т. Драйзера и Д. Томпсон // *Studia Litterarum*. – 2020. Т. 5. №4. С. 146-165.

¹⁶² Также о травелогах Драйзера см.: Кузина Д.Д. Автогеография Теодора Драйзера: три травелога о четырех мирах [Текст] / Д.Д. Кузина // *Вестник Пермского университета. Серия «Российская и зарубежная филология»*. – 2020. – Т.12. – №2. – С. 100-109.

Глава IV

Лэнгстон Хьюз и Клод Маккей: новое знание о национальных корнях

Объединение в одной главе травелогов Лэнгстона Хьюза и Клода Маккея – двух афроамериканских литераторов и деятелей Гарлемского ренессанса – не случайно.

Исследователю, который берется сравнивать этих писателей, приходится отталкиваться от двух соображений. С одной стороны, Хьюз и Маккей были исключительно несхожи ни в темпераменте, ни в том, какими изображали посещенные страны и самих себя в собственных травелогах. С другой – оба они осознавали себя в первую очередь как афроамериканские авторы, вовлеченные в движение обретения американскими неграми полноценного места в культурной и общественной жизни США; они чувствовали личную ответственность за ход этого процесса и в соответствии с этим позиционировали себя, в том числе в своих путешествиях. Хьюз был моложе Маккея и с глубоким почтением относился к его поэтическому творчеству¹⁶³ и даже называл его лучшим негритянским художником из всех своих современников¹⁶⁴; они переписывались, оба были близки к коммунистам, бывали в одних и тех же местах, в том числе в СССР, куда оба были приглашены в качестве «черных братьев, угнетаемых капиталистами». Таким образом, в этой главе нам представляется возможность на примере травелогов двух писателей-афроамериканцев, несхожих лично, но объединенных многими общими идеями и целями, исследовать специфику афроамериканского путешествия того времени и выявить его влияние на литературу путешествий в целом.

И Хьюз, и Маккей, будучи изначально представителями «маргинальной» среды (а это для США до рассматриваемого нами периода

¹⁶³ Hughes L. *The Big Sea*. – New York, 1993. P. 190.

¹⁶⁴ Hughes L. *The Collected Works of Langston Hughes* / Ed. by A. Rampersad and D. Roessel. – Columbia, MO: University of Missouri Press, 2001. Vol. 9. P. 53.

не только афроамериканцы, но и индейцы, и иммигранты – все, кто не принадлежит белому, англо-саксонскому миру потомков первопоселенцев), создали автобиографические травелоги, дающие представление о том, как менялась культурная парадигма США, как в конце концов англо-саксонское доминирование и ассимиляционизм («плавильный котел») сменились мультикультурализмом и как в конечном счете именно в принятии этой многокультурности и обнаружился ключ к американской национальной идентичности, поиски которой заняли не одно столетие¹⁶⁵.

Исследователи афро-американской культуры, в том числе и Гарлемского ренессанса, часто стоят на противоположных позициях и приходят к совершенно разным, даже взаимоисключающим выводам – так что историко-литературный материал превращается в своего рода полемический полигон для афроамериканистов. Например, Г. Круз, Н. Хаггинс, Х.А. Бейкер или Г.Л. Гейтс смотрят на явление Гарлемского ренессанса с позиций афроцентристских, настаивают на жестком противопоставлении «белой» и «черной» культур; Дж. Хатчинсон и В. Соллорс, напротив, полагают, что афроамериканскую и «белую» традиции следует понимать как взаимосвязанные составляющие американской культуры, которая объединяет различные самобытные расовые и этнические элементы, что и создает своеобразие «американизма» по сравнению с культурами Старого Света. О.Ю. Панова пишет о том, что негритянский ренессанс явился порождением эстетической программы «американского универсализма», которую разрабатывали Ш. Андерсон, У. Фрэнк, Г. Стайн и др., и частью которой было «конструирование модернистского американского примитива, важной разновидностью которого станет его

¹⁶⁵ Об этом подробнее см.: Hutchinson G. *The Harlem Renaissance in Black and White*. – Cambridge, MA, L.: Belknap Press/Harvard University Press, 1995, в особенности Part I: American Modernism, Race, and National Culture; Werner S. *Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture*. – New York & Oxford: Oxford University Press, 1986.

расовый вариант»¹⁶⁶; решающим временем для этого процесса стала середина 1910-х годов, когда в Америке окончательно сформировалась сегрегация, подтолкнувшая и ускорившая формирование расово-культурного самосознания негров. Подчеркивая, что афроамериканская литература произошла и развилась вовсе не из негритянского фольклора, а под влиянием европейских и американских образцов, О.Ю. Панова показывает, что афроамериканская литература является органичной частью национальной американской литературной традиции, так что две ее ипостаси – «белая» и «черная» – при всей своей специфичности в основе своей имеют общую логику развития. Это касается и афроамериканского травелога как самобытной разновидности травелога американского, и мы постараемся подчеркнуть в нем как расово-специфичное, так и характерно американское.

Путешествия занимали в жизни обоих литераторов заметное место. Еще в детстве и юности Хьюзу приходилось подолгу жить вместе с отцом в Мексике, вдали от родного Миссури. Летом 1923 года Хьюз нанимается на грузовое судно, направляющееся в Африку, и за время шестимесячного плавания посещает Аккру, Азорские острова, Кот-д'Ивуар, Лагос, Сенегал, Французскую Гвинею, Анголу и т.д. В феврале 1924 года Хьюз снова отправляется в плавание, на этот раз в Европу. Он побывал в Роттердаме, несколько месяцев прожил в Париже, где завел роман с Анной-Марией Куссэ, девушкой из уважаемой негритянской семьи, на которой хотел жениться и с которой был вынужден расстаться – этому эпизоду посвящена отдельная исполненная лиризма глава в автобиографии Хьюза «Большая вода» (1940). В том же году Хьюз совершил путешествие по Италии и – на борту очередного судна – вдоль берегов Испании, после чего вернулся в Нью-Йорк. В 1931 году вместе с Зеллом Ингрэмом он путешествует по странам Карибского бассейна и посещает Гавану, Порт-о-Пренс, Сантьяго-де-Куба и Кап-Аитьен. Наконец, в 1932 году Хьюза приглашают в Советский

¹⁶⁶ Панова О.Ю. Негритянская литература США XVIII-начала XX века: проблемы истории и интерпретации. С. 586.

Союз в качестве сценариста фильма «Черное и белое», посвященного расизму в США. Хьюз лично формирует делегацию будущих участников фильма и приглашает в нее 22 афроамериканца из числа своих гарлемских знакомых. В ходе поездки (июнь-август 1932 года; Хьюз задержался в России еще на год и уехал только летом 1933 года) - пускай съемки фильма были в конце концов отменены, а сам Хьюз столкнулся с откровенным неведением советских коллег обо всем, что касается негров и их положения в США - Хьюзу удастся посетить не только Москву, но также Туркменистан и Узбекистан. В 1937 году снова оказывается в Испании, на этот раз в качестве корреспондента газеты “Baltimore Afro-American”¹⁶⁷.

Не менее насыщенной путешествиями была и жизнь Клода Маккея. Поскольку сам он был родом с Ямайки, первым его путешествием может считаться переселение в Нью-Йорк в 1912 году, которое значительно повлияло на его дальнейшую судьбу: он впервые столкнулся с настоящим расизмом и, ознакомившись с трудами Дюбуа, впоследствии стал членом нескольких социалистических и националистических организаций в Европе и США. В 1919 году Маккей впервые посетил Великобританию, и о своих тогдашних впечатлениях отозвался в автобиографической книге «Вдали от дома» в самых резких тонах:

Вывески надрывались: «Сдаются комнаты», но стоило мне обратиться по адресу, как обнаруживалось, что все комнаты уже сданы. Но когда я снова проходил той же улицей, то видел, что вывески никуда не делись. Меня одолели подозрения. Я попросил своих английских друзей из Международного клуба разузнать, что к чему. Они выяснили: комнаты действительно сдаются. И вот они приводят меня с собой и пытаются снять комнату для меня, а им в ответ из раза в раз: негров здесь никто видеть не желает. <...> Этот лондонский черный бойкот вселил в меня чувство беспомощности и уязвимости. Ведь Англия - не то что Америка, где от предрассудков можно по крайней мере укрыться в Черном поясе. Мне пришлось осознать, что Лондон – холодный белый город, и английская культура здесь грозна и могущественна, как айсберг. Этот город был возведен во имя английских надобностей; нет никаких сомнений, что англичанам он кажется совершенно

¹⁶⁷ Rampersad A. The Life of Langston Hughes. Vol. I: 1902-1941. – New York: Oxford University Press, 1986. P. 73-99.

восхитительным. Лондон строился не для того, чтобы тут снимали комнаты негры¹⁶⁸.

Тем не менее, общественная деятельность Маккея, связанная с британскими социалистическими организациями, сблизила его со Старым Светом, и уже во второй половине 1920-х годов Маккей постоянно перемещается по Европе и Северной Африке. В 1922-м, за 10 лет до Хьюза, Маккей едет в СССР, чтобы принять участие в Четвертом Конгрессе Коминтерна и задерживается там на полгода, проживая то в Москве, то в Петрограде¹⁶⁹. В 1928 году Маккей впервые посетил Марокко, о чем также впоследствии написал в своей автобиографии «Вдали от дома»¹⁷⁰.

Следует учитывать, что в XX веке негр, куда бы он ни отправился, воспринимался в первую очередь как представитель своей расы и таким образом сам становился объектом стереотипизации, о которой мы до сих пор упоминали только в связи с тем, как она влияла на ожидания и впечатления путешествующих американцев. Путешествующие негры волей-неволей примеряли «роли», обусловленные отношением «принимающей стороны» к негритянскому вопросу. В мире «белой цивилизации» деятелям негритянского ренессанса нередко приходилось сталкиваться с тем, что их не принимают всерьез. Клод Маккей по согласованию с Лениным был рекомендован Джоном Ридом к приглашению на Третий Конгресс Коминтерна как докладчик по негритянскому вопросу (впрочем, попадает он в СССР только через год, на Четвертый Конгресс – уже после смерти Рида и без какой бы то ни было организационной помощи со стороны Советского Союза) – но в СССР смотрят на него прежде всего как на представителя

¹⁶⁸ McKay C. A Long Way from Home. – New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2007. P. 273.

¹⁶⁹ Подробнее см. в: Carew J.G. Translating Whose Vision? Claude McKay, Langston Hughes, Paul Robeson and the Soviet Experiment // Intercultural Communication Studies XXIII. 2014. No. 2. P. 1-16.

¹⁷⁰ Cooper W.F. Claude McKay: Rebel Sojourner in the Harlem Renaissance. A Biography. – Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1996. 443 p.

угнетенного народа, как на выигрышную карту в политической игре¹⁷¹; Лэнгстон Хьюз путешествует по Италии и не сразу понимает, что обязан местным гостеприимством своей экзотической внешности: многие из его новых знакомых вообще никогда в жизни не видели негра и для них вопрос престижа угостить его вином или даже просто пожать ему руку. Рефлексия по поводу моды на «негритянскую экзотику» в 1920-е – одна из доминирующих тем не только художественного творчества, но и переписки афроамериканских авторов периода Гарлемского ренессанса. «На Бродвее каждую неделю идут чудовищно плохие негритянские шоу. Они проваливаются – и поделом. Попадаются цветные пластинки для виолончели просто невыносимо пошлые. Ну были бы они хоть смешные, или грустные, ну хоть полугрустненькие – так нет же. Дельцы, эти мерзкие идиоты, - в большинстве своем, боюсь, евреи, - доят эти негритянские вещицы так, что ни цента не пропадет», - пишет Лэнгстон Хьюз Клоду Маккею в 1928 году¹⁷². А двумя годами позже: «В этот год на Юге линчуют по меньшей мере одного негра в неделю, цветной барьер стягивается все туже и туже, даже в Нью-Йорке, – а в книжках и в театре негры все те же умильные симпатяги! Танцуйте, сволочи, пляшите! Вы такие необычные, такие потешные, ну просто лопнуть!»¹⁷³

И Европу, и СССР в силу разности характеров и происхождения Хьюз и Маккей оценивают почти противоположно.

Маккей не скрывал своего яркого антирасизма, левых взглядов, активной политической позиции и сотрудничества с британскими и американскими коммунистами, что и стало основной причиной его приглашения в СССР в 1922 году. Не обошлось и без влияния на Маккея его соотечественника Маркуса Гарви – как пишет Тайрон Тиллери, деятельность Маккея и его выступления в печати не всегда получали поддержку других

¹⁷¹ Панова О. Экзотический гость: Клод Маккей в Советском Союзе // Литература двух Америк. 2019. С. 220-256.

¹⁷² Hughes L. Selected Letters / Ed. by A. Rampersad and D. Roussel. – New York, 2015. P. 87.

¹⁷³ Ibid. P. 99.

негритянских авторов, за радикализм в расовом вопросе его даже называли «черным фашистом»¹⁷⁴. Путешествуя по разным странам, он в первую очередь оценивает то, как воспринимают окружающие его негритянское происхождение. Больше всего, как мы уже упоминали, он невзлюбил Англию – для него она была оплотом вообще всего англо-саксонского (против чего Маккей боролся и в Америке). Он иронизирует над идеалистическим образом Англии, который лелеял в детстве, и сравнивает серую и безрадостную Англию с цветущими и девственными пейзажами Ямайки:

Совсем еще мальчишкой я написал стишок о том, как мне хочется поехать в Англию и поглядеть на знаменитые улицы и всякие замечательные места, и увидеть, «как из заводских труб льется дым»... <...> Будь я черным Диогеном, что исследует белый мир со своей африканской лампой, тогда бы я воскликнул: я видел Бернарда Шоу! Потому что больше ничем меня Лондон не поразил. И я чувствовал полный разлад с английской жизнью. Да еще этот климат, который, уж конечно, никому не придется по душе. Ох эта юная поэтическая велиречивость, с которой я на высоких, зеленых, непорочных холмах Ямайки наивно и беспечно воспевал «дым, льющийся из труб»! Поработав на фабрике в Нью-Йорке и сведя близкое знакомство с гарью и дымом локомотивов и железнодорожных кухонь, я утратил по отношению к дыму романтические чувства. А Лондон почти все время напролет утопал в дыму. В своем тропическом детстве я неизменно радовался туманам, которые время от времени поднимались над рекой, будто отяжелевшие пласты красивых облаков, что вырвались из земных глубин и устремились в небеса. Но лондонский туман был словно набрякшая удушливая пелена. Он не только окутывал тебя снаружи, он плескался в глотке, как кошмар, от которого ночью начинаешь задыхаться. И все же в Лондоне я чувствовал к себе столь обостренное, злобное недружелюбие, что порой и в объятиях этого тумана рад был спрятаться. Лондон – единственный крупный северный город, где мне приходилось носить пальто круглый год¹⁷⁵.

Наконец, Маккей прямо указывает на неискоренимый расизм англичан: «Впрочем, не только из-за климата Лондон был для меня таким чужим. <...> Англичане в целом оказались на удивление неприятными людьми, такими же холодными, как и этот их английский туман. <...> Необходимо признать, что предрассудки, как бы ни мало было для них оснований – совершенно

¹⁷⁴ Tillery T. Claude McKay: A Black Poet's Struggle for Identity. – Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1992. P. 172.

¹⁷⁵ McKay C. A Long Way from Home. P. 96.

реальная вещь; личные, национальные и расовые предрассудки. Общаясь с англичанами, я убедился в том, что предубеждение против негров они впитывают чуть ли не с молоком матери»¹⁷⁶.

Гораздо более привлекательным в связи с этим Маккею кажется пестрый и свободлюбивый Париж:

В Париже было занимательно смешаться со всеми этими космополитически настроенными эмигрантами. <...> После жизни в атмосфере жесткого пропагандистского давления в новой России это было как каникулы. Здесь, в Париже, радикалы, эстеты, художники и писатели, псевдохудожники, богема – все слились во вполне себе дружеское месиво, лишённое предрассудков. <...> Мне нравилось наблюдать за белыми американскими юношами и девушками, на террасах кафе континентальной Европы наслаждающимися особой свободой “иностранцев при деньгах”. Мне нравилось смотреть, какие подвиги они совершают на ниве поглощения запрещенных напитков, прислушиваться к их затейливой болтовне и видеть, как небрежно, будто походя, принимают они этот космополитический мир, населенный людьми разных национальностей и цветов кожи. Даже если они не вдохновлялись какими-то целями, не создавали произведений искусства – мне они казались вовсе не бездельниками или распутниками, но исследователями жизни¹⁷⁷.

И все же именно в Париже Маккей отчетливо как никогда осознает – и в парижских главах своей книги формулирует – свою позицию как негритянского деятеля, свое отношение к представителям белой расы:

Честно говоря, я никогда себя не равнял с белыми эмигрантами. Я был скорее сочувствующим попутчиком при эмигрантском караване. В большинстве своем они относились ко мне с симпатией. Но их проблемы не были моими проблемами. Они были белые, и проблемы у них были белые, ничего общего не имевшие с черными проблемами. <...> Не будучи черным, не умеючи по-настоящему глубоко заглянуть в пропасть этой черноты, иные даже воображали, что я предпочел бы стать белым, как они. Они не могли даже допустить мысли, что я вовсе не желаю обменять свою черную проблему на их проблему белую. Со всей своей ученостью и искушенностью они не могли понять той инстинктивной, животной, почти физической гордости, которую ощущает чернокожий, решившийся быть самим собой и жить при этом самой обычной современной жизнью, такой же, как у них. Ибо белое воспитание приучило их видеть в цветном либо экзотическую тварь, либо низшее существо¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid. P. 227.

¹⁷⁸ Ibid. P. 229.

Это обостренное, ни на минуту не отступающее ощущение собственной инаковости, мучившее Маккея и, по всей видимости, составлявшее вместе с тем для него предмет гордости, Хьюзу совершенно не свойственно. В прозе Хьюз – мастер юмористического и бытового повествования, он обыгрывает в комическом ключе даже остросоциальные истории, такие как конфликт со старшим механиком, не желавшим обедать в одном помещении с неграми («Большая вода») или то, как его московского знакомого посадили за неудобные стихи («Поброжу и расскажу», 1956). Тяготение его автобиографической прозы к своего рода «байкам» подмечают многие исследователи; в частности, Е.С. Островская высказывает предположение, что Хьюз сознательно выстраивает свои воспоминания по принципу плутовского романа, где он сам играет роль пикаро, выпутывающегося из любых передряг¹⁷⁹. По мнению Е.С. Островской, исследовавшей связи Хьюза с СССР, письма Хьюза и его советские воспоминания очень разнятся – для него такая «фильтрация» была способом обходить острые углы, умалчивать о том, что не вышло с создаваемым им образом самого себя¹⁸⁰.

В своих европейских путешествиях Хьюз тоже акцентирует внимание на разнообразных забавных ситуациях и том, как он из них выкручивается: то у него крадут паспорт в итальянском поезде (между прочим, на этом поезде Хьюз ехал во Францию для того как раз, чтобы повидаться с Маккеем; в 1933 году он по-прежнему писал, что они с Маккеем, несмотря на долгие годы дружеской переписки, не знакомы лично¹⁸¹), то он чуть не опаздывает на корабль после ночи, проведенной в испанском борделе, то застревает на несколько месяцев в Генуе и бродит по пляжу в компании других проходимцев, обманом добывая деньги у туристов, то становится главным героем романтической истории в декорациях цветущего Монмартра.

¹⁷⁹ Островская Е.С. Лэнгстон Хьюз в переписке с журналом «Интернациональная литература» // Литература двух Америк. 2017. №3. С. 111-112.

¹⁸⁰ Там же. С. 115.

¹⁸¹ Hughes L. The Collected Works of Langston Hughes. Vol. 9. P. 53.

Хьюз способен вписаться в любую среду, с кем угодно подружиться, найти выход из любой ситуации и над любой ситуацией посмеяться. Глав, в которых расистская тема была бы основной и к тому же подавалась бы в серьезном ключе, крайне мало, и в основном они относятся к африканскому путешествию, где погружение в «черный» мир было настолько глубоким, что Хьюза больше ничто не занимало. В то же время неправильно было бы сказать, что тема эта не обладала для него важностью – скорее он не воспринимал мир в маккеевской системе координат, где все четко поделено на «черное» и «белое» и между двумя цивилизациями ведется жестокая война, в которой участвует абсолютно каждый, просто в силу обладания тем или иным цветом кожи. К итальянцам, жителям городка Дезенцано, превратившим его в местную диковинку, Хьюз относится беззлобно и явно забавляется этой ситуацией.

Как и Маккей, Хьюз не слишком обманывается красивыми «картинками» гранд-тура и не полагает нужным быть чересчур многословным, восхищаясь «правильными» вещами: дворцами, храмами и картинами. Его куда больше интересует реальная жизнь, спрятанная за прекрасными фасадами памятников архитектуры, – жизнь как веселая и подходящая для сочинения очередной «байки», так и полная людских страданий:

Венеция, Риальто, Дворей дождей, Мост вздохов и голуби Сан-Марко – все это оказалось точь-в-точь таким, как мне грезилось. <...> Но еще прежде, чем неделя подошла к концу, я несколько утомился от дворцов и храмов, и знаменитых полотен, и английских туристов. Мне стало интересно: неужели здесь нет ни бедняков, ни трущоб, - ничего, что было бы похоже на кварталы за рынками на Видлэнд-авеню в Кливленде, где живут американские итальянцы? Так что пару раз я выходил на прогулку сам по себе и бродил по районам, о которых помалкивали путеводители. Так я узнал, что в Венеции множество бедняков и множество неприглядных закоулков – и каналов, слишком грязных, чтобы быть живописными¹⁸².

¹⁸² Hughes L. The Big Sea. P. 189.

В Советском Союзе перед афроамериканскими путешественниками такой выбор не стоит: в СССР все ново, непривычно, малоизученно. Как известно, отмечает О.Ю. Панова, интерес к расовой проблеме в США советские руководители испытывали всегда, и в разные годы их «фаворитами» становились разные негритянские деятели, в том числе Маккей и Хьюз – первый в 20-х годах, второй в 30-х. За творчеством афроамериканских товарищей, на которых делалась ставка, пристально следила советская критика, и в случае чрезмерного увлечения художественными поисками, уводившими авторов слишком далеко от коммунистических ценностей, бывшие «любимчики» превращались в исписавшихся либо упаднических литераторов, не оправдавших возлагавшихся на них надежд¹⁸³.

Таким образом, афроамериканские гости СССР оказывались в двойственной ситуации: с одной стороны, их привечали и признавали их угнетенное положение, с другой – негритянский вопрос был в первую очередь чрезвычайно выгодной политической картой, которую можно было разыгрывать против капиталистических стран, повышая авторитет СССР как у граждан самого советского государства, так и за рубежом. Маккей отчетливо осознавал подобные попытки использовать его и через него всех американских негров для пропагандистских целей, и, вероятно, ему это льстило¹⁸⁴. Во всяком случае, очевидно, что Маккей не сомневался в искренности симпатии простых советских граждан, которую они проявляли к нему неизменно: «Между тем на меня особенно, сами того даже не замечая, действовали русские люди. Когда бы я ни появился на улице, они с воодушевлением приветствовали меня. Сначала я думал, что просто из любопытства, какое подобный мне необычный, своеобразный тип и должен вызывать в любой чужой стране, - я сталкивался с этим и в Бельгии, и в

¹⁸³ См. об этом: Панова О.Ю. Первое знакомство: «литература американских негров» в освещении советской критики 1920-х гг. // *Studia litterarum*. 2019. Т. 4. №4. С. 98-125.

¹⁸⁴ См. о пребывании К. Маккея в СССР: Панова О.Ю. Экзотический гость...

Голландии, и в Германии. И ничуть не бывало! Вскоре я убедился, что такая реакция русских – совсем другого рода. Каждый раз дело было в стихийном всплеске некоего общего чувства»¹⁸⁵. Отметим, кстати, что на доброжелательность и открытость русских указывает и Хьюз: «Я побывал во многих крупных городах мира, и по моим наблюдениям, именно москвичи, как никто, вежливы по отношению к незнакомцам. Но, может быть, объяснялось это тем, что мы негры, а дело Скоттсборо было в то время на первых полосах газет во всем мире, а уж в России тем более, - вот люди и старались проявлять к нам радушие. Окажись в переполненном трамвае – и девять из десяти, что какой-нибудь русский скажет: “Negrochanskj tovarish – товарищ негр, присаживайтесь!” В уличных очередях за газетами, папиросами или прохладительными напитками нередко говорили: “Пропустите товарища негра!” А если начнете отказываться, будут настаивать: “Прошу вас! Гостей вперед”. Казалось, простые граждане ощущают себя официальными лицами, хозяевами Москвы»¹⁸⁶. Нетрудно заметить, что Маккея интересует в первую очередь то, как относятся к нему, негру, а Хьюза – то, как именно это поведение характеризует самих москвичей, чувствующих личную ответственность за то, как себя ощущает в их городе незнакомец.

С другой стороны, как мы помним, более всего Маккея занимало положение негров в мире, а следовательно, мотивировка и цели советского государства и Маккея были далеко не идентичны. Именно поэтому в скором времени последовало взаимное разочарование: «Дополнительный свет на причины такой эволюции Маккея проливают воспоминания о нем Н.К. Чуковского, который был одним из гидов-переводчиков при иностранном госте. Чуковского поразила пылкая ненависть Маккея к белым. <...> К концу 1920-х гг. стало ясно, что на роль “флагмана негритянского народа”, трактующего расовый вопрос с позиций классового подхода,

¹⁸⁵ McKay C. A Long Way from Home. P. 171.

¹⁸⁶ Hughes L. The Big Sea. P. 74.

Маккей решительно не годится»¹⁸⁷. Причиной стала очевидная сосредоточенность Маккея на расовом вопросе и слабая заинтересованность в вопросе классовом. Кроме того, как подмечает Уэйн Купер, Маккей не всегда чувствовал себя уютно в роли «дисциплинированного партийца», он воспринимал самого себя в первую очередь как литератора, придерживающегося определенных убеждений¹⁸⁸ и недолюбливал публичные выступления, предпочитая им письменное слово¹⁸⁹.

История путешествия в СССР Лэнгстона Хьюза в качестве сценариста для антирасистского фильма о жизни негров в Америке «Черное и белое» подробно описана в целом ряде исследований¹⁹⁰. Очевидно, что обстановка в двух путешествиях изначально была разная: Маккей прибыл в СССР с политической миссией – на Конгресс Коминтерна, а Хьюз – в составе творческой группы. Даже когда стало ясно, что фильм сниматься не будет, и все участники проекта разбрелись кто куда, Хьюз задержался в СССР, побывал в республиках Средней Азии и прожил в Москве еще несколько месяцев, прежде чем вернуться домой.

О впечатлениях Маккея и Хьюза от СССР в обоих случаях можно судить по источникам двух типов: очеркам, создававшимся непосредственно во время или сразу после путешествия – и посвященным Советскому Союзу главам автобиографий, написанных много позже (с примерно одинаковой временной дистанцией: у Хьюза 13 лет, у Маккея 15 – но при этом сами

¹⁸⁷ Панова О.Ю. Экзотический гость: Клод Маккей в Советском Союзе. С. 205.

¹⁸⁸ Cooper W.F. Claude McKay. P. 175.

¹⁸⁹ Ibid. P. 178.

¹⁹⁰ Подробнее об этом см. в: Baldwin K. The Russian Connection: Interracialism as Queer Alliance in The Ways of White Folks // *Modern Fiction Studies*. 2002. Vol. 48. No. 4. P. 795-824; *Montage of a Dream: The Art and Life of Langston Hughes* / Ed. by C. Ragar, J.E. Tidwell. – Columbia, MO: University of Missouri Press, 2007; Matusевич M. Journeys of Hope: African Diaspora and the Soviet Union // *African Diaspora*. 2008. No. 1. P. 53-85; McClellan W. Africans and Black Americans in The Comintern Schools, 1925-1934 // *The International Journal of African Historical Studies*. 1993. Vol. 26. No. 2. P. 371-388.; Лапина Г. «Черные и белые»: история неудавшегося кинопроекта// *Антропологический форум*. 2016. №30. С. 83-118.

путешествия состоялись в принципиально разное время: Маккей был в СССР в начале 20-х гг., а Хьюз – в начале 30-х). Оба писателя воспринимали советские эпизоды как значительные события своей жизни и уделили им в автобиографиях большое внимание, основываясь, разумеется, на своих впечатлениях и заметках того времени – и все же зачастую трактуя увиденное несколько иначе, чем тогда.

Например, сосредоточенность Маккея на самом себе и расовой проблеме, которой он «проверяет» все страны, куда заносит его судьба, как нельзя лучше подтверждается его очерком «Негр и Советская Россия» (декабрь 1923 года). Он предваряется пространными рассуждениями политического характера о положении негров в современном мире, что сближает его скорее с трактатом, нежели с путевым очерком; о России речь заходит только в восьмом абзаце. Но напрасно ожидать от дальнейшего текста того, что Менкен называл «привычным путевым очерком», т.е. простого «описания мест и людей»: акцент на расовой проблеме остается неизменным. Высшей похвалой русским оказывается у Маккея то, что в беспартийных и даже антибольшевистских компаниях – среди творческой интеллигенции Петрограда и Москвы, где он «отдыхал душой» после официальных встреч в отеле («...эта столовая была для меня сущим наказанием; от встреч с представителями пролетариата из других стран я на стенку лез: иные держались так, как будто они посланцы Господни, а не защитники рабочего класса; так что бóльшую часть свободного времени я проводил в кафе “Домино”, пользующемся дурной славой писательско-поэтического гнезда»), к нему относились в первую очередь как к поэту: «Я был для них поэтом и только; судя по меткости и глубине их вопросов, моя поэтическая техника, мои взгляды, мое отношение к явлениям современной литературы интересовали их много больше, нежели цвет моей кожи»¹⁹¹. Маккей сравнивает советских граждан с американскими неграми, имея в

¹⁹¹ McKay C. Soviet Russia and the Negro // The Crisis. 1923. Dec. Vol. 27. No. 2. P. 61-65.

виду, что и те и другие осмелились бороться за свои права; особое внимание он уделяет многонациональности России, благодаря которой русские привычны к сосуществованию с «национальными меньшинствами»: представителями народов Средней Азии, Сибири и т.д., и благодаря которой он сам был для них всего лишь «новым типом, с которым они не имели дела раньше». Приводится забавный диалог:

- А с какой теплотой они реагируют на необычное лицо! – удивился Истмен.

Какой-то молодой русский коммунист говорит мне:

- Не пойму, в чем разница, вот индусы – те не светлее тебя.

А другой ему в ответ:

- Черты лица-то другие. К индусам за все это время мы просто уже пригляделись. Вот люди и чувствуют разницу.

И хоть к Маккею тоже со временем «пригляделись» (во всяком случае, представители творческой интеллигенции), все-таки в центре его очерка – реакция советских граждан на него, негра, - а не наоборот.

Совершенно иначе строятся заметки Хьюза, которые он сочинял во время своего советского путешествия. В одной из них, написанной для журнала «Интернациональная литература» сразу после отъезда из СССР в июне 1933 года, он превращает в прием бытовавшие по ту сторону океана стереотипы о Советской России и описывает советскую жизнь с самых разных сторон, последовательно их развенчивая. Начинается заметка так:

- Если не получится захватить из Нью-Йорка, не забудь купить в Берлине. Все-все: консервы, сахар, мыло, туалетную бумагу, карандаши, чернила, зимние вещи, открывалку, зубную щетку, шнурки, и еще то, и еще это... И все равно в Москве будешь ходить голодный, грязный и весь в рванине, - так с величайшей серьезностью наставляли меня друзья.

- За каждым твоим шагом в Москве будут следить, ОГПУ глаз с тебя не сведет, - предупреждали они.

- Там всем заправляют крестьяне и нищие, и худших придурков, чем они, свет не видывал. То-то Москва тебя разочарует, - предсказывали мне уважаемые господа, уделившие особое внимание изучению «русского эксперимента».

- У них одно на уме – разнюхать, кто там у вас в вашей негритянской делегации коммунист – и всех прирезать, когда вернетесь домой. Если только американское правительство вас пустит, - объясняли исполненные благородных чувств цветные. – Так что сидел бы дома.

- Дудки, - отвечал я. – Я хочу поглядеть на Москву.

А заканчивается так:

Так что я, как видно, вернусь в Америку такой же чистый (тут есть мыло), толстый (и еда тут есть), такой же целый и невредимый (и ОГПУ тоже), каким покидал Нью-Йорк. И, раз уж на то пошло: по-моему, теперь, когда я вспоминаю Москву, меня посещает нечто вроде тоски по родине. Знаете, есть такая старая песенка, в ней поется: «Пока в колодце есть вода, нам всем и жажда не беда». Так вот имейте в виду: тот не может по-настоящему оценить Москву, кто не возвращался оттуда в страну безработицы, очередей за хлебом, законов Джима Кроу, лживых политиков, надутых банкиров, распоясавшейся полиции, разбавленного пива и дела Скоттсборо¹⁹².

Большое впечатление на Хьюза произвели знакомства с уже жившими в России неграми – и впоследствии в автобиографии он создает яркие портреты этих людей, рассказывает об их судьбах. Финальный аккорд очерка – можно сказать, даже патетический:

Да, русские крестьяне и рабочие были просто невысказанно терпеливы по отношению к Царю, но уж когда они решили от него избавиться – они от него по-настоящему *избавились*. И теперь они в полном праве гордиться развевающимися над Кремлем красными флагами. Это они их там развесили. Так что не давайте никому там, в Америке, вешать вам на уши всю эту лапшу про мыло, продукты, про ОГПУ. Не верьте тем, кто отрицает, что в наши дни Москва – величайший город мира. Некогда им были Афины. Затем Рим. Еще недавно – Париж. Теперь же где-то в Алабаме хоть словом обмолвишься о Москве – и тут же оказываешься за решеткой. А как еще признать ее величие?¹⁹³

Поскольку все это Хьюз пишет для советского журнала, мы могли бы заподозрить его в неискренности. Но в письме Прентисс Тэйлор от 5 марта 1933 года находим: «В самом деле, по сравнению с Нью-Йорком или Чикаго Москва сейчас – настоящий рай. Считаю нет никого, кому нечего было бы есть; пускай некоторых продуктов и недостача; например, молоко полагается только детям, иностранным гостям и больным. Как ты знаешь, несколько лет назад кулаки (враги колхозов) перебили почти всех коров. Нужно, чтоб подросло новое поголовье»¹⁹⁴. Следует обратить внимание на то, как Хьюз

¹⁹² Hughes L. *Moscow and Me* // *International Literature*. 1933. No. 3. P. 61-66.

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Hughes L. *Selected letters*. P. 143.

отзывается о кулаках – представляется, что его тон вполне вписывается в газетную риторику 30-х гг.¹⁹⁵ Его хвалебные отзывы в адрес СССР в первые годы после визита туда непритворны, особенно в связи с плачевной ситуацией в Америке. Еще одна публикация в «Интернациональной литературе» за 1933 год – прочувствованное эссе о Пушкине (которого и Хьюз, и Маккей воспринимали в некотором смысле как негритянского поэта; Маккей даже привез с собой из СССР в качестве сувенира его портрет)¹⁹⁶.

Хьюз, как и Маккей (или, например, Дороти Томпсон, сравнивавшая русские просторы с американским фронтиром¹⁹⁷), видит у России и Америки общие черты. Путешествия по Средней Азии заставляют его вспомнить родной американский Юг, и организация труда и образования, устройство социальной иерархии в советских республиках он оценивает в самых восторженных выражениях. В этих очерках и у него расовая тема выступает на первый план: описывая Туркмению и Узбекистан, Хьюз постоянно возвращается к случаям несправедливости, связанным с сегрегацией в США¹⁹⁸.

Годы спустя Клод Маккей и Лэнгстон Хьюз обращаются к своим советским воспоминаниям в автобиографических книгах. В отличие от Джона Дос Пассоса, они не прошли через радикальную перемену взглядов, но окрашенность советских впечатлений все равно изменилась у обоих. Образ Советской России у Маккея наполнился бытовыми деталями, стал более разнообразным с тематической точки зрения; из автобиографических

¹⁹⁵ А в очерке «Посещение Туркмении» Хьюз пишет: «Баи-помещики изгнаны и никогда не вернутся. Я разговаривал с крестьянами и я знаю, что так и будет. В них нет и тени страха, который гнетет батраков американского Юга» (Иностранная литература. 1977. №9. С. 229.)

¹⁹⁶ Hughes L. Negroes in Moscow: In a Land Where is no Jim Crow [Text] / L. Hughes. – International Literature. 1933. No. 4. P. 78-81.

¹⁹⁷ Thompson D. The New Russia. – New York: Henry Holt and Company, 1928. P. 3.

¹⁹⁸ Хьюз Л. Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе: Лэнгстон Хьюз, Шарль Вильдрак / Пер. с англ. // Иностранная литература. 1977. №6. С. 230-231.

глав мы узнаем гораздо больше о России 20-х гг., расовая тема и переживания рассказчика-негра прекращают быть лейтмотивом.

В общем, меня вышвырнули из гостиницы «Люкс» и я оказался в каком-то полуразрушенном домишке в довольно зловещем переулочке. Комната моя была пуста, если не считать армейской раскладушки, и выхоложена, как степь – в оконном стекле имелась трещина, сквозь которую внутрь сочился сибирский сквозняк. Первое, что пришло мне в голову, – надо спастись от пневмонии, так что я поспешил в лавку и купил два одеяла и пару дешевых теплых валенок, которые натягиваются до самого бедра – такие носят русские крестьяне.

В соседней комнате жила русская пара. Мужчина немного говорил по-английски. Я пожаловался ему на состояние своей комнаты, и он согласился, что окно стоило бы починить; впрочем, сказал он, «тысячи русских живут куда хуже»... Упрек был негромкий, мягкий, возможно, даже непреднамеренный, но я тут же смешался и мне стало стыдно... <...> Мне вспомнился один мой завтрак, это было несколько недель назад, когда я ехал поездом по Германии. Сельская местность, серебристо-коричневая в тумане раннего утра, была исполнена мирной прелести; поезд следовал точно по расписанию; вагоны и ресторан были со вкусом обставлены; пассажиры хорошо одеты, на официантах опрятная униформа. И завтрак был хорош, только сливки, которые подали к кофе, – просто подбеленная вода. Я был только что из Америки, где кофе со сливками – самая простецкая вещь на свете. И поэтому я, не задумываясь, попросил у официанта сливок. И сказал, что заплачу за них отдельно.

- Но мистер, у нас совсем не осталось сливок, - ответил он. – У нас забрали коров, и тем немногим молоком, которое осталось, мы кормим наших детей.

И тут я вспомнил, что читал где-то: мол, по Версальскому договору немцам пришлось отдать союзникам тысячи голов скота. Но нужно было в Германии попросить сливок к кофе, чтобы осознать все значение этого.

<...> «Тысячи русских живут куда хуже...» Приличная комната в Москве 1922 года была такой же роскошью, как в Америке – автомобиль. Приличная комната была главной темой для разговора, если не считать политических. Здороваясь, люди говорили друг другу: «Ну как, у тебя приличная комната?», как если бы они спрашивали: «Как здоровье?» Одной из самых пикантных по тем временам была шутка – мол, госпожа Троцкая в ссоре с госпожой Зиновьевой, потому что у одной апартаменты в Кремле лучше, чем у другой¹⁹⁹.

Хьюз, посетивший СССР на 10 лет позже Маккея, имел возможность наблюдать уже формирующуюся психологию советского человека.

¹⁹⁹ McKay C. A Long Way from Home. P. 128-129.

Возвращаясь к этому опыту в 40-х гг., он отказывается от однозначных оценок и описывает московскую жизнь со смешанным чувством умиления и насмешки:

Фраза «не по-советски» доносится с каждого угла. Если кого-то слишком бесцеремонно толкают в спину при входе в автобус или трамвай, к обидчику обернутся и скажут: «Гражданин, это не по-советски!» Если два человека на улице накидываются друг на друга с кулаками, полицейский кричит им: «А ну стой! Не по-советски!» Если ребенок вырвет у другого из рук конфету, мать бранит его: «Это не по-советски». Любая грубость или дурной поступок характеризуются как «не советские», то есть, говоря иначе, недостойные советского гражданина²⁰⁰.

Верный своему образу пикаро, он взаимодействовал с советской действительностью куда плотнее Маккея и даже завел роман с замужней дамой по имени Наташа, о которой пишет в самом ироническом ключе (при этом не упоминая о романе с танцовщицей Сильвией Чен, по всей видимости, довольно серьезном²⁰¹). Он не только описывает забавные истории, в которые попадает сам, но и с удовольствием собирает всяческие московские анекдоты; целый каскад таких анекдотов дается в конце главы, посвященной первомайскому параду в Москве. Сквозная тема главы – сталинские «чистки», о которых Хьюз также пишет вполне юмористически. При этом откровенных славословий в адрес СССР, какими отличаются ранние советские травелоги Хьюза, здесь тоже нет. Все это показывает, что в автобиографии производится сознательная литературная обработка, в которой путешествие оказывается не темой, а формой – формой рассказа о собственной жизни, где главное – не оценка события, а оно само во всей своей многогранности.

Не меньший интерес представляют путешествия обоих литераторов в Африку²⁰². Образ Африки как «страны предков» и «праматери негритянского

²⁰⁰ Hughes L. *I Wonder as I Wander*. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 73-74.

²⁰¹ Островская Е.С. Лэнгстон Хьюз в переписке с журналом «Интернациональная литература». С. 115.

²⁰² Также об африканских травелогах Хьюза и Маккея см.: Кузина Д.Д. «В недрах моей Африки»: травелоги и Клода Маккея Лэнгстона Хьюза о «стране предков» // Вестник

народа» был популярен среди деятелей Гарлемского ренессанса, но при этом нередко идеализировался. Поэтому встреча с реальной Африкой становится для негритянского художника в определенной степени моментом истины, поводом для переосмысления самого себя и собственных ценностей. Казалось бы, негр мог бы обрести гармонию с миром на родине предков, в Африке, которая в произведениях Гарлемского ренессанса зачастую предстает в поэтизированном, идеалистическом облике. Но нет – деятели Гарлемского ренессанса, в том числе Аллен Локк («О художественном наследии предков», 1925), подчеркивают, что афроамериканская традиция – это плод именно американского опыта, так что и в Африке американский негр оказывается чужим. Следовательно, чужак он повсюду – и это сознание этого значительно влияет на Лэнгстона Хьюза и Клода Маккея, когда они пишут свои автобиографии («Большая вода» и «Вдали от дома»). В обеих книгах имеются «африканские» главы, но представления об Африке и жизненные обстоятельства, туда приведшие, были для двух поэтов неодинаковы.

Хьюз, уроженец штата Миссури, потомок аболиционистов, в своих ранних стихах опровергал пестуемый колонизаторской культурой образ отсталой нищей Африки, противопоставляя ему образ Африки поэтической, волшебной и гармоничной. Идеалистическая, самодостаточная Африка «до колонизации» занимает в его творчестве заметное место и служит молодому поэту источником вдохновения, превращается в негритянский «потерянный рай» («Негр рассказывает о реках», «Африка»). С.М. Гохар показывает, как с угасанием Гарлемского ренессанса, после войны, Хьюз отходит от этой романтической концепции и связывает свою творческую и общественную деятельность с национальными африканскими движениями, сотрудничает с южно-африканским журналом “Drum”, поддерживает активную переписку с африканскими литераторами, – т.е. Африка обретает для него все более и

более реалистические черты, предстает все более сложной²⁰³. Биограф Хьюза А. Рэмперсед пишет: «Африка была неотъемлемой частью его обширного ощущения черной идентичности – и в той же мере ничуть не менее обширного ощущения человечности вообще. Он не утратил веры в нее даже тогда, когда прочие чернокожие американцы, стыдясь голливудских клише, все таких же унижительных, желали бы разорвать все или почти все связи с “черным континентом”»²⁰⁴.

Поездка в Африку (лето 1923 года) в первой автобиографии Хьюза «Большая вода» (1940) занимает несколько глав. Только в одной из них – «Луна в Буруту» - Хьюз отдает должное прежней поэтической Африке с ее барабанами в ночи, блеском волн в лунном свете, таинственными артефактами и древними обрядами, да и здесь тоже не обходится без пугающих зарисовок из «веселых кварталов». Красота Африки навсегда осквернена присутствием белого человека: «Люди с этих кораблей, – говорят туземцы, – Эти сильные белые люди, они приходят за нашим пальмовым маслом и нашей слоновой костью, за эбеновым деревом и красным, они приходят покупать наших женщин и подкупать наших вождей...»²⁰⁵ Вот какими знаменательными словами Хьюз приветствует Африку: «Африка! Живая, настоящая, та, которую можно увидеть, можно потрогать, а не выискивать на страницах книг!»²⁰⁶

Это вполне соотносится с двухчастным очерком юного Хьюза для того же самого выпуска журнала “The Crisis” (декабрь 1923 года), в котором был опубликован советский очерк Маккея. Текст Хьюза выдержан в духе импрессионистического письма. Весь он состоит из подобных пассажей: «Рассвет... Берег Африки, протяженный, низкий, нагой и каменистый,

²⁰³ Gohar S.M. The Dialectics of Homeland and Identity: Reconstructing Africa in the Poetry of Langston Hughes and Mohamed Al-Fayturi // Tydskrif vir Letterkunde. 2008. Vol. 45. No. 1. P. 42-74.

²⁰⁴ Rampersad A. Introduction // Hughes L. Selected Letters. P. xviii.

²⁰⁵ Hughes L. The Big Sea. P. 120.

²⁰⁶ Ibid. P. 10.

обрамленный завесами света, среди которых, как огненный шар, встает алое солнце... Дакарский порт, Сенегал... На причале сгрудились чернокожие Мухаммеды в развевающихся одеждах... Мелькают причудливые одеяния... На термометре девяносто... Женщины в лохмотьях... Голые дети... Яростное солнце»²⁰⁷. Это цитата не из записной книжки, а из газетной публикации – следовательно, перед нами не черновик очерка, а очерк, которому сознательно была придана подобная «полупоэтическая» форма; этот подход постулирован и в заголовке очерка: «Корабли, Море и Африка: случайные впечатления...»

В остальных главах видно, как Хьюз последовательно отказывается от своего «книжного» опыта и погружается в реальную жизнь. Биограф Хьюза Ф. Берри указывает на то, что за всю поездку он написал всего лишь одно стихотворение – и при этом почерпнул чрезвычайно много материала для прозаических текстов, открыл в себе прозаический дар²⁰⁸. В целом для африканских зарисовок Хьюза неуместен пафос, которым полны его стихи. Африканские впечатления Хьюза тоже сознательно акцентируются как трагические или комические – нейтральных же попросту нет. Показательно письмо, которое Хьюз написал матери из Сенегала в день прибытия:

«Дражайшая мама! Нынче утром я впервые увидел Африку. <...> Посмотрела бы ты, как тут одеваются. Все что душе угодно: пальто – пожалуйста, в чем мать родила – пожалуйста. Я покатывался со смеху все время, пока у меня не кончились на это силы. Нипочем не сыскать двух одинаково одетых людей. Кто в капюшоне, кто в шали, кто в брюках. Кто обматывает шею и лодыжки какими-то синими тряпками, и те раздуваются позади, как паруса... Иные в священничьих робах, есть и те, кто носит штаны приспущенными на манер шаровар. Это что-то! И все до того разные, что не поймешь – мужчина перед тобой или женщина. Ох, поглядела бы ты на них! Люблю, люблю, люблю, Лэнгстон»²⁰⁹.

²⁰⁷ Hughes L. *Ships, Sea and Africa: Random Impressions of a Sailor on His First Trip Down the West Coast of Motherland* // *The Crisis*. 1923. Dec. Vol. 27. No. 2. P. 69-71.

²⁰⁸ Berry F. *Langston Hughes Before and Beyond Harlem*. – New York: Random House Value Publishing, 1995. P. 37.

²⁰⁹ Hughes L. *Selected Letters*. P. 40.

Нетрудно распознать в этом насмешливом письме «структурные элементы» цитировавшегося выше очерка для «Кризиса».

Происхождение у Хьюза было смешанное – в его жилах текла не только негритянская, но также и индейская, и европейская кровь. С.М. Гохар полагает, что это стало для Хьюза причиной остро переживаемого кризиса идентичности, отразившегося в его стихах («Мулат», «Крест») ²¹⁰. В воспоминаниях об Африке чрезвычайно показательны диалоги (их несколько, и они опять-таки носят юмористический характер), в которых местные негры отказываются считать Хьюза «своим» и называют его «белым».

- Как тихо, - сказал я Пэ.

- Правда, - откликнулся он. – Но они скоро будут делать джуджу.

- Сегодня?! Где? – вскричал я. – Я хочу пойти.

Пэ затряс головой, но махнул рукой в сторону окраины городка, туда, где возвышалась стена леса.

- Христианину нет польза от джуджу, - сказал Пэ вежливо. – Танец омали не хорошо для христианина.

- Но я хочу посмотреть, - настаивал я.

- Нет! – воскликнул Пэ. – Белый человек никогда не идти смотреть джуджу. Он навредить тебе. Он слишком страшный! Белый человек никогда не идти.

- Но я не белый, - спорил я. – Я бы...

- Но ты и не черный, - нетерпеливо возразил Пэ. Пришлось мне отказаться от затеи поглядеть на джуджу²¹¹.

Большое впечатление производит на Хьюза также встреча с юношей-метисом по имени Эдвард – сыном английского колониста и туземки, который чувствует себя беспредельно одиноко в мире, где никто не желает признавать его своим.

Один из членов команды объясняет Хьюзу, что белыми в Африке считаются все, кто прибыл из «белого», «цивилизованного» мира – и цвет кожи здесь почти не имеет значения²¹². Африканцы, если судить по этой реплике, интуитивно понимают ту самую разницу культур, о которой писали

²¹⁰ Gohar S.M. The Dialectics of Homeland and Identity... P. 54-55.

²¹¹ Hughes L. The Big Sea. P. 118.

²¹² Ibid. P. 105.

Ален Локк и прочие сторонники идеи необратимой трансформации негров вне Африки в особое, уже неафриканское культурное сообщество.

Путешествие не отвратило Хьюза от Африки, но сделало его представления о ней более конкретными и проблемными – а это не то, чего он от Африки ожидал. Вот что пишет об этом Т. Харрис: «Родственность (с африканским миром. – прим. Д.К.), которую он утверждает в своих стихах, не имеет отношения к его поведению в реальности. <...> К концу своего путешествия в Африку Хьюз пресытился Черным континентом и отстранился от него. <...> Но даже если взаимное принятие не состоялось в действительности, ему остается место в воображении. Африка осталась для него абстрактным идеалом, неким творческим пространством, куда можно сбежать и где можно творить по своему желанию»²¹³.

Рожденный и выросший на Ямайке, Клод Маккей был куда ближе знаком с колониальной жизнью, но до своей первой поездки в США куда меньше, чем Хьюз, был погружен в расовую проблему. К. Рэмиш, биограф Клода Маккея, придает чрезвычайно большое значение его колониальному происхождению и утверждает, что в своем творческом развитии он проходит путь от британского колониального писателя в изгнании (а изгнание – ключевое понятие вест-индского колониального контекста, предполагающее вольное или невольное, но неизбежное существование «вдали от дома») до черного писателя в поисках собственной идентичности²¹⁴. Примечательно в связи с этим то, что в качестве названия для своей книги Маккей выбирает строку из знаменитого спиричуэлс “Sometimes I Feel Like a Motherless Child”. Таким образом, тезис о повсеместной чужеродности негра, на который мы опирались выше, в случае с Маккеем обретает особую остроту.

²¹³ Harris T. The Image of Africa in the Literature of the Harlem Renaissance. – National Humanities Center. URL:

<http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/freedom/1917beyond/essays/harlem.htm>.

²¹⁴ Ramish K.S., Nirupa R.K. Claude McKay: The Literary Identity from Jamaica to Harlem and beyond. – Jefferson, MS: 2006. P. 175.

Как мы видели, уже во второй половине 1920-х годов Маккей постоянно перемещается по Европе и Северной Африке. «Символическое странствие по черному треугольнику – Карибскому бассейну, Европе-Америке и Африке - стало воплощением его миссии поиска идентичности. Этот “обход” черной диаспоры был актом воображаемого воссоединения», - пишет Рэмиш²¹⁵. В отличие от Хьюза, в чьей поэзии образ Африки связан в первую очередь с прекрасным и недостижимым прошлым, воскрешаемым – или создаваемым? – силой поэтического воображения (стихотворение «Я негр» – “I am a Negro”), Маккей свои «африканские» стихи («Африка», «Призыв: лето 1919-го») строит на явственной оппозиции прошлого и настоящего: великая древняя Африка, давшая начало человеческой цивилизации, предана забвению – но именно сейчас настало время возродить ее в былой славе, и Маккей призывает к этому своих братьев по крови. Эти его стихи написаны задолго до визита в Африку, но продиктованы они искренней верой в воссоединение негритянского народа, которой Маккей не утратил ни до, ни после этого путешествия. Напротив, африканские впечатления лишь утвердили его в этой вере.

Первый визит Маккея в Марокко (осень 1928 года) описывается в автобиографии «Вдали от дома», в главе 26 «Когда негр за своего». В те годы Маккею уже около сорока – между тем Хьюзу во время его путешествия было всего двадцать, так что неудивительны различия в тональности повествования и его фокусировке.

Маккей уделяет очень много внимания политическим и административным нюансам жизни негров в африканских колониях. Он с неприязнью рассуждает о том, как английские и французские колонисты делят сферы влияния, и резко противопоставляет мир колонистов и мир местных жителей: негров, мавров, метисов всех сортов. Сначала описывается жизнь Маккея среди марокканцев, очаровавшие его красочные города, атмосфера непринужденности и вместе с тем мистичности, человеческая

²¹⁵ Ibid. P. 178.

пестрота – и вдруг все это сменяется унижительной историей с полицейскими и выговором, который Маккею сделали в британском консульстве за то, что он ночует у местных, а не в гостинице. С белыми связано все, что Маккею так ненавистно: расовые предрассудки, принуждение, недоверие. Он с презрительным отвращением описывает розовую лысину консула и розовые же прожилки на его «кошачьей мордочке»²¹⁶. Этот случай возвращает его к действительности. Маккей вспоминает о своих злключениях в Лондоне, где он никак не мог снять комнату, и резюмирует: «И даже теперь в Африке мне пришлось давать отпор этому призраку, белому террору, который ни на шаг не отстает от черных. Никуда не скрыться от белого пса Цивилизации»²¹⁷.

Тем не менее, во встрече Маккея с Африкой этот вывод не был главным. Гораздо важнее испытанное им ощущение облегчения, растворения в окружающем мире, обретения *своего круга*, давшее такое показательное название всей главе.

Марокканские мозаики ударили мне в голову, как редкое вино. Взволнованный, опьяненный, очарованный жителями Феса, обаятельным и гостеприимным обращением, я стал здесь совсем своим, местным. Меня приобщили к обычаям непритязательной туземной жизни. Я съехал из своего дорогого отеля и переправил вещи в место поскромнее. Но вот уж не скажешь, что я и впрямь там жил. Ибо дни свои я без остатка посвящал охоте на сокровища города и его окрестностей; я шел по следу крестьян, несших в город свои дары; подмечал, как ведутся торги между азиатами и африканцами; внимал разноцветью акцентов рыночных сказителей. А вечером меня всегда ожидало какое-нибудь развлечение. <...> Впервые в жизни я почувствовал, что полностью освободился от своего “цветного” сознания. Я испытывал чувство, которое, должно быть, сродни физическому довольству тупого животного в окружении сородичей, что живут в согласии с инстинктом, одними ощущениями, ни о чем не задумываясь²¹⁸.

Таким образом, в Африке всюду чувствовавший себя чужим Маккей обретает наяву то чувство близости с другими неграми, на которое так надеялись деятели негритянского ренессанса и в котором разуверились. К. Рэмиш утверждает, что занявшие одиннадцать лет разъезды по Европе и

²¹⁶ McKay C. A Long Way from Home. P. 232.

²¹⁷ Ibid. P. 233.

²¹⁸ Ibid. P. 230.

Северной Африке в итоге дали Маккею представление о чрезвычайно развитом групповом самосознании черного сообщества, убедила в том, что его представителей по всему миру связывает глубокое ощущение внутреннего единства. Это придавало ему сил на новом витке его антирасистской деятельности в Америке²¹⁹. «Африке принадлежит важнейшая миссия: в ней залог единства черного народа. Маккей стал одним из первых писателей Карибского бассейна, показавших Африку как страну-идею, как дом для разбросанных по миру народов, ищущих единения, – а вовсе не как некую геоисторическую область»²²⁰. Между тем Хьюзу, легко сходявшемуся с людьми любых национальностей, Африка этого особого чувства общности не дала, – для него она во многом утратила свое символическое значение «дома черного народа».

Таким образом, и для Маккея, и для Хьюза жизнь и странствия были нераздельны. Подзаголовок «Поброжу и расскажу» - *автобиографическое путешествие* – прямо указывает на то, что Хьюз не только осознавал, что его книга представляет собой некий жанровый синтез, но и вкладывал в это особый смысл: как мы писали выше, видел в путешествии литературную форму, наиболее подходящую для того, чтобы рассказать о себе самом. Для Маккея путешествие тоже имело предельно личный смысл: в рассказ о путешествиях у него полностью укладывается история поиска расовой идентичности. «Дома Маккей себя чувствует, только пока путешествует. Чем дальше он от дома – родного или временного – тем ближе он к пониманию самого себя как путешественника, как члена общества, как мыслителя и политического деятеля, - пишет Джин Эндрю Джаретт. - <...> Маккей и сам сомневался, стоит ли говорить об афроамериканской идентичности применительно к нему. Люди, с которыми он встречался во время своих путешествий, тоже не всегда воспринимали его как афроамериканца. В России с ним близко сошлась одна англичанка, “потому что он родился

²¹⁹ Ramish K.S., Nirupa R.K. Claude McKay: The Literary Identity... P. 169.

²²⁰ Ibid. P. 134.

британским подданным и долгое время жил в Лондоне”. Когда в конце 20-х он оказался в Марокко, представитель британского консульства “привязался” к Маккею, допытываясь, американец ли он. Маккей пишет: “Я отвечал, что родился в Вест-Индии и жил в Соединенных Штатах, и что я американец, хоть и британский подданный, а вообще предпочитаю думать о себе как об интернационалисте”»²²¹. Именно интернационализм помог ему преодолеть раздробленность собственных идентичностей – происхождения, национальности и тех мест, в которых жил, - и взаимодействовать с жителями и культурами многих зарубежных стран. Таким образом, «Вдали от дома» - это документальное описание путешествий Маккея и в то же время полный самоанализа трактат о том, как быть в мире как дома – даже тогда, когда в геокультурном смысле расстояние между тобой и твоими «домами» постоянно увеличивается. Все стадии разрешения этого внутреннего конфликта и отражены в путевых книгах Маккея. Между тем Хьюз активно использует материалы своих путешествий для создания текстов, максимально приближенных к жанру автобиографического романа. **Маккей ставит перед собой некоторую социологическую задачу, а Хьюз – литературную. То, что столь разный подход к осмыслению негритянской судьбы стал возможен в рамках одного жанра – травелога – показывает нам, как сильно тексты Маккея и Хьюза повлияли на расширение границ этого жанра; вспомнив фигурировавшие в главе жанровые характеристики, можем утверждать, что их травелоги вобрали в себя черты не только автобиографии, но также социального исследования, репортажа, ораторского выступления, эссе и даже поэтических форм. Творчество этих писателей отражает смену культурных парадигм в американском обществе - поворот к мультикультурности, без которой немыслима сегодняшняя Америка.**

²²¹ McKay C. A Long Way from Home. P. xxi.

Глава V

Генри Миллер: примирение с Америкой

В нашем анализе Генри Миллер по нескольким причинам занимает особое место. Всем известно, с какой неприязнью, переходящей чуть ли не в отвращение, всегда отзывался Миллер об Америке, и не столько даже собственно об Америке, сколько об американской цивилизации. Он обвинял своих соотечественников в том, что они предали самую идею Америки как страны равенства и справедливости, бездушно использовали и изуродовали данную им прекрасную землю и жестоко обошлись с населявшими ее коренными народами: «Все, что было красотой, смыслом, надеждой, снесено и погребено под лавиной мнимого прогресса. За тысячелетие почти непрекращающихся войн Европа потеряла меньше, чем мы за сто лет “мира и прогресса”. Не чужеземный враг разгромил Юг. Не варварское племя вандалов превратило великие пространства этой земли в безжизненный лунный пейзаж. Мы не можем приписать индейцам превращение мирно почивавшего острова Манхэттен в самый ужасный город мира. Так же, как не можем свалить коллапс нашей экономической системы на толпы мирных трудолюбивых эмигрантов, от которых теперь мы стремимся загородиться. Нет, это народы Европы могут винить других в своих несчастьях, а у нас нет такого извинения - виноваты мы сами»²²².

При этом друг Миллера и автор еще прижизненной его биографии Альфред Перле характеризовал его так: «Забавно, что в своих яростных нападках на Америку Миллер проявляет себя как истинный американец. И его энтузиазм, и его избыточность, и его ребячливость – чисто американского происхождения. Так писать или говорить не способен ни один европеец. Да Генри и не пытается скрывать, что он американец, - думаю, подсознательно

²²² Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 32.

он даже этим гордится. За годы нашей долгой дружбы мне довелось наблюдать бесчисленные проблески его восхитительного американизма»²²³.

С одной стороны, ясно, что видя в Миллере собирательный образ американца, Перле и сам пребывает под влиянием стереотипов, которые сложились к XX веку не только у американцев по отношению к европейцам, но и наоборот. Показателен такой его пассаж: «Я вспомнил, какой странный душевный подъем вызывало во мне одно лишь звучание заморских названий, которыми так и сыпал Генри. Покипси, Мемфис, Амарилло, Мобил, Таксой, Чикамуга, Санта-Фе, Кайенна, Каламазу. Эти названия и по сей день звенят у меня в ушах. В те дни мир не был еще полностью исследован, и этот далекий континент завораживал своей таинственностью; золотой запад не стал еще притчей во языцех. В моем представлении Америка была сказочной страной, чем-то вроде Африки, только повыше рангом, - неизведанным краем фантастических возможностей. Экономика не стала еще единственной заботой мира. Были еще какие-то шансы у романтики, была жива поэзия, и можно было наслаждаться ею не таясь... <...> И Генри Миллер <...> казался мне олицетворением всего, чем манила к себе Америка: ее надежд, ее обаяния, ее тайны»²²⁴.

С другой – биография Миллера с его переездами из Америки в Европу и обратно, манифестируемым повсюду нежеланием жить в США – и одновременно фактом, что именно в США он прожил большую часть своей жизни и скончался, неутрачивая ярость, с которой он критикует Америку, и вместе с тем знание истории собственной страны, демонстрируемое Миллером в американском травелоге «Аэрокондиционированный кошмар», - все это и многое другое указывает на то, что не только взаимоотношения с родиной у Миллера были наиболее яркими и противоречивыми из всех рассматриваемых нами случаев, но и текстами своих в абсолютном

²²³ Перле А. Мой друг Генри Миллер: Дружеская биография / Пер. с англ. – СПб.: Лимбус пресс, 1999. С. 269.

²²⁴ Там же. С. 268-269.

большинстве автобиографических произведений он пользовался как пространством для разрешения трудностей в этих отношениях.

Действительно, отделить художественную прозу Миллера от автобиографической, а автобиографическую от эссеистической довольно трудно, да и бессмысленно. Испытав сильное влияние философии Анри Бергсона и перенеся в свое творчество его идею времени как длительности, потока, Миллер поставил перед собой цель запечатлеть в тексте это время, внутреннее время человеческой жизни. Как пишет А.А. Аствацатуров, современники Миллера, писатели и поэты модернизма, тоже восприняли идеи Бергсона и созвучную им формулу американского философа Уильяма Джеймса о «потоке сознания», но вывели из всех этих порожденных осознанием нелинейности времени концепций прямо противоположные установки. Их целью, по Т.С. Элиоту, стало создание совершенного, замкнутого на себе, правдоподобного (с точки зрения новых представлений о правдоподобии) текста – Миллер же как вершину творчества мыслил освобождение от литературы и обретение собственного «я» и потому тщательно подчеркивал, что он – писатель-любитель, «дилетант», «непрофессионал». А.А. Аствацатуров видит за этой логикой парадоксальное, но, наш взгляд, чрезвычайно верное тождество между взглядами Миллера и установками американских первопоселенцев, о литературных вкусах которых мы писали в первой главе. Действительно, интерес к художественной, «изящной» словесности в первых колониях не поощрялся и в целом отсутствовал – ей противопоставлялись «инога рода поиски, связанные с попыткой осмыслить свое “я”, уловить связь между собой и замыслом» (божественным. – прим. Д.К.)²²⁵. Дальнейшие рассуждения А.А. Аствацатурова о месте документальной литературы в истории США и преемственности Миллера по отношению к ней представляются нам особенно интересными: «Соответственно, они обращались именно к маргинальным, документальным жанрам, избегая те,

²²⁵ Аствацатуров А.А. Генри Миллер: художественное и документальное. С. 105.

что были распространены в европейской художественной литературе. Поэтому неудивительно, что два классических американских текста, с которых подлинная американская литература фактически ведет свой отсчет, отличались документализмом: “История поселения в Плимуте” (1620–1647) Уильяма Брэдфорда и “Автобиография” (1791) Франклина. Р.У. Эмерсон, Г.Д. Торо, несмотря на принадлежность к другой интеллектуальной традиции, также избегали конвенций изящной словесности. Творчество Г.Д. Торо – это не романы, повести и рассказы, а главным образом – записки, заметки, эссе, дневники, дневниковая проза. Миллер, таким образом, создавая почти модернистскую урбанистическую прозу, оказывается наследником исконно американской литературной традиции. В сущности, он ставит перед собой те же задачи, что и авторы, стоявшие у истоков литературы США»²²⁶.

В своей монографии о Миллере А.А. Аствацатуров более подробно рассматривает связи Миллера с представителями американского Ренессанса, и хотя прежде всего он указывает на преемственность Миллера по отношению к Уитмену, нам наиболее важными представляются параллели, возникающие между Миллером и Торо – параллели настолько существенные, что это сказывается даже на стилистике и поэтике этих авторов, которые, как уже ясно, были не слишком озабочены вопросами формы и совпали здесь скорее бессознательно, вследствие своих взглядов. Наиболее существенной во всем этом нам представляется мысль о Миллере как прямом наследнике сначала первопоселенческой, а затем романтической традиции, пусть она и кажется на первый взгляд парадоксальной. В основе этой традиции, как мы и писали в первой главе, - синтез проповеди и личного документа; ниже будет показано, как легко в травелогах Миллера исповедальность переходит в проповедничество. Если прочие писатели-путешественники трансформируют канон американского травелога, то Миллер развивает его до логического

²²⁶ Там же. С. 105-106.

предела – и тем самым приходит к новой литературной форме, в которой документальное и вымышленное неотделимы друг от друга.

В первую очередь исследователи стремятся дать определение автобиографическому герою Миллера. Джеймс Декер пишет: «Пускай он и не уставал, в пику критикам (особенно известен случай с Эдмундом Уилсоном), повторять, что у него нет никаких “героев” и что все происходящее в его текстах есть отражение “реальной жизни” - Миллер постоянно подтасовывает слова и приемы, желая повисить в наших глазах значимость совпадений и параллелей и сотворить персону, имеющую весьма мало общего с настоящим Генри В. Миллером. <...> “Автобиографические романсы” Миллера <...> есть ничто иное как попытка длиною в жизнь сочинить некий мифопоэтический образ самого себя и его же осмыслить»²²⁷. Подобным образом, размышляет Декер, Миллеру удастся добиться реализма «не фотографического, а психологического». Осмелимся предположить, что в представлении Миллера подобная «подтасовка» ради достижения психологической достоверности не содержит в себе никакого противоречия. «Дело не в том, что он (сам Миллер. – прим. Д.К.) не имеет отношения к тому Генри Миллеру, который является главным героем его книг, - рассуждает Норман Мейлер о взаимоотношениях писателя и его автобиографического героя. – Если пытаться определить главного героя, *тот* Генри Миллер будет наиболее точным определением. Нет, настоящий Генри Миллер, скажем так, Миллер во плоти <...> очень мало отличается от Генри Миллера из его произведений. Как будто он – лист кальки, который наложили на рисунок, выполнили на нем копию, а потом повернули всего на градус»²²⁸.

При этом Миллер на протяжении почти всей своей жизни путешествовал, а значит, рассказывая о себе, он рассказывает и о своих странствиях. Более того, образ дороги имеет для него большое значение в

²²⁷ Decker J.M. Henry Miller and Narrative Form: Constructing the Self, Rejecting Modernity. – New York and London: Routledge, Taylor & Francis Inc., 2005. P. 11.

²²⁸ Mailer N. Genius and Lust: a Journey through the Major Writings of Henry Miller. – New York: Grove Press, 1976. P. xii.

метафизическом смысле. «Миллер, как и Бергсон, ассоциирует сознание с путем, с дорогой, с улицей, непрерывно продолжающейся и длящейся во времени. Важно учитывать, что расстилающаяся дорога (улица) в миллеровских текстах, вполне по-бергсоновски, подлинным “я” человека, который не движется по чужому маршруту, а сам прокладывает путь, является этим путем, совпадает с ним»²²⁹. Именно поэтому близость к травелогу даже «статических» текстов, таких как «Тропик Рака», который по сути является очерком Парижа, у Миллера кажется такой естественной. В то же время у Миллера имеются вполне осознанные, изначально создававшиеся в рамках литературы путешествий травелоги – это «Колосс Марусийский» (о Греции) и «Аэрокондиционированный кошмар» (о США). Именно их мы и рассмотрим здесь подробно.

В Грецию Миллер отправился по приглашению своего друга Лоренса Даррелла, жившего на Корфу с 1935 года. 14 июля 1939 года на пароходе «Теофиль Готье» Миллер отплыл из Марселя в Афины, по дороге проводит несколько часов в Неаполе и Помпеях. Затем на том же пароходе перебирается на Корфу. После августовского переезда в Афины, осенью 1939-го Миллер дважды отправляется в поездку по стране. В первый раз он посещает Гидру, Порос, Науплию, Микены, Дельфы, Крит; компанию ему составляет греческий поэт и издатель Георгос Кацимбалис, которому и посвящен весь очерк, названный тоже в его честь (Кацимбалис жил в городе Амаруссион, или Марусси). Беседы с Кацимбалисом составляют значительную часть травелога, и в них Миллер во многом открывает для себя столь близкий ему греческий взгляд на мир. Во второй раз Миллер вместе с четой Даррелов и еще одним греческим другом, художником Гикесом, путешествует по Пелопонессу (значительную часть очерка составляет описание Спарты). Пока Миллер в Греции, происходит значительное событие: в ноябре состоялась первая самостоятельная публикация Миллера в

²²⁹ Аствацатуров А.А. Генри Миллер и его «парижская трилогия». – М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 81.

США. Это сборник «Космологический глаз», включающий в себя целиком парижский сборник «Макс и белые фагоциты» и отрывки из «Тропика Козерога» и «Черной весны», а также некоторые эссе. Рецензии на сборник выходят в сорока американских периодических изданиях. Миллер, так долго ожидавший публикации на родине, не мог не испытать по этому поводу воодушевления. Теперь в Америке он мог считаться не просто неизвестным бродягой, а писателем – пускай и малозаметным.

Наконец 5 декабря 1939 года в связи с нарастающей военной угрозой всем находящимся в Греции американцам предписывается возвращение в США. Миллер обращается к американскому консулу с просьбой позволить ему остаться в любимейшей Греции или хотя бы уехать в какое угодно другое место – лишь бы не в Америку – но получает отказ, и 27 декабря на грузовом судне «Эксохорд» отплывает в Нью-Йорк. Во вступлении к «Аэрокондиционированному кошмару» Миллер описывает свое тогдашнее состояние как противоречивое: с одной стороны, он почти надеялся по-новому взглянуть на Америку, испытать к ней после долгой разлуки какие-то теплые чувства, с другой – в первые же минуты Нью-Йорк поверг его в такой ужас, что он был готов вернуться в Европу на том же самом корабле, даже не сходя на берег.

Дело в том, что полгода, проведенные в Греции, стали для Миллера не просто очередным новым опытом, очередным путешествием – судя по всему, и на это указывают также Уильям Гордон и А.А. Аствацатуров, этот эпизод стал переломным в его биографии. Сложившийся урбанист, Миллер испытал в Греции опыт единения с природой, который прежде представлялся ему в текстах того же Торо пусть и интригующим, но чрезвычайно умозрительным. Новое понимание одиночества повлекло за собой усугубление фиксированности на собственном «я» и, как следствие, усиление документального начала в его творчестве. Поездка по Греции породила текст, в котором этот переход особенно заметен; «воздействие греческого

путешествия на Миллера оказалось, в конечном счете, парадоксально антилитературным»²³⁰.

Если Даррелл, горячо любивший Грецию, с беспокойством следит за событиями в мире и в августе 1939-го перебирается вместе с семьей и Миллером в Афины, поближе к центру политической жизни страны, где мог бы оказаться полезным, то сам Миллер приезжает в Грецию с целями прямо противоположными: он хочет оказаться подальше от Европы и от политики, а в Греции собирается отдыхать от всякой деятельности, даже литературной: «За ужином Миллер торжественно сообщает друзьям свою программу действий. Вернее, “бездействий”. В Греции он не только не напишет ни строчки, но, хотя война вот-вот начнется (а может, именно поэтому), не станет слушать радио и читать газеты: чего не знаешь, того и нет»²³¹. Повстречавший Миллера за несколько лет до того Оруэлл был поражен его равнодушием к событиям в Испании: «Более всего меня озадачило в нем то, что он не испытывал никакого интереса к испанской войне. Не стесняясь сильных выражений, он заявил, что ехать сейчас в Испанию – это безумство. Еще понятно, продолжал он, когда туда стремятся из чисто эгоистических побуждений, движимые, например, любопытством, но ввязываться во все это из чувства долга — отъявленная глупость. Все мои идеи насчет борьбы с фашизмом, защиты демократии и т. п. — сущий вздор. Наша цивилизация неминуемо будет сметена с лица земли, а на ее место придет что-то абсолютно невообразимое, лежащее за пределами человеческого, — такая перспектива, добавил он, его не тревожит. Это отношение повсюду заметно и в его творчестве. Там то и дело распознается предощущение близости катаклизма и так же сильно чувствуется безразличие автора к этому»²³².

Оруэллу подобное отношение к событиям в мире, естественно, представляется, легкомыслием и эгоизмом, и, обвиняя Миллера в пацифизме

²³⁰ Gordon W.A. *The Mind and Art of Henry Miller*. – Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1967. P. 181.

²³¹ Ливергант А.Я. *Генри Миллер*. – М.: Молодая гвардия, 2016. С. 156.

²³² *Современники о Генри Миллере*. Дж. Оруэлл. С. 710.

и аполитичности, обвиняет он его и в безответственности. Миллер и сам осознавал, что его нежелание высказываться на подобные темы вызывает у людей вопросы, и адресовал им в «Аэрокондиционированном кошмаре» такую отповедь: «Я заговорил о войне потому, что по возвращении из Европы у меня постоянно допытывались, что я думаю о тамошней ситуации. Будто бы простой факт, что я прожил там несколько лет, мог наполнить мои слова глубочайшим смыслом! <...> А вообще-то я хочу сказать вот что — я, урожденный американец, ставший тем, кого называют эмигрантом, смотрю на мир глазами приверженца ни этой страны, ни той, но как обитатель всего шарика. Оттого, что мне случилось здесь родиться, я не обязан считать американский образ жизни наилучшим; то, что я предпочел жить в Париже, вовсе не значит, что я должен расплачиваться своей жизнью за ошибки французских политиканов»²³³. Каролина Блайндер указывает на то, что Миллер, осознавая форсированную политизацию отдельных художников и целых художественных течений своего времени, о которой мы много рассуждали во Введении и первой главе, противопоставлял им не только подобные программные высказывания — он противостоял этому процессу «своей концепцией сексуальности и, шире, индивидуализма»²³⁴, реализовывавшейся в первую очередь в языковой и жанровой природе его текстов.

Возможно, именно такое самовосприятие — как аполитичного «гражданина мира» — и подготовило Миллера к встрече с Грецией, давно утратившей статус центра западной цивилизации и потому находящейся как бы на отшибе истории, что и восхитило его в ней больше всего. Примечательно, что стремление дистанцироваться от «большой истории» А.А. Аствацатуров называет типической чертой американцев вообще,

²³³ Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 15.

²³⁴ Blinder C. A Self-Made Surrealist. Ideology and Aesthetics in the Work of Henry Miller. — New York: Camden House, 2000. P. 2.

свойственной им как раз до 40-х гг.²³⁵ Миллер, неоднократно с гордостью подчеркивавший, что он «принадлежит к веку иному», не утратил этой «типично американской черты» и после 40-х, находя подлинное удовлетворение в опыте отшельничества, одиночества, созерцания, способность к которому открылась ему, как полагает А.А. Аствацатуров, именно после путешествия по Греции²³⁶. Впрочем, на это указывает и сам Миллер – вполне осознавая, что подобное «высокое», благотворное одиночество является особым состоянием души: «В Афинах я пережил радость уединения; в Нью-Йорке всегда чувствовал одиночество зверя в клетке»²³⁷.

«Прожив полгода в Греции, Миллер воочию убедился, как был неправ, когда писал Дарреллу, что он “не слишком большой поклонник сей почтенной цивилизации”, - пишет А.Я. Ливергант. - Греция для Миллера – это примерно то же, что острова Самоа для Стивенсона, или Таити для Гогена, или Мексика для Дэвида Герберта Лоуренса. <...> На Миллера Греция произвела впечатление “оазиса среди бесплотной пустыни европейской цивилизации”, где материя и дух пребывают в неразрывном единстве, где царит спасительная анархия и постоянно возникает ощущение исчезновения времени и пространства»²³⁸. «В Греции, чувствует Миллер, вообще ничто не существует в отдельности, и ему оказалось по силам воспроизвести это ощущение», пишет один из первых исследователей Миллера, Уильям Гордон, вполне резонно указывая на то, что именно поэтому любой конкретный разговор об этой книге, любая попытка раззять ее на составляющие представляется фальсификацией авторского замысла²³⁹.

²³⁵ Аствацатуров А.А. Генри Миллер: художественное и документальное. С. 106.

²³⁶ Аствацатуров А.А. Генри Миллер и его «парижская трилогия». С. 45; 52-53

²³⁷ Ливергант А.Я. Генри Миллер. С. 154.

²³⁸ Там же. С. 153.

²³⁹ Gordon W.A. The Mind and Art of Henry Miller. P. 181.

Гордон тоже утверждает, что «покой», испытанный Миллером в Греции, был для него абсолютно новым переживанием²⁴⁰.

В связи с этим восхищение Миллера Грецией представляется вполне предсказуемым. Все его творчество исполнено тоски по якобы бытовавшему некогда единению человека и природы, по первобытной раскрепощенности, по примитивизму и анархии. Склонностью того или иного народа или отдельно взятого человека к подобным ценностям Миллер мерил их достоинство. Именно поэтому сравнения с Грецией в «Колоссе Марусийском» не выдерживает ни одна страна, даже любимая Франция: «Во Франции, в отличие от Греции, как и повсюду в западном мире, связь между человеческим и божественным разорвана. Англичанин в Греции – это “насмешка и оскорбление для глаз: он не стоит и грязи между пальцами ног греческого бедняка”»²⁴¹. Восхищенных эпитетов достаивается буквально все, и в «священной стране», «центре Вселенной», на «лучезарном перекрестке меняющегося человечества» (все это – лишь немногие из определений, которыми Миллер награждает Грецию) прекрасны даже тараканы, клопы и полуразвалившиеся здания²⁴². Даже разруха (вернее сказать: именно разруха) Миллеру представляется следствием и проявлением подлинной мудрости, умения жить по-настоящему. «Раньше Миллера интересовали отношения человека и природы. В Греции, - пишет Гордон. – В картину мира добавился новый элемент, и человек стал восприниматься как проводник между природой и божественным началом»²⁴³.

Миллер столь щедро награждает Грецию самыми восторженными эпитетами, что некоторых критиков, например выступившего в таком амплуа Нормана Мейлера, это наводит на определенного рода подозрения. Анализируя творческий путь Генри Миллера, Норман Мейлер предполагает, что основным импульсом этого пути было преодоление внутреннего

²⁴⁰ Ibid.

²⁴¹ Ливергант А.Я. Генри Миллер. С. 154.

²⁴² Там же.

²⁴³ Gordon W.A. The Mind and Art of Henry Miller. P. 181.

конфликта с Америкой, стремление «завоевать» ее, доказать Америке свою значимость. Действительно, полунищая жизнь, которую вел в США Миллер, «невписанность» его в систему американских ценностей и амбиций начала XX века привели к тому, что на родине Миллер воспринимался как неудачник – и до отъезда в Европу, и после возвращения, когда имя Миллера было известно уже всему западному миру, за исключением его же родной страны, и некоторые даже называли его крупнейшим американским писателем своего времени. В связи с этим Мейлер расценивает «Колосса Маруссийского» как компромисс, как попытку написать нечто менее провокационное и резкое, нежели «Тропик Рака», «подкупить» американскую публику лирическим, безоблачным текстом чуть ли не утопического характера. «“Колосс Маруссийский” – прелестная книга, чарующая книга; у нее репутация вообще одной из лучших путешестввеннических книг на свете, - может быть, так оно и есть. А может быть, и нет. Она чуть не захлебывается в восторгах, она на все лады трезвонит славословия, и время от времени вообще уплывает из виду та местность, на фоне которой разворачивается эта духовная аналогия старой доброй эрекции. Читаем дальше – и вот уже книга вызывает у нас кое-какие подозрения. Слишком уж она сладенькая. Является неприятная мысль, что во всем этом был, пусть бессознательный, но расчет: благочестивейший дух англо-американской литературы втянули в какую-то хитрую коррупционную заварушку»²⁴⁴. Мейлер в подробностях останавливается на скрытой конкуренции, которая существовала между Миллером и его куда более широко признанными современниками – Хемингуэем и Дос Пассосом. «Не исключено, что при подобных обстоятельствах он решился на компромисс и написал книгу, которую можно было бы издать в Америке. Но ирония в том, что именно эта книга ну никак не давала ему ходу в какие бы то ни было литературные соревнования. Вы не можете выиграть первенство Америки по литературе с книжкой про Грецию – ну разве что всю Грецию наводнили бы

²⁴⁴ Mailer N. Genius and Lust... P. 395.

орды американцев, а не был бы там один преисполненный эйфории Генри Миллер. “Колосс Маруссийский” стал его жертвенной песнью во славу общественных устоев, и это, как уже было сказано, прелестная книга и первое произведение Миллера, которое можно было бы показать восьмидесятилетней матери служителя Первой Епископальной церкви... <...> Но писал эту книгу другой Генри Миллер»²⁴⁵.

Ливергант согласен с Мейлером относительно издательской судьбы книги в Америке: «Греция, в отличие от Америки, американского читателя, да еще в преддверии большой войны, интересует не слишком, многие соотечественники Миллера даже нетвердо знают, где эта экзотическая страна находится»²⁴⁶. По-прежнему вызывает множество вопросов и характерная эссеистичность, и тяготение к потоку сознания, свойственные прозе Миллера. Редактор нью-йоркского издательства «Алфред А. Кнопф» Гарольд Штраусс, например, не рекомендовал своему издательству печатать эту книгу и аргументировал этот совет так: «Определить жанр этого произведения непросто. Казалось бы, это путевой очерк, и, однако ж, это не более чем брюзжание мистера Миллера о жизни, искусстве и философии»²⁴⁷. Но если для Гарольда Штраусса подобное «брюзжание» - очевидный недостаток, то современный читатель усмотрит в нем следование новаторским тенденциям времени и параллели с экспериментальной прозой прошлого: «О Греции, прочитав этот растянувшийся страниц на триста путевой очерк, читатель узнает немногим больше, чем, скажем, о Франции из “Сентиментального путешествия по Франции и Италии” Лоренса Стерна, которого, к слову, Миллер терпеть не мог. <...> Дело в том, что, как и Стерн, Миллер “путешествует” не столько по городам и весям, сколько по своим идеям, образам и фантазиям»²⁴⁸. Это суждение вполне согласуется со

²⁴⁵ Ibid.

²⁴⁶ Ливергант А.Я. Генри Миллер. С. 159.

²⁴⁷ Там же. С. 152.

²⁴⁸ Там же.

сказанным выше относительно идентичности для Миллера понятий сознания и дороги как таковых.

Словом, в Америке «Колосса Маруссийского» блестящая издательская судьба не ожидала: в одном только Нью-Йорке рукопись была отвергнута в более чем десяти издательствах. В интервью 1961 года, которое Миллер давал Джорджу Уиксу для книги «Лоренс Даррелл и Генри Миллер» и которое было напечатано в “Paris Review” в 1962 году, Миллер называл своей лучшей книгой именно «Колосса Маруссийского» - и, что интересно, тоже признавал, что писал ее какой-то «другой Генри Миллер»: «“Колосса” же писал совсем другой человек (по сравнению с «Тропиком Рака». – прим. Д.К.). Это радостная книга, она заряжена радостью, дарит радость – это мне в ней и нравится»²⁴⁹. Именно поэтому Миллера, по его собственным словам, не удивил неуспех книги в Америке: ведь «в Америке искусству нет места».

Близкие нам рассуждения А.А. Аствацатурова и А. Перле о парадоксальной «американскости», «традиционности» Миллера наводят в связи с этим на вопрос: почему автор, столь тесно и напрямую связанный с национальной литературной традицией, никак не мог «прижиться» у себя на родине, даже если речь не шла о тех или иных «скандальных» его произведениях? Приходится признать, что американскую традицию «нелитературного», «непрофессионального» письма Миллер развил до ее логического предела, прямым следствием чего стал его *выход* за рамки литературы; это, с одной стороны, и являлось его целью, а с другой – закрыло его тексты для массового читателя, которого в литературе привлекает именно ее искусственность, сконструированность, обобщенность. Миллер же создал предельно автобиографического героя (с отличием «всего в один градус» от себя самого), с которым именно поэтому очень трудно солидаризироваться. И пускай, согласно А.А. Аствацатурову, Миллера привлекал не крайний субъективизм американских романтиков, а восточное представление о всеобщей воле, выражением которой может стать художник,

²⁴⁹ Там же. С. 250.

все же его сосредоточенность на самом себе многим читателям, несомненно, помешала его услышать.

Если мы обратимся к периодике, в которой освещались (впрочем, довольно скудно) путевые книги Генри Миллера, то мы увидим, что критики воспринимают его как писателя чересчур эксцентричного и интеллектуального; кажется, сам факт, что тот или иной критик вообще знает о существовании Миллера, уже является признаком некоторой избранности. В кратком книжном обзоре газеты “Wisconsin State Journal” за 19 октября 1941 года говорится: «Этой осенью в издательстве “Кольт-пресс” вышла книга с примечательным названием – “Колосс Маруссийский” - Генри Миллера, чьи романы “Тропик Рака” и “Тропик Козерога” не опубликованы в Америке, потому что, как выражаются в редакции “Кольт”, “ни один издатель в Америке еще не очумел настолько, чтобы рискнуть выпустить эти несомненные шедевры – до того поперек горла порой становится грубая откровенность авторского языка”». Мы видим, что в этой заметке одна тема подменяется другой и речь идет вовсе не о «Колоссе Маруссийском», а о скандально известных, запрещенных романах. Неоднозначно оценивает греческое путешествие Миллера и обозреватель австралийской газеты “The Age” (многословно, не в пример американскому коллеге) в феврале 1943-го: «Если вам по душе смотреть на другие страны глазами ни в чем не знающего смущения нью-йоркца, который щедро сдабривает свой рассказ байками, не всегда идущими к делу комментариями, внезапными переходами с одного на другое и буйными шуточками, тогда вы найдете “Колосса Маруссийского” Генри Миллера прелестным способом скоротать досуг – настоящим средоточием остроумия и пронизательности. Издатели Миллера называют его “одним из наиболее выдающихся мастеров пера наших дней”, и при нем, что верно то верно, неотступно дежурит бравая команда метких словечек. У него имеется уже девять книг, <...> и восемь из них, как нам говорят, – между прочим, у всех уже есть названия! – находятся “в процессе написания”. Подобные заявления могут свидетельствовать о выдающемся

прозаическом мастерстве, а могут и не свидетельствовать; во всяком случае, свидетельством хорошего литературного вкуса они могут служить едва ли»²⁵⁰. Впрочем, далее рецензент вполне благожелательно отзывается о греческом травелогге, приводит цитаты и наконец резюмирует: «У мистера Миллера, конечно, есть свои странности – но писать он умеет»²⁵¹.

Пока Миллер пытался пристроить рукопись «Колосса», ему посоветовали написать другую книгу о путешествии, более перспективную с точки зрения запросов книжного рынка, - об Америке. Идея эта ему понравилась, и весной 1940 года он договорился о будущей книге с издательством «Даблдей энд Доран», и ему выдали аванс в 750 долларов на автомобильное путешествие по США, которое впоследствии должно было превратиться в книгу очерков. В октябре 1940 года Миллер отправляется в путешествие вдвоем с художником Эйбом Раттнером, хотя в издательстве поставили условием, что путешествовать он будет один; вдвоем они покупают автомобиль («Мало-помалу мы эволюционировали до идеи, что надо брать машину. Единственный способ увидеть Америку — проехать ее всю на автомобиле, это вам все скажут. Конечно, это неправда, но звучит восхитительно»²⁵²), Миллер берет несколько уроков вождения и они отправляются в путь.

В путь по Америке Миллер пускался с чрезвычайно противоречивыми чувствами. С одной стороны, пишет Герберту Уэсту: «Хочу, если получится, влюбиться в эту страну. Если, конечно, она не слишком кондиционирована»²⁵³ (именно эта фраза из письма впоследствии дала книге название). С другой – признается в письме Анаис Нин: «Мне хотелось бросить последний взгляд на свою родину и покинуть ее без дурного осадка во рту»²⁵⁴. С одной стороны, намеревается написать «путевой очерк, и ничего

²⁵⁰ A Wanderer Romances // The Age. 1943. February 13. P. 5.

²⁵¹ Ibid.

²⁵² Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 12.

²⁵³ Ливергант А.Я. Генри Миллер. С. 159.

²⁵⁴ Там же. С. 162.

больше; ничего предвзятого». С другой – «не собирается изображать Америку такой, какая она есть» и «предлагает свою личную реакцию на увиденное»²⁵⁵. С одной стороны, рассуждает в письме Анаис Нин: «Я нисколько не сомневаюсь, что мне давно пора научиться принимать Америку такой, какая она есть». С другой, признается в том же письме: «Я не способен себя переделать, справиться со своей предвзятостью»²⁵⁶. При всем при этом желание написать книгу об Америке, как пишет Миллер в начале «Аэрокондиционированного кошмара», не оставляло его еще с парижских времен, он видел в этом и занимательное «воображаемое путешествие» и следствие своего положения «блудного сына». Таким образом, мы видим, насколько важными были для Миллера и это путешествие, и эта книга. Идеи знакомой Миллера, анархистки Эммы Гольдман, критиковавшей саму идею патриотизма, были чрезвычайно близки Миллеру, которому патриотизм был «органически чужд»²⁵⁷. При этом А.А. Аствацатуров называет «бегство Миллера из Америки в Европу, из Нью-Йорка в Париж, затем в Грецию, затем на калифорнийское побережье» «чисто американским проектом»: «возможность “просто жить”, быть “на стороне жизни”, проживать именно свою жизнь, а не навязанную интеллектуальную схему Уитмен и Миллер неразрывно связывают с Америкой. <...> Осознание собственной “американскости” в этом непреодолимом стремлении “просто жить” пришло к Миллеру лишь в Биг-Суре. Прочитывая Уитмена, Миллер пафосно признается в собственном патриотизме»²⁵⁸.

Вероятно, повторяющееся и многословное озвучивание самим Миллером всех этих противоречащих друг другу настроений являлись в каком-то смысле частью его образа (того самого, по Декеру) и, возможно, в немалой степени предопределили результаты его путешествия по Америке.

²⁵⁵ Там же. С. 163.

²⁵⁶ Там же.

²⁵⁷ Аствацатуров А.А. Генри Миллер и его «парижская трилогия». С. 26.

²⁵⁸ Там же. С. 59.

Примечательно, что хоть Миллер и путешествовал в компании – как и Драйзер во время своего американского путешествия, что в полной мере отразилось в тексте его травелога, - в «Аэрокондиционированном кошмаре» речь идет практически исключительно о нем самом, в центре повествования – «я» рассказчика, и если не читать книгу с начала и до конца, то может создаться ощущение, что он путешествует в одиночестве. Акцентируя важность греческого опыта для развития темы одиночества в творчестве Миллера, А.А. Аствацатуров пишет: «Одиночество для него теперь <...> поступок, требующий осознанного усилия, внутренний подвиг, необходимый человеку для осмысления себя»²⁵⁹. Путешествие Миллера по Америке, как ясно из приводившихся выше цитат, можно определить теми же словами, и условность этого «я» оказывается тем самым, о чем Джеймс Деккер писал: «Миллер способен перемешать события своей жизни так, что в получившемся узоре не останется фотографического реализма – но в нем будет реализм психологический»²⁶⁰.

Из Нью-Йорка Миллер и Раттнер едут в южные штаты, затем через Техас в Калифорнию, затем из Калифорнии через Чикаго и район Великих озер – назад на восток. Впрочем, сначала Миллер успел добраться только до Миссисипи – в феврале 1941-го ему пришлось самолетом возвращаться домой на похороны отца. С марта по октябрь 1941-го Миллер снова в пути, на этот раз он проезжает по Среднему Западу и добирается до Калифорнии, где по двум причинам остается до осени: приступает к работе над новым путевым очерком и ожидает корректуру «Колосса Маруссийского» из вышеупомянутого сан-францисского издательства «Кольт-пресс», с владельцем которого, Уильямом Ротом, здесь же договорился о публикации. В октябре 1941-го Миллер возвращается в Нью-Йорк, но через полгода, весной 1942-го, уже навсегда перебирается на любимившееся ему Западное побережье.

²⁵⁹ Там же. С. 53.

²⁶⁰ Decker J. Henry Miller and Narrative Form... P. 13.

Из приводившихся выше высказываний Миллера о США очевидно, что судьба Америки и очевидный для него «провал» этой цивилизации (впрочем, Миллер отрицал любую цивилизацию и, вслед за Шпенглером, считал понятия «цивилизация» и «культура» противопоставленными одно другому) глубоко его волнует. Нам представляется, что причиной тому был искренний идеализм Миллера, для которого особенно болезненным было именно то, что Америка не состоялась как идея: «Дивный мир могли бы создать на новом континенте, если б на самом деле бежали от наших ближних в Европе, Азии и Африке. Прекрасный новый мир получился бы, наберись мы смелости повернуться спиной к старому, выстроить все заново, вытравить из себя яд, накопившийся за столетия жестокого соперничества, зависти и распрей. Новый мир не создать всего лишь стараниями забыть о старом. Новый мир создается новым духом и новыми ценностями. Наш мир мог начаться именно так, но сегодня все окарикатурено. Наш мир — мир вещей. <...> В нашей позиции нет ничего смелого, рыцарственного, героического и великодушного. Мы вовсе не миролюбивые люди; мы самодовольны и робки, у нас слабые желудки и трепещущие души»²⁶¹. В сущности, Миллер сам осознает собственный идеализм как помеху попыткам приспособиться к жизни на родине. Своими учителями он называет отнюдь не европейских мыслителей, а именно американских мечтателей-переселенцев: «Себе на горе я был вскормлен грезами и пророчествами великих американцев, поэтов и провидцев. Но победила какая-то другая порода людей. Мир, фабрикуемый ими, вселяет в меня страх. Я вижу, как он набирает силу; я могу читать его, как читают чертежи. Я не хочу в нем жить. Этот мир маниакально одержим идеей прогресса — поддельного прогресса, зловонного прогресса. <...> Мечтателю, чьи мечты никак не могут пойти в дело, нет места в таком мире. Выбраковывается любой, кто не предался миру купли-продажи, предпочтя ему творчество, идеи, принципы, фантазии и надежды. В таком мире поэт — отщепенец, мыслитель — сумасшедший, художник — изгой, а ясновидящий —

²⁶¹ Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 15.

проклят»²⁶². Таким образом, сам Миллер указывал на свою мировоззренческую близость к американским первопоселенцам, между тем как А.А. Аствацатуров обнаружил следствие этой близости – литературную преемственность.

Рассуждая об упадке Америки, он постоянно напирал на то, что на этой земле нет места романтике, подвигу, рыцарственности, служению красоте. При этом говоря об американцах, он уже использует местоимение «мы»; он считает себя частью американского народа и обращается к нему с этой позиции, развенчивая «неверный», как он его понимает, путь к прогрессу и счастью²⁶³. Как и Драйзер, он берет на себя роль глашатая поколения, его судьбы, и из-за этого почти все фрагменты его прозы, посвященные Америке, а «Аэрокондиционированный кошмар» и вовсе почти целиком зачастую превращаются из простой эссеистики, автобиографической прозы или травелога в публицистику. Миллер обращается к своей нации с проповедью, в точности как это делали до него священники первопоселенцев, Мелвилл и Уитмен, трансценденталисты Эмерсон и Торо. В травелоге «Аэрокондиционированный кошмар» Миллер выступает как наследник американской публицистической традиции, специфика которой состоит в ее близкой соотнесенности с традицией религиозной риторики. Он пророчествует: «Большие перемены произошли с Америкой, тут не о чем было спорить. Но я чувствовал, что приближаются еще большие. Мы были свидетелями только прелюдии к чему-то невообразимому. Все скособочилось и кренится все больше и больше. Может быть, мы вообще закончим на четвереньках, гугукая и взвизгивая, как бабуины»²⁶⁴. И пусть и в пророчествах, и в оценках Миллер часто повторяется, по всей видимости, его опасения были искренними.

²⁶² Там же. С. 22.

²⁶³ Там же. С. 18.

²⁶⁴ Там же. С. 11.

Газетные отклики на «Аэрокондиционированный кошмар», опять-таки не слишком многочисленные, вполне отвечали этому проповедническому тону. Вот что, например, написал в сентябре 1944 года в заметке под примечательным названием «Интеллектуал-пессимист» обозреватель Макс Шпиндер для газеты “Philadelphia Inquirer”: «Что больше всего тревожит, конечно, так это то, что очень со многими суждениями мистера Миллера мыслящий читатель не может не согласиться»²⁶⁵. А в декабре 1945 года в той же газете критик Гарри Хоффман опубликовал полноценный обзор книги, в котором есть и такие пассажи: «Генри Миллер – имя, которое на все лады повторяют в закрытых кружках интеллектуалов и которое при этом совершенно неизвестно широкой публике. Доступ к главным произведениям Миллера – дело непростое, полуподпольное (так уж устроены наши законы), и все же уважаемые критики с ничуть не меньшей ясностью, чем полубезумные обожатели, различают в них следы замечательного писательского таланта. <...> Что касается этой книги, она – рассказ о том, как Миллер переоткрывал для себя Америку. И все, что чрезвычайно многословно пишет мистер Миллер об Америке, можно выразить всего в четырех словах: она ему не нравится. <...> Среднестатистическому читателю, когда уляжется в нем первое потрясение, все это нескончаемое нытье может показаться скучноватым. <...> И все-таки в его словах много правды. Абсолютное большинство американцев книга Миллера взбесит; и все же многих она наверняка заставит задуматься»²⁶⁶. Аннетт Бакстер, подробно проанализировавшая «Аэрокондиционированный кошмар» в книге «Генри Миллер – экспатриант», писала, что после выхода этой книги в 1945 году на Миллера обрушился двойной огонь критики. «Кое-кого особенно пугал тот эффект, который книга могла оказать на поколение, чьи ценности уже были расшатаны участием в очередной мировой войне и чья

²⁶⁵ Shpinder M. Pessimistic Intellectual // The Philadelphia Inquirer. 1944. September 17. P. 37.

²⁶⁶ Hoffman H. America Viewed as a Land of Lost Opportunities // The Philadelphia Inquirer. 1945. December 30. P. 37.

верность родине подверглась особой проверке столь близким знакомством с Европой. Филип Уайлер предсказывал: “Люди, смыслящие кое-что в эти делах, заверили меня, что ‘Кошмар’ станет Библией для нового, послевоенного поколения писателей и художников Америки...”²⁶⁷ Следует понимать, что книга Аннетт Бакстер писалась в 1961 году, еще при жизни Миллера и во время культурной революции 60-х, поэтому нам столь высокая оценка книги и сравнение ее с Библией и представляются преувеличением.

Реакция Миллера на разные уголки США была примерно одинаковой: природа прекрасна, города и их обитатели чудовищны. Исключение Миллер делает для Юга, который, по его мнению, может, и был способен стать подлинным центром американской культуры, если бы не был побежден в Гражданской войне и насильно индустриализирован впоследствии: «За десять тысяч миль, что я проехал, я могу назвать лишь два города, на некоторые кварталы которых я бы взглянул еще раз — я имею в виду Чарлстон и Новый Орлеан. Что касается других городов, городков и поселков, попадавшихся мне на пути, всей душой надеюсь никогда не увидеть их снова»²⁶⁸. С грустью созерцает Миллер отголоски европейского образа жизни в Луизиане, Джорджии и Алабаме. Нравится ему и в Калифорнии – потом Миллер именно там и обоснуется, купив дом в Биг-Суре. Ни в чем, что было произведено человеком за все время освоения Америки, эта страна не может сравниться со Старым Светом. «Сомнительно, чтобы этот континент когда-либо завещал миру нечто подобное бессмертному величию священных городов Индии. Скальные жилища на Юго-Западе - вот, пожалуй, единственная рукотворная вещь в Америке, которая может расшевелить в человеке эмоции, отдаленно напоминающие те, что руины других великих народов вызывают в путешественнике»²⁶⁹. Подробный перечень нелестных эпитетов, которыми Миллер награждает

²⁶⁷ Baxter A.K. Henry Miller, Expatriate. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1961. P. 13-14.

²⁶⁸ Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 31.

²⁶⁹ Там же.

посещенные им города, приведен в биографии Ливерганта. Мы же хотим обратить внимание на то, как соотносятся эти описания с письмами Миллера Анаис Нин, которые он писал ей во время этой поездки ежедневно.

Сопоставление писем дает нам возможность убедиться в том, насколько и в самом деле мала дистанция между Генри Миллером в реальности и Генри Миллером как неизменным персонажем его собственных книг. В сущности, письма к Анаис можно считать черновиком будущих очерков, ведь очень многие описания повторяются в них почти слово в слово. Например, из письма: «Индийская резервация в Чероки, Северная Каролина (не так велика, как я ожидал): что за невероятный контраст с землями, на которых живут белые. Настоящая идиллия: все тихо и мирно – нет и следа механической цивилизации... Не покидает мысль, что мы здесь пробудем недолго, все перепортим, перемрем, и земли вернуться к их законным владельцам» [пер. А. Ливерганта]²⁷⁰. И тот же фрагмент из самой книги: «Не так давно я проезжал по территории маленькой индейской резервации племени чероки в горах Северной Каролины. Контраст этого мира и нашего был почти неправдоподобным. Крохотная резервация чероки — это подлинные райские кущи. Покой и тишина разлиты вокруг, словно и в самом деле поля счастливой охоты, куда отважные индейцы попадают в загробной жизни, спустились на землю»²⁷¹. Из письма Анаис об Атланте: «Атланта ужасает до глубины души. В архитектурном смысле это нечто вроде южного Нью-Йорка – и притом Нью-Йорка полувековой давности. Просто омерзительно» [пер. А. Ливерганта]²⁷². И цитата из книги: «Новая Атланта, поднявшаяся на пепелище старой, представляет собой неописуемо мерзкий город, соединивший худшие черты и Севера, и Юга»²⁷³.

²⁷⁰ Miller H. Henry Miller Letters to Anais Nin / Ed. and with an introd. by G. Stuhlmann. - New York: Putnam, 1965. P. 220.

²⁷¹ Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 33.

²⁷² Miller H. Henry Miller Letters to Anais Nin. P. 207.

²⁷³ Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 33.

В сущности, из таких приблизительных совпадений с письмами Анаис Нин и состоит по большей части вся книга. На такую же закономерность обратили внимание Джеймс Декер и А.А. Аствацатуров. Последний раскрывает тот же механизм параллельного написания писем и собственно литературного текста на примере другого травелога, «В Нью-Йорк и обратно» (“Aller Retour New York”, 1935), который представляет собой одновременно письмо Альфреду Перле²⁷⁴. Это дает нам представление о методе Миллера, дальше всех шагнувшего по пути слияния травелога с автобиографией и эссеистикой. Как уже было отмечено выше, куда более важным для него остается постижение собственного внутреннего мира, нежели окружающая действительность, будь то речь о романе или о травелоге. Неслучайно сам Миллер так много рассуждает о том, что путешествие по Америке изначально было для него актом воображения, и жалеет, что не описывал это путешествие, когда оно разыгрывалось перед его внутренним взором во Франции.

Миллер отчетливее всех остальных понимает, насколько сильно наши впечатления от той или иной страны зависят от наших о ней представлений, от наших ожиданий. К этой теме он возвращается не раз: например, рассуждая о Вене: «В моем передвижении по стране я часто вспоминаю Фреда с его чертовской жадой увидеть Америку. В том, как он рисовал себе Америку, сквозило что-то кафкианское. Жаль было бы лишать его иллюзий. А впрочем, кто может сказать? Он мог остаться и очень довольным. Ведь решение, что увидеть, принадлежало ему. Вспоминаю мой визит в его родную Вену. Конечно, она предстала предо мной не той Веной, которая мне снилась. И все-таки сегодня, когда я думаю о Вене, мне является Вена моих грез, а не та, которую я увидел: с клопами, расстроенными цитрами в захудалых концертниках и вонючими сточными канавами»²⁷⁵. Или пересказывая разговор со своим другом-венгром, мечтавшим о переезде в

²⁷⁴ Аствацатуров А.А. Генри Миллер: художественное и документальное. С. 108.

²⁷⁵ Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар... С. 8.

Нью-Йорк и сразу, безоговорочно принявшим даже недостатки этого города, потому что они были частью общей картины, которая уже была в его воображении и которая, уверял он Миллера, полностью воплотилась в реальном Нью-Йорке. Друг показывает Миллеру из окна Гудзон и интересуется, не находит ли Миллер этот вид восхитительным. Миллер же объясняет восторг, который испытывает его собеседник перед этим зрелищем, исключительно тем, что для него Америка – земля благоденствия, к которой он стремился всю жизнь. «В Нью-Йорке, - пишет Миллер, сравнивая свое восприятие этого города с тем, что сказал ему друг, - я люблю только гетто. Там у меня возникает ощущение жизни. Люди гетто – иностранцы; когда я среди них, я больше не в Нью-Йорке, я среди жителей какой-то европейской страны»²⁷⁶.

В подобных эпизодах Миллер как бы постулирует тщетность любых попыток приблизиться к объективности и утверждает за собой право на неразличение документального и воображаемого, автобиографического и художественного, жизни и литературы. Этот эксперимент по «преодолению литературы» и «преодолению писательства» оборачивается не трансформацией жанра травелога и прочих «впитанных» миллеровскими текстами жанров, а уничтожением понятия жанра как такового, что предвосхищает опыт литераторов уже XXI века.

²⁷⁶ Там же. С. 21.

Глава VI

Джон Дос Пассос и Э.Э. Каммингс: модернистский травелог

В предыдущей главе мы достаточно подробно остановились на том, что отличает Генри Миллера от его современников – писателей-модернистов, с которыми его по понятным причинам нередко сравнивают. Эта глава будет посвящена именно модернистам – двум друзьям, двум товарищам по колледжу, чьи мировоззренческие и эстетические поиски проходили зачастую под знаком одних и тех же событий, знакомств и увлечений. Несмотря на подобный параллелизм судеб, благодаря которому мы можем теперь говорить о Джоне Дос Пассосе и Э.Э. Каммингсе, применяя к ним одни и те же понятия (например, как о модернистах или как о представителях «потерянного поколения»), жизненные установки двух писателей были во многом различны, что, впрочем, не помешало им сохранить дружеские отношения на всю жизнь. Каждый из них, в юности испытав сильное увлечение модернистским искусством, в течение жизни разрабатывал собственную манеру письма, экспериментируя с возможностями языка и поэтики, в том числе в травелогах.

Биографы Дос Пассоса сходятся в том, что история его семьи и детские годы явились главными отправными точками в формировании его взглядов²⁷⁷; такого же мнения относительно детства Каммингса придерживается исследовательница его жизни Сюзан Чивер²⁷⁸. Дос Пассос был незаконнорожденным сыном влиятельного судьи, который после смерти первой супруги женился на его матери (ведшей род от весьма старинных и уважаемых семейств Мэриленда и Вирджинии), но не признавал самого Дос Пассоса сыном еще два года, до его 16-летия, хотя и был, судя по биографии

²⁷⁷ См. подробнее у: Carr V. C. *Dos Passos: A Life*. – Garden City, NY: Doubleday, 1984; Diggins J.P. *Up from Communism: Conservative Odysseys in American Intellectual History*. – New York [a.o.]: Harper & Row, 1975.

²⁷⁸ Cheever S. E.E. *Cummings: A Life*. – New York: Pantheon books, 2014. 213 p.

Вирджинии Карр, искренне к нему привязан²⁷⁹. Будущий Дос Пассос жил и учился под материнской фамилией – Мэдисон; более того – официально считался усыновленным. По инициативе отца, Джона Рэндольфа Дос Пассоса, мать переехала с годовалым «Джеком Мэдисоном» в Европу, и детство его проходило в разных городах – Лондоне, Брюсселе, Висбадене – до самого возвращения в Америку в 1906 году. Мать чувствовала себя в Европе одиноко, начала болеть. Но кругозор ее растущего сына не мог не стать шире в атмосфере перемен, среди сменяющих друг друга городов и языков. Таким образом, для взрослого Дос Пассоса Европа в наименьшей степени, чем для всех прочих рассмотренных нами писателей, была чужбиной и заграницей. Вот в каком тоне он пишет о Лондоне своему другу Марвину 25 июля 1916: «Лондон - все тот же старый дымный хаос, но, пожалуй, чуточку поинтереснее, чем раньше – чувство надвигающейся гибели всегда увлекательно. Я провожу время в поисках издателей, пью чай с маленькими пожилыми леди, которые знали меня еще когда я был противным вздорным восьмилетним отродьем, и хожу смотреть русский балет»²⁸⁰.

Жизнь, полная недомолвок, соперничество со сводным братом (законным сыном отца от первого брака), двусмысленное положение матери – все это не могло не повлиять на то, что впоследствии мир преуспевающего американского среднего класса стал мишенью для язвительной сатиры первых литературных опытов Дос Пассоса. Кроме того, на его интерес к политике и социальным процессам повлияли близкие и теплые, хоть и непростые отношения с отцом, сторонником Вудро Вильсона и участником разработки юридических реформ.

В семье Каммингсов царила атмосфера куда менее нервная: детям уделяли много внимания, первые стихи сына, которые он сочинял уже в

²⁷⁹ Carr V.C. *Dos Passos: A Life*. P. 45.

²⁸⁰ Dos Passos J. *The Fourteenth Chronicle: Letters and Diaries of John Dos Passos* / Ed. and with a biogr. narrative by T. Ludington. – Boston: Gambit, 1973. P. 203.

двухлетнем возрасте, за ним восторженно записывали, а потом, когда увлечение поэзией продолжилось, и в 8 лет было твердо решено избрать карьеру поэта, всячески его в этом поощряли. С родителями Каммингс на всю жизнь сохранил очень близкие и теплые отношения, писал им огромное количество писем, в которых описывал все свои приключения, в том числе их с Дос Пассосом похождения в Испании, куда они вдвоем отправились в 1921 году. Примечательно, что специфический язык Каммингса – взаимное наложение английского и французского языков, словотворчество, особый, отдельный язык пунктуации – в случае с письмами к родителям сменяется вполне традиционным английским. Именно отец, к тому времени превратившийся в политическую фигуру, написал лично президенту США и вызволил сына из концентрационного лагеря для интернированных в Нормандии, о чем речь пойдет ниже. Именно в переписке с отцом Каммингс в 1918-1920 гг. ведет самую взволнованную полемику насчет революции в России, которую тогда воспринимает, как большинство его ровесников, восторженно, в романтическом ключе – в отличие от своего более консервативного отца. В 1957 году Дос Пассос в письме к Чарльзу Норману, автору одной из первых биографий Каммингса, так описывал эту семью: «Невероятное словесное брожение в Каммингсе, старомодное кэмбриджское семейство в доме на Ирвинг-стрит – его отец правил там бал, сидя во главе длинного стола... Я лелеял в себе мысль о том, что они – ниточка, связывающая нас со всеми староанглийскими Яковами и со всеми поколениями новых англичан до самых Эмерсона и Торо... Итальянские ресторанчики и дешевое итальянское вино в Бостоне... Каммингс импровизирует на пианино, наставляя свое восхищенное семейство... Доктор Каммингс гудит с кафедры – в церкви на Арлингтон-стрит? Или там я слушал его проповедь по какому-то особому случаю?»²⁸¹

Дос Пассос и Каммингс поступили в престижный Гарвард-Колледж в 1912 году. В то время там как раз складывался круг своеобразных,

²⁸¹ Dos Passos J. The Fourteenth Chronicle... P. 611.

увлеченных искусством и европейской философией молодых людей, получивших впоследствии прозвание «Гарвардские эстеты». Эти молодые люди под руководством некоторых преподавателей, в том числе знаменитого Джорджа Сантаяны, значительно повлиявшего на умонастроения многих представителей будущего потерянного поколения, занимались выпуском журнала под названием “Harvard Monthly” (основанного в 1985 году У.У. Болдуином, Т.П. Санборном, А. Б. Хоутоном и другими, в т.ч. самим Сантаяной), через который транслировали близкие им идеи эстетизма и декаданса. Они «ощущали себя поэтами, непризнанными гениями, мистиками». Неудивительно, что в студенческие времена Каммингс увлекался Китсом и подражал ему, даже выделял в своем творчестве «период Китса» - ведь Китс считается провозвестником эстетизма в литературе²⁸². Также Каммингс интересовался изысканными духовными концепциями вроде трансцендентализма (вспомним о том, что родители Каммингса были унитарии) или философии Мартина Бубера. Обращает на себя внимание крайний субъективизм и даже эгоцентризм этих философских систем. Сохранились воспоминания о своеобразной религиозности Каммингса, который имел привычку обращаться к Господу с молитвами о поэтическом вдохновении.

К сентябрю 1915 года вокруг журнала сложилось Гарвардское поэтическое общество,²⁸³ куда входили и Дос Пассос, и Каммингс. Благодаря этому обществу они и познакомились. Члены кружка были увлечены творчеством процветавших в то время в Европе имажистов: Эзры Паунда, Томаса Хьюма, Хильды Дулиттл и др., производили на них впечатление и произведения Гертруды Стайн. Вирджиния Карр описывает эпизод из жизни этого поэтического кружка: встречу с Эми Лоуэлл, также сблизившуюся в конце жизни с имажистами; на заинтересованный вопрос Каммингса о ее

²⁸² Rosenblitt A. “A Twilight Smelling of Vergil”: E.E. Cummings, Classics and the Great War // Greece & Rome. 2014. Vol. 61. No. 2. P. 251.

²⁸³ Carr V. C. Dos Passos: A Life. P. 79.

отношении к творчеству Стайн она ответила вопросом: «А вам она нравится?» – «Ну... да», - ответил Каммингс, помолчав. – «Мне - нет!» - отрезала мисс Лоуэлл, свирепо затушила папиросу, оправила юбки и на всех парусах устремилась в ночь»²⁸⁴. Карр указывает также на то, что Дос Пассос питал сильное пристрастие к «Письмам Ван Гога» и брал эту книгу с собой на выставки картин; кстати говоря, с такой же теплотой относился к ней и Миллер, что, как нам представляется, немаловажно в контексте разговора о документальной литературе.

Особую роль в формировании вкусов обоих писателей сыграло посещение Арсенальной выставки (Armory Show) в Нью-Йорке в 1913 году, где были показаны картины постимпрессионистов. Карр пишет: «Протесты, бунты, забастовки, выборы президента – Доса и прочую молодежь ничем было не выманить из Гарвард-колледжа, а вот Армори Шоу – другое дело»²⁸⁵. Тогда еще Дос Пассос и Каммингс не были знакомы, и выставку посещали врозь. Примечательно, что особое впечатление на не слишком разбиравшегося в живописи Дос Пассоса произвели картины Уистлера, и не столько картины, сколько подписи к ним, названия, которые Дос Пассос сравнивал с музыкой Дебюсси. Каммингс, который, как и Миллер, впоследствии проявил себя и как художник, был по-настоящему поражен всей выставкой в целом и впоследствии подтверждал,²⁸⁶ что она повлияла на его литературный стиль.

Итак, война еще не началась, и студенты Гарварда были увлечены размышлениями о новом искусстве и собственном творчестве. Так и завязалась дружба между Дос Пассосом и Каммингсом. Впоследствии Каммингс вспоминал, что Дос Пассос сразу привлек его внимание тем, что

²⁸⁴ Ibid. P. 81.

²⁸⁵ Ibid. P. 54

²⁸⁶ Приключения нетоварища Кемминкза в Стране Советов. Э.Э. Каммингс и Россия / Сост., вступ. ст., пер. и коммент. В. Фещенко и Э. Райт. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 21.

«меньше, чем кто-либо вокруг, походил на американца»²⁸⁷. Яркость и необычность Дос Пассоса, в том числе его внешности, не оставила эстета Каммингса равнодушным. В 1923 году, уже после их совместного путешествия по Испании, Каммингс писал сестре: «Господин Дос Пассос – самый милый джентльмен! И если что-то и нужно, чтобы убедить меня в том, что Дос – это с.м.дж., - то вот, например, только он ответственен за то, что следующей осенью (ну если смотреть на вещи реалистично) мистер Зельцер опубликует мои стихи - другими словами, из одного только своего желания он волочил Зельцера по углям, тыкал его носом в г..., и в конце концов заездил его до такой степени, что он подписал со мной контракт – так что я бы внушил какому хочешь невротическому жюри, что г-н. Дос Пассос - один из самых милых джентльменов на земле, милых с большой буквы М.!»²⁸⁸

Рассказ же Дос Пассоса о Каммингсе в его автобиографии «Лучшие времена» (“The Best Times”, 1967) анализирует Ф.У. Дюпи: «Каммингс, одновременно столь одаренный и столь цельный, был прелесть, был чудо, был – нередко – сплошное огорчение для многих друзей, которые писали о нем в своих книгах. Джон Дос Пассос, его многолетний друг, был среди них пронизательнейшим из наблюдателей. В его замечательных мемуарах “Лучшие времена” Каммингс как живой с этим его веселым иконоборчеством, с элегантной рыцарственностью, безоглядной щедростью, ликующим озорством, блистательным красноречием, наметанным глазом на нежную красоту неприметных вещей и людей, и не менее наметанным – на вульгарную нелепость вещей и людей приметных с лишком, с его невозмутимой гордыней новоанглийского брамина во всем, что касалось его вкусов и суждений. <...> Сочетание поэтического призвания и поведение Каммингса как человека, столь причудливо сочетавшиеся во всей его личности, поражали Дос Пассоса. Друзья часами вдвоем гуляли по и Нью-

²⁸⁷ The Continuum Encyclopedia of American Literature / Ed. by S.R. Serafin, A. Bendixen. – London, A&C Black: 2005. P. 288.

²⁸⁸ Cummings E.E. Selected Letters of E.E. Cummings / Ed. by F.W. Dupee and George Stade. – New York: Harcourt, Brace & World, 1969. P. 98.

Йорку, <...> и Каммингс, неизменно увлеченный газетчик и подметчик, за прогулкой никогда не забывал и о фиксации впечатлений. “На ходу, - пишет Дос Пассос. – Он записывал какие-то сочетания слов на обрывках бумаги или набрасывал жуткие каракули-эскизы. Оба мы жили как созерцанием того, что нас окружало, так и звучанием слов. У Каммингса было множество всяких загадочных способов говорить. ‘Дос п. свое в.’, - говорил он, когда ему казалось, что я недостаточно бойко пью. <...> Заполировав вином пару бренди, Каммингс раздражался целыми фонтанами слов. Я никогда в жизни не слышал ничего хотя бы отдаленно схожего с этим. Это было смешно иронично глубоко бриллиантово-разноцветно причудливо-ритмично чертовски поэтично и время от времени просто неприлично. Это было как если бы он извергал целыми страницами какую-нибудь еще не написанную главу. <...> Он был действительно непредсказуем”»²⁸⁹.

Но с началом войны эта беспечность сменилась ощущением, что замкнутая жизнь в Гарвард-колледже имеет мало общего с жизнью реальной. Первая мировая война представилась им тем самым уникальным жизненным опытом, которым нельзя было пренебречь. Впоследствии Дос Пассос особо отмечал тот факт, что их поколение в принципе не могло себе представить войну подобного масштаба, и ее начало полностью поглотило умы всех, кого он знал. «Мы были по-настоящему потрясены, потому что выросли в эпоху, когда войн уже долго не было. Мы верили в то, что цивилизация XIX века достигла той стадии развития, при которой войны уже никому не нужны. И тут вдруг в Европе разражается эта фантастическая, уму непостижимая резня. Я был просто в ужасе от всего этого. Академическое сообщество бредило войной. Тогда я впервые в жизни видел, как умами людей с невероятной силой завладевают лозунги», - рассказывал он в интервью Фрэнку Гадо в 1969 году²⁹⁰.

²⁸⁹ Cummings, E.E. Selected Letters of E.E.Cummings. P. 21.

²⁹⁰ Dos Passos J. The Major Nonfictional Prose. P. 277.

В 1917 году Дос Пассос и его друг Э.Э. Каммингс записались добровольцами в медицинские войска - в американскую волонтерскую службу «Нортон Харджес». Каммингс прослужил в ней пять месяцев, прежде чем его отправили в лагерь для военнопленных, а Дос Пассос, ставший шофером, продержался дольше и побывал не только во Франции, но и в Италии. «Я был ярым пацифистом и все-таки мне захотелось наняться водителем машины скорой помощи, чтобы понять, что такое война. Давно ведь не было великих войн. Все это обладало какой-то чудовищной притягательностью. Я был до того близорукий, что больше для меня не оставалось способов подобраться вплотную к фронту. Кроме того, меня ужасала служба в армии. Очень многие молодые люди моего поколения чувствовали то же самое. Всеми владела идея попасть на фронт и не служить при этом в армии», - вспоминал Дос Пассос²⁹¹.

По дороге на войну Каммингсу и его другу У. Брауну из-за бюрократической волокиты приходится целых пять недель прождать отправки на фронт в Париже. Это время они проводят не впустую: гуляют по городу, знакомятся с наводнявшей в то время парижскую столицу богемой, в том числе американской. Город очаровывает Каммингса на всю жизнь – и до конца своих дней он бывает там постоянно. Неудивительно: ведь именно Париж был центром притяжения для всех его тогдашних и будущих кумиров, среди которых он впоследствии чувствовал себя как рыба в воде.

Судьбы Каммингса и Дос Пассоса на войне сложились по-разному, но оба они в результате стали убежденными пацифистами и придерживались пацифизма до конца своих дней. Для Дос Пассоса тяжелые военные впечатления стали поводом для еще более жесткого переосмысления современного ему капиталистического общества (Первая мировая война воспринималась как его порождение).

Для Каммингса же с его трехмесячным лагерным опытом война стала первым столкновением с ужасом обезличивающей уравниловки,

²⁹¹ Dos Passos, J. The Fourteenth Chronicle. P. 612.

неотделимой от атмосферы любой тюрьмы. Мы знаем, что этот опыт описан в первой автобиографической книге Каммингса «Чудовищная комната» (“The Enormous Room”, 1922).

Как годы учебы, так и военный опыт, несомненно, оказали серьезнейшее влияние на дальнейшее творчество двух писателей и на то, какие оценки они давали странам, где им довелось побывать.

6.1. Джон Дос Пассос: аранжировка впечатлений

Именно с 1917 года, когда Дос Пассос оказался на войне добровольцем, можно начинать отсчет истории его взглядов, претерпевших за последующие полвека несколько весьма драматических переворотов. Дж.П. Диггинс, исследовавший именно эту сторону жизни Дос Пассоса, писал: «Его интеллектуальную историю нелегко разделить на периоды, так как идеи и ценности, которые его интересовали, оставались неизменными на протяжении всей его жизни, а тезисы, которые он позже отстаивал как консерватор, неявно присутствовали и в его юношеском радикализме»²⁹². Тем не менее, историки литературы, взявшись за краткое или полнообъемное жизнеописание Дос Пассоса, как правило, следуют именно за этой сюжетной линией – трансформацией взглядов одного из самых социальных американских писателей XX века, пришедшего от убежденного социализма к достаточно жесткому консерватизму и при этом прожившего сравнительно долгую жизнь, чтобы все эти этапы можно было рассмотреть в подробностях: на этот сюжет, как на канву, ложится все остальное – история его творчества, взаимоотношений с людьми и, конечно, путешествий.

Возможно, в случае с Дос Пассосом такой выбор биографической доминанты и правомерен; нас интересует в первую очередь то, что жизнь этого писателя неотделима от путешествий, как и история его взглядов. С самого раннего детства Дос Пассос перемещался по миру; а страны, куда он

²⁹² Diggins J.P. Up From Communism... P. 93.

отправлялся уже по собственной инициативе, во взрослом состоянии, были зримым воплощением интересовавших его идей, оплотами вершившихся на глазах социальных экспериментов: СССР, Испания, Ближний Восток. Путешествие действительно было для Дос Пассоса своего рода формой существования. В 1916 году он писал: «Мир же просто чертовски интересен, ну с какой стороны ни посмотри, - и вот до ужаса трудно взять и запереть все окна и двери и сидеть вот так, мыкаться кругами в потемках внутри собственной головы»²⁹³. Здесь все как раз наоборот: карта мира для Дос Пассоса больше, чем для кого бы то ни было из рассмотренных нами авторов, была одновременно и картой идей, и неслучайно поэтому, что от одного этапа развития мировоззрения к другому Дос Пассос переходил, как правило, именно в результате очередного путешествия – по Европе во время Первой мировой войны, в СССР в 1928 году, в Испанию во время Гражданской войны. Об этих путешествиях рассказывается в автобиографических травелогах. Дос Пассоса «Восточный экспресс» (1927), «Во всех краях» (1934), «С войны на войну» (1938), а также в сборнике эссеистических путевых очерков об Испании «Росинант снова в пути» (1922). Дос Пассос путешествовал и писал путевые очерки и позднее, например, в 1970 году вышла книга об острове Пасхи, который он посетил в 1969 году. Книга эта представляет собой очередной образчик трансформированного травелога, поскольку бóльшую ее часть составляет отнюдь не описание путешествия самого Дос Пассоса, а история острова Пасхи начиная с XVIII века, сопровождаемая тщательным исследовательским разбором связанных с ней археологических, антропологических и пр. загадок. Однако нас интересуют ранние работы Дос Пассоса в жанре путешествия и то, как они повлияли на его творческий стиль.

Если кто-то из ровесников Дос Пассоса и вернулся с войны «потерянным», то точно не Дос Пассос – он вернулся убежденным в необходимости активного переустройства мира. Уже летом 1921 г. он

²⁹³ Цит. по: Diggins J.P. Up From Communism. P. 93.

впервые побывал в Закавказье. Россия как страна социалистического эксперимента, разумеется, чрезвычайно его интересовала, и Кавказ и некоторые другие окраинные регионы страны он застал в состоянии гражданской войны. Е.М. Салманова пишет, что эту поездку предложил Дос Пассосу его друг Пэкстон Хиббен, работавший в организации «Помощь Ближнему Востоку» при Красном Кресте. Отмечает она также, что согласился он на это в первую очередь потому, что «обожал рискованные путешествия»²⁹⁴. В очерке «Советский Кавказ» для “Liberator”, вышедшем в августе 1922 года, Дос Пассос не только в деталях, с явным увлечением описывает красочный кавказский быт, но и высказывается о революционной Азии в следующем романтическом ключе:

«Азия», - говорю я сам себе. Это Азия. Азия жестокой, продуваемой всеми ветрами необъятности. Азия, где бессчетные, не сознающие себя толпы скитаются по бескрайним иссушенным морозами, выжженным солнцем степям, бессмысленные, беспокойные, чувствующие, быть может, первое волнение того порыва, который снова и снова рушит плотины и дает дорогу потоку людей со странными лицами, которые способны закружить в водовороте уютный мир городских обывателей. Под полоумное бряканье механического пианино в моем мозгу начинает биться мысль: за Азией будущее. Еще чуть-чуть – и вот он, новый порыв, он опрокидывает стулья, шаткие столики, официант выбегает прочь, завязки фартука развеваются... Бойцы разошлись по домам, и небо вскипает облаками медного цвета, будто мыльная пена в умывальнике. Будущее за Азией, а русские – те, кто лепит Азию по своему образцу. Обозначьте на карте мира границы. Европейцы, британцы, французы, голландцы все так же цепляются за периферию, а русские проникли в самое сердце этого континента, праматери всех народов. Эти юноши в мундирах, перехваченных поясами, - они сидят в рваной форме, высунувшись из дверей бесконечных, облезлых красноармейских эшелонов, болтают босыми ногами, - они борются с этой трясиной недоедания, коррупции, безысходности; они по вечерам слушают где-то Бетховена и Бородина, и в ответ на нескончаемые разглагольствования о пролетарском государстве именно эти светловолосые мальчики, их поколение, - лепят, по крайней мере на востоке, грядущие столетия»²⁹⁵.

В пожилом возрасте, давая интервью, Дос Пассос так характеризовал свое настроение во время первого путешествия в новое пролетарское

²⁹⁴ Е.М. Салманова. Романы Дос Пассоса // Дос Пассос Дж. Избр. соч.: В 3 т. Т. 1. – М.: Литература, 2000. С. 7.

²⁹⁵ Dos Passos J. The Caucasus under the Soviets // Dos Passos J. The Major Nonfictional Prose. P. 67.

государство: «Составить мнение о революции у меня была возможность еще раньше, в Закавказье в 21-22 годах, когда красный режим еще только установился. Думаю, я прочувствовал дух гражданской войны в России. Приятного мало, но я как-то не слишком обращал на это внимание – ведь всегда во время гражданской войны льется кровь, всегда страдают невинные люди, и это неизбежно. <...> Писал я о России скорее с осторожностью. Даже репортаж о Кронштадтской бойне, которая всегда приводила меня в ужас. Я не хотел подыгрывать убежденным противникам русской революции, потому что сам я думал – ну, в худшем случае, это эксперимент, который может дать интересный результат и уж точно заслуживает внимания»²⁹⁶.

Покинув Тифлис в августе 1921 года, Дос Пассос отправился на Восток, и это путешествие впоследствии было описано в книге «Восточный экспресс» (1927). Он был в Ираке, Сирии, Персии времен возвышения Резашаха. «Имя Аллаха – вот и вся поклажа, - пишет он. – И вы можете свободно путешествовать от Великой Китайской стены до Нигера, не беспокоясь ни о еде, ни даже, пожалуй, о деньгах – была бы только прыть пять раз в день прикладываться головой о песок, а еще согнать с себя собственное “эго” и глянец Запада. И все же – Запад наводит здесь свои порядки»²⁹⁷.

Вторая поездка Дос Пассоса в Советскую Россию состоялась в 1928 году. Он успел побывать в СССР до окончательного свертывания новой экономической политики и перехода к реализации Первой пятилетки и застал атмосферу относительной творческой и экономической свободы, расцвета журналистики и новых веяний в искусстве, с которой ассоциируется нэп. При этом путешествие Дос Пассоса, приехавшего в СССР с сознательной целью «изучать коммунизм», не ограничилось посещением столиц: он видел не только бурлящую жизнь советской богемы, но и нищету разоренной страны.

²⁹⁶ Gado F., Kobland K., Thimm A., Beals P. et al. An Interview with John Dos Passos // Dos Passos J. The Major Nonfictional Prose. P. 279.

²⁹⁷ Dos Passos J. Orient Express. – New York: Harper & Bros, 1927. P. 114.

Е.М. Салманова тоже обращает внимание на разную тональность впечатлений от первой и второй поездок, указывая на то, что во многом это зависит от того, когда были написаны сами мемуары: о России речь идет в «Путешествиях между двумя войнами» (1937) и «Лучших временах» (1966). Объяснение ее состоит в том, что Дос Пассос сменил политическую ориентацию и стал старше²⁹⁸. 1937 год можно считать одним из важнейших в истории политических симпатий Дос Пассоса (именно в этом году он принимает участие в работе Комиссии Дьюи, что, мы полагаем, сыграло не последнюю роль в окончательном разрыве Дос Пассоса с коммунизмом в 40-х; в тот же год произошли эпизод с Хосе Роблесом, на котором мы остановимся ниже, и ссора с Хемингуэем), - и все же Советская Россия по-прежнему будоражит его воображение. Не забудем о том, что непосредственно перед поездкой, в июле 1928 года, он явился одним из организаторов и предводителем демонстрации Всеамериканской антиимпериалистической лиги на Уолл-Стрит. Вот что об этом писала «Fort Lauderdale News»: «Демонстрацию, как и бостонский пикет в защиту Сакко и Ванцетти, возглавлял романист Джон Дос Пассос. Были замечены на Уолл-Стрит и другие обладатели имен столь же труднопроизносимых, как у Дос Пассоса – они помогали создать на демонстрации всеамериканскую атмосферу»²⁹⁹.

Во время же своего путешествия в СССР в 1928 году Дос Пассос был преисполнен интереса к русскому эксперименту, и хоть «застывшие лозунги и доктрины» уже отпугивали его, гораздо больше его воображение занимали интересные знакомства: с Чуковским, описавшим его как «типичнейшего русского интеллигента»³⁰⁰, Динамовым, Павловым, Эйзенштейном (с которым он особенно сдружился, так как у них были общие эстетические

²⁹⁸ Салманова Е.М. Джон Дос Пассос и Россия. - Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – СПб, 1997. С. 10.

²⁹⁹ Several Hundred Members of the “All-American Anti-Imperialistic League”... // Fort Lauderdale News. 1928. July 6. P. 4.

³⁰⁰ Чуковский Н.К. О том, что видел. - М.: Молодая гвардия, 2005. С. 264.

идеи, одного интересовал «принцип монтажа» в кино, другого – в литературе, и у обоих это переродилось в уникальные идиостилистические черты, на чем мы позже остановимся подробнее) и др. Многие из этих знакомств сохранились и продолжались в переписке. Дос Пассос с особенным интересом изучает жизнь театров – как профессиональных, так и народных, - и впоследствии переносит подмеченное в собственный богатый театральный опыт.

Жизнерадостное настроение, владевшее Дос Пассосом в России, отразилось и в его письме к Каммингсу, которое он написал ему с Волги:

Э.Э. Каммингсу,
Берег Волги, сентябрь 1928

Дорогой Каммингс,

Путешествие по Волге значительно подвигается – На всех парах несемся в Астрахань, столицу Икры – В этих краях чертовски здорово – Но вот показалась пристань – Надо идти работать – Это оказалась просто одна из пристаней Автономной республики волжских немцев, там сплошные арбузы. Я на этом кораблике живу по-королевски, завтракаю на палубе чаем и икрой за маленьким столиком, и чай я пью от завтрака и до окончания дня. Когда судно встает на якорь, плаваю, а все остальное время тревожусь из-за русского языка и пытаюсь вести беседы о том, где кончается одна республика и начинается другая.

Самые занимательные и яркие люди, которых я видел в Москве – это кинорежиссеры. Они твердят – и я полагаю, это вполне естественно, - что театру пришел капут. Эйзенштейн уверяет, что Мейерхольд развалил театр, потому что подводит каждую свою постановку к логическому итогу настолько вплотную, насколько это возможно. Конечно, единственный спектакль Мейерхольда, который я пока видел («Рычи, Китай»), был чертовски хорош, но я что-то не вижу, чтобы от него чему бы то ни было пришел капут, разве что силам Мейерхольда. Эйзенштейна очень беспокоит звуковое кино, он боится, что оно станет искусством и вернет на киноэкран все худшее, что есть на сцене. Он думает, что сначала все будет ничего и просто очень глупо, но потом, велика вероятность, москвичи просто возненавидят звуковые фильмы. Это чрезвычайно забавно, ведь они тут почти не видят американского кино – а когда видят, то это вызывает величайший восторг. Актеры и режиссеры зарабатывают около 25 долларов в неделю и считают себя везунчиками. Вот бы посмотреть, что бы с ними со всеми было, с этими ребятами до тридцати, если б они поехали в Америку. Я видел почти все исторические картины – они великолепны. Даже совершенные бревна на случайном снимке обзаводятся оправданием собственного существования в виде интересного выражения лица. Эйзенштейн почему-то не еврей и похож на самого

обыкновенного приезжего немца. Он бесконечно гениален, очень любопытная птица.

В Ленинграде видел собаку Павлова. Между прочим, Павлов работал вовсе не с репродуктивными железами: большая часть его работы посвящена изучению работы мозга с помощью наблюдения за собачьими слюнными железами – так он может измерять выделения. Все это выйдет в этом же году по-английски (“International Publishers”). Все говорят, что доктора Ватсона (Джона) это уничтожит, а Фрейд будет выглядеть как тридцатицентовик. Ну, будет как будет. Он ненавидит советское правительство и проклинает их на каждой своей лекции, а те каждый год дают его лаборатории все больше и больше денег, так что все довольны. Говорил с его женой. Я думаю, он действительно великий человек, ему почти восемьдесят, у него пушистые усы и он за всю революцию ни дня не пропустил – все ходил в лабораторию.

Люди здесь до того гостеприимны и милы, что это почти душераздирающе – а пустынные просторы пленительны.

Привет Анн – Мой адрес на ближайшие пару месяцев: ВОКС, Москва, Малая Никитская, 6 – Напиши, как долго будешь в Париже –

Твой Дос³⁰¹.

Одной истории о Павлове достаточно, чтобы понять: Дос Пассосу «досталась» сравнительно веселая, многообразная Советская Россия, которой вполне можно было симпатизировать. Также нам кажется показательным письмо, которое он написал в то же время Хемингуэю:

Эрнесту Хемингуэю
Ботлих, Россия, сентябрь 1928

Дорогой Хэм,
Это пленительная страна – только что перевалил из Чечни в Дагестан. Швейцарские держатели гостиниц, вот ведь чудеса, оставили Кавказ без всякого надзора. Местные не едят рыбу, так что реки кишат форелью.

(Я не видел ни одной, но все клянутся, что это так).

Пока наши люди торгуются за лошадей, на которых двинемся дальше, мы живем в городке Ботлих. Городки – это крохотные деревушки каменного века, а между ними простирается местность, пустынная, как загробный мир. На самом деле я отлично провожу время в России. Никому не под силу было бы ее описать. Прежде всего, путешествовать легко и довольно дешево. Далее, здесь прорва еды, водки,

³⁰¹ Dos Passos, J. The Fourteenth Chronicle. P. 386.

вина и всяческого веселья – Попадаются люди, жизнерадостные, как агенты по недвижимости в сити, другие – все те же русские во вкусе Достоевского, но... все определенно веселее и разнообразнее, чем в Штатах, а лихорадочности нет. Все чертовски интересно. Прежде чем оказаться здесь, я в роскоши совершал путешествие вниз по Волге - икра на завтрак и т.д., а здесь мы сидим на грушах, черством хлебе и голландском сыре.

Рад был бы весточке о тебе и Паулин – Написал бы ты мне пару строк на адрес: ВОКС, Москва, Малая Никитская, 6 – Как долго собираешься пробыть в Штатах? – Я в Москве до октября –

Твой Дос³⁰².

Ясно, что покидал Россию Дос Пассос с двойственным чувством. С.М. Николаева приводит в своей статье показательную цитату: «Мне нравились русские люди, я восхищался ими. <...> но когда на следующее утро я пересек польскую границу – Польша не была коммунистической – мне показалось, что я вышел из заключения»³⁰³. Как видно, Дос Пассос, во-первых, уверился в том, что коммунистическая идея в СССР начинает трансформироваться и чуть ли не изживать себя, и, во-вторых, – что последствия у этого могут быть самые непредсказуемые:

У меня есть чувство, что в России коммунизм – нечто вроде мертвой оболочки, внутри которой пустили ростки новые взгляды, более широкие; пробуждение новых начал, как обычно, дает о себе знать в сознании людей приступами отчаяния. Что коммунизм, что старая иерархия с Батюшкой во главе – все это принадлежит прошлому поколению, а не тем, кому довелось войти в возраст в самый разгар разрухи. А Россию возрождают именно они. <...> На самом деле, никто не мог бы сказать, чего нам ждать. Россия сейчас на рубеже, который можно было бы назвать наполеоновским. Это гигантская страна, где в иле оцепенения вскипают и брызжут разноголосые энергии, словно отсыревшие петарды. Из этого может получиться что угодно, и доброе, и злое; волна завоеваний, что захлестнет весь Восток, а Европе останется при этом только без толку болтаться под ногами – или мирный улей, очаг строительства пролетарского государства³⁰⁴.

³⁰² Ibid. P. 387.

³⁰³ Dos Passos J. Journeys between Wars. P.399. Цит. по: Николаева С.М. Д. Дос Пассос и Э. Хемингуэй о Первой мировой войне и Советской России (СССР) // Известия Самарского государственного университета Российской академии наук. 2012. Т. 14. №3. С. 138

³⁰⁴ Dos Passos J. The Major Nonfictional Prose. P. 65.

Путешествуя, Дос Пассос фактически занимался поиском новой страны и новой нации, способных взять на себя попытку воплощения идеала на земле, и хотел следить за тем, как такие попытки осуществляются. Сам он отзывался о социализме как о «поветрии» того времени, болезни, которая одного за другим охватывала представителей его поколения, в том числе его самого: «Вдруг я уверовал в то, что стал социалистом», - вспоминал он в «Лучших временах»³⁰⁵.

Суждения Оруэлла о качестве художественной прозы 30-х годов, приводившиеся нами во Введении, не столь важны для нашего исследования, сколь его объяснение неизбежности интереса к политике для художников той эпохи. Мы видим, что даже неустанно отрекшийся от политической повестки Генри Миллер (чья позиция как раз и возмутила Оруэлла) на страницах своих произведений громогласно осуждает стремление к прогрессу, понимаемому им как глобальный обман в том числе политического толка. Тем трагичнее разочарование, постигшее Дос Пассоса, вовлеченного в политику всей душой. С горечью он говорил в одном из последних своих интервью: «А теперь вы сидите передо мной потому, следует признать, что в ваши годы я ни в чем не ведал меры. Отчасти то, что я так мало сочувствую устремлениям нынешних молодых людей, объясняется вот чем: я достаточно долго прожил на свете, чтобы ознакомиться с последствиями этой нашей неумеренности. Мы так надеялись на коммунистическую революцию, а она, как теперь это всем известно, превратилась в самый страшный деспотизм, с каким только доводилось иметь дело человечеству»³⁰⁶.

Разочарование это, видимо, зародилось уже во время второй поездки в Россию. Впрочем, Е.М. Салманова полагает, что крикливые политические

³⁰⁵ Dos Passos J. The Best Times. An Informal Memoir. – New York: Penguin Random House, 1966. P. 46.

³⁰⁶ Dos Passos J. The Major Nonfictional Prose. P. 278.

лозунги и чересчур легкомысленное отношение революционных режимов к крови и насилию начали отталкивать писателя, навидавшегося страданий еще в молодости, еще раньше, уже после путешествия на Кавказ; потому, пишет она, Дос Пассос и высказывался уже во второй половине 20-х годов так сдержанно о своей политической принадлежности. Поворотным же эпизодом для Дос Пассоса стало политическое убийство его друга и переводчика Хосе Роблеса – трагедия, ставшая одной из ключевых тем для биографов Дос Пассоса³⁰⁷. Событие это произошло, когда в 1936 году. Дос Пассос приехал в Испанию, чтобы в соавторстве с Э. Хемингуэем работать на съемках пропагандистского республиканского фильма «Испанская земля». До этого он бывал в Испании еще трижды: в 1916 году, в 1920 году во время дружеского путешествия с Э.Э. Каммингсом и в 1933 году. Испания чрезвычайно привлекала Дос Пассоса, как и Хемингуэя. «Если характер шире обстоятельств <...>, то Испания – та страна, где человеческий характер может быть найден в чистейшей своей форме. Оба писателя (Дос Пассос и Хемингуэй – прим. ДК) до глубины души восхищались иберийским миром, - пишет Диггинс. - <...> В замкнутых сообществах Каталонии и Андалусии оба писателя смогли придти к более ясному пониманию как собственных ценностей, так и Америки»³⁰⁸. Оба писателя, бывшие до испанского эпизода друзьями, находили в Испании и испанцах то, что особенно ценили в жизни. Убийство Роблеса рассорило их. Хемингуэй согласился с обвинениями сталинистов и считал нежелание Дос Пассоса им верить типичной наивностью американского либерала. «После этой испанской истории Дос Пассосу открылось, как мала разница между коммунизмом и фашизмом. Как и Джордж Оруэлл, он вернулся из-за границы домой убежденным, что

³⁰⁷ См. об этом у: Carr V. Dos Passos: A life; Diggins J.P. Up From Communism; Luddington T. John Dos Passos: A Twentieth-Century Odyssey.

³⁰⁸ Diggins J.P. Up From Communism. P. 89.

как правым, так и левым одинаково свойственны злоупотребление властью и двуличие»³⁰⁹.

После убийства Роблеса Дос Пассос еще некоторое время оставался в Испании, пытаясь разузнать как можно больше об обстоятельствах этого дела. Наконец, весной 1937 года он вернулся в Америку с твердым намерением разобраться в причинах этого убийства и написать о нем подробный репортаж, дабы сообщить своим соотечественникам правду. Одновременно с этим он принимается за новый роман – «Приключения молодого человека», развенчивающий европейские тоталитарные режимы. Именно после этого романа за Дос Пассосом утвердилось репутация консервативного писателя; более того, в глазах социалистов – писателя, предавшего собственные идеалы. В том же 1937 году выходит знаменитое эссе Дос Пассоса «Прощание с Европой» - манифест, в котором Дос Пассос отказывается европейской цивилизации в способности построить подлинно демократическое общество и «передоверяет» эту миссию Америке.

Нынешним летом жители Западной Европы столкнулись с целой вереницей трагических дилемм. От надежд, которые на протяжении последних двадцати лет нашептывали нам, будто какое бы то ни было политическое движение может улучшить человеческий жребий, ничего толком не осталось – одни только лохмотья лозунгов треплются на ветру. В этих старых лозунгах все еще довольно магической силы, чтобы они оказались бесполезны главарям с хорошей организаторской хваткой и стремлением к власти, но отныне все, что они сулят, - журавль в небе, а применяют их все чаще при посредничестве штыка или, если отношение к вам скорее дружеское, приклада винтовки. Они перебрали в партизанский фанатизм, по жестокости равный иступлению религиозных войн. И у тех, кто подготавливает свой триумф, под рукой величайший арсенал смертоносной военной техники за всю историю нашей планеты. Если у нас в Америке и вправду остался хоть кто-то, кто желает свободы для себя и своих собратьев, - пришло нам время братья за ум. Атлантика достаточно широка, чтобы защитить нас от воздушных налетов, но ей не уберечь нас от вируса рабства, многоликие вариации которого изобретаются сейчас по всей Европе³¹⁰.

³⁰⁹ Ibid. P. 90.

³¹⁰ Dos Passos J. The Major Nonfictional Prose. P. 183.

Для Дос Пассоса, комментирует Таунсенд Ладдингтон, «прощание с Европой» - глубоко личное, трагическое событие, ведь сам он считал себя прежде всего европейцем, и отныне только в Америке готов он искать воплощение тех идеалов, о которых грезил в Гарвард-колледже³¹¹.

Политические искания Дос Пассоса влияли не только на маршруты его путешествий, но и на стилистику и композицию его текстов. Голос времени, вершащиеся в мире перемены были для Дос Пассоса важнейшей темой, и так в канву его произведений стали включаться, например, газетные заметки или радиосводки; демократическая оптика позволяла улавливать панорамную пестроту всевозможных сфер повседневной жизни разных слоев общества, что породило своеобразную полифонию романов Дос Пассоса. Как уже упоминалось, он испытывал большой интерес к теории монтажа Эйзенштейна – одному из авангардистских открытий эпохи социальных сдвигов – и этот интерес тоже нашел выход в его художественных текстах («Роман как документальный фильм» - называется глава о «Манхэттене» в монографии Хайке Шефера).

Нам представляется, что проявилась приверженность принципу монтажа и в тревелогах Дос Пассоса. Принцип отбора материала, крупного и общего плана используется им широко и осознанно. Возьмем, к примеру, его мексиканские очерки («Страна великих вулканов», 1934), проникнутые пафосом борьбы за права бедняков. Описывая Мехико, Дос Пассос сначала дает общий план, мирную, даже поэтическую картину: дымящиеся вулканы, синее небо, торговцев на улицах, мирную болтовню в лавках. Потом появляется образ бредущего по дороге нищего – это крупный план: нищий описан во всех подробностях, мы видим этого человека чрезвычайно близко (видим сандалии, «белесые лохмотья», ящик, который он тащит на плечах) – и он остается лейтмотивом до самого окончания очерка, нам напоминают о нем, словно в припеве, и все последующие картины из мексиканской жизни,

³¹¹ Ludington T. John Dos Passos: A Twentieth-Century Odyssey. – New York: Carroll & Graf, 1998. P. 375-400.

что веселые, что зловещие, оказываются окрашены тягостным впечатлением, которое произвел на нас этот убогий старик. Рассказчик заглядывает далеко за пределы Мехико, рассказывает о том, что творится в окрестных горах, выходит за рамки сюемиинутного и погружается в историю – и вот уже бродяга из простого прохожего превращается в собирательный образ, в воплощение всех мексиканских скорбей. Разумеется, здесь не приходится говорить о механическом, последовательном пересказе виденного Дос Пассосом в Мексике. Это срежиссированная миниатюра, в которой нет вымысла, но есть аранжировка – она и производит эффект, который в художественном тексте производил бы сюжет.

Обращаясь к разным материалам путешествий Дос Пассоса – его письмам и его очеркистике, как малой (небольшие заметки в журналах), так и крупной (мемуары), мы видим, что тональность и стилистика этих текстов неодинаковы, даже если речь в них идет об одних и тех же эпизодах. В письмах Дос Пассос, как мы уже видели, чрезвычайно раскрепощен: он шутит, ругается, сбивается с мысли и не всегда считает нужным оканчивать фразу. Его очерки для журналов, напротив, характеризуются торжественностью тона, красочным, плотным письмом и проповедническим пафосом; поскольку очерк в журнале – это публикация в периодике, нечто такое, что читается быстро и немедленно ассоциируется с текущей обстановкой, постольку журнальный путевой очерк Дос Пассос использует как трибуну, как публицистический жанр. Мы видели это на примере кавказского очерка для “Liberator”. Наконец, в мемуарах Дос Пассос берет более спокойный тон, почти не обращается к излюбленным приемам нелинейного повествования и потока сознания, мало пользуется метафорами. Скажем, в книге «Лучшие времена: мемуары без формальностей» мы вовсе не найдем привычного витиеватого, контрастного дос-пассосовского письма. В книге «Во всех краях», построенной все же в первую очередь как сборник путевых очерков и лишь во вторую – как автобиография, обнаруживаем сочетание писательского объективизма, стремления в первую очередь

зафиксировать детали действительности (красочное описание мексиканских улиц) - и публицистического пафоса, свойственного публикациям Дос Пассоса в периодике (гневные рассуждения о классовом неравенстве и нищете простых мексиканцев).

Неудивительно, что именно у Дос Пассоса травелог, в рамках которого соединяются и соперничают собственно путешествие и публицистика, имеет такое множество многоликих и разноголосых форм. Но одну изначальную свою функцию – созерцательное, пассивное описание чужого мира – травелог у Дос Пассоса утрачивает. Более того, путешествие прекращает быть формой побега от действительности родной страны, утрачивает значение моста между «своим» и «чужим». Дос Пассос, поистине «гражданин мира», во всех краях находил одни и те же проблемы и противоречия и размышлял над тем, как их можно разрешить. Праздное любопытство ему как путешественнику свойственно не было, и здесь приводившаяся в первой главе цитата о «пассивном туристе», сменившем в середине XIX века «активного путешественника», неприменима. Целью его путешествий было не сравнение, не отделение одного от другого, а, напротив, поиск сходств. **Поэтому травелоги Дос Пассоса и формально, и содержательно максимально далеко отстоят от классических американских травелогов XIX века и предваряют травелог современный в том отношении, что сакральное, мифологическое значение перемещения между двумя мирами свойственно им почти в столь же малой степени; их посыл – в познании мира как целостного пространства.**

6.2. Э.Э. Каммингс: травелог без правил

Э.Э. Каммингс путешествовал значительно меньше, чем его друг; полюбившаяся ему Европа вскоре стала для него вторым домом, и поездки туда как путешествия не воспринимались; собственно говоря, главное тому

доказательство – то, что травелог у Э.Э. Каммингса всего один: «ЭЙМИ, или я есмь». Однако с точки зрения расширения границ жанра и модернистского его переосмысления это текст один из самых значительных для рассматриваемого периода.

Каммингс не особенно интересовался политикой до своей поездки в СССР в 1931 году; то, как горячо он отстаивал перед отцом Октябрьскую революцию (одна из самых громких фраз, которой завершается его письмо отцу, написанное в 1923 году: «Как всегда, восхищаюсь Россией»³¹²), связано было скорее с романтическим восприятием Советской России, принятым тогда в его кругу. Он отправился туда скорее из любопытства, захваченный рассказами о торжестве свободы, которыми захлебывались побывавшие в СССР знакомые (например, Луи Арагон и Эльза Триоле), один за другим объявлявшие себя коммунистами. Дэвид Фарли указывает на то, что одним из тех, кто в разговорах с Каммингсом отзывался об СССР восторженно, был именно Дос Пассос, с другой стороны, пишет исследователь, известно ему было и крайне отрицательное мнение о советском эксперименте журналиста Морриса Вернера³¹³. Таким образом, заключает Фарли, Каммингс был изначально настроен по отношению к СССР необъективно – впрочем, трудно себе представить, чтобы в те годы Россию посетил хоть один по-настоящему беспристрастный наблюдатель. В первой главе мы упомянули о том, какие существенные изменения произошли в России именно в тот краткий промежуток времени, когда «разминулись» Дос Пассос и Каммингс. В сущности, они увидели «разные» Советские Союзы: Дос Пассос – СССР времен позднего нэпа и относительных творческих и личностных свобод, Каммингс – СССР после года «великого перелома», решительного поворота к тоталитаризму. Если для Дос Пассоса, побывавшего в СССР раньше на три года, эта страна, пусть бедная и разоренная, пусть небезупречная с точки

³¹² Cummings E.E. Selected Letters of E.E. Cummings. P. 104.

³¹³ Farley D.G. Modernist Travel Writing: Intellectuals Abroad. – Columbia, MO: University of Missouri Press, 2010. P. 56.

зрения личностных и творческих свобод, явилась примером строительства нового общества, избавленного от пороков капиталистического Запада, то Каммингс в 1931 году воспринимает СССР не иначе как дантовский ад, «немир».

Каммингс пробыл в СССР недолго – шесть весенних недель 1931 года. Из них три он провел в Москве, остальные три потратил на то, чтобы уехать: мечтая поскорее выбраться из России через Стамбул, он отправился в Одессу через Киев, и то, что его путешествие продлилось так долго (вопреки своему изначальному плану остаться в России на несколько месяцев и даже лет и заниматься написанием книги, Каммингс, по всей видимости, готов был сесть на обратный поезд уже через несколько дней после приезда в Москву), связано было, как видно, с тем, что ему пришлось исполнить еще множество поручений и передать множество подарков жителям СССР от зарубежных друзей и родственников. В Москве Каммингса берет под опеку профессор литературы, театровед Генри «Гарри» Дана, живший в Москве с 1927 года, - начинает водить его по городу, знакомить с театральной и литературной жизнью столицы, пытается увлечь Каммингса коммунистической риторикой. Каммингс, верный своей метафоре России как дантовского Ада, называет Дану своим Вергилием. Они много, иногда слишком громко спорят о коллективизме и ценности личности, за Каммингсом начинают наблюдать ГПУ, из-за чего ему приходится вести дневники в зашифрованном виде. За несколько месяцев до приезда Каммингса «руководство РАПП принимает резолюцию, призывающую всех пролетарских писателей “заняться художественным показом героев пятилетки”. Отныне единственно возможной литературой в СССР становится пролетарская»³¹⁴. Каммингс встречается с Лилей и Осипом Бриками, передает подарки от сестры Лили Эльзы Триоле, выслушивает очередную прокоммунистическую лекцию от Брика. Встречается он и с Мейерхольдом, который вполголоса жалуется ему на цензуру в театре. Разумеется, все это вместе приводит «плохого парня от

³¹⁴ Приключения нетоварища Каммингса в Стране Советов. С. 38.

литературы», эгоцентрика и индивидуалиста, в ужас. Ни с Горьким, ни с Пастернаком, ни со Стеничем, знакомым Дос Пассоса по поездке в СССР и переводчиком как Дос Пассоса, так и самого Каммингса, встретиться не удалось, но едва ли беседы с ними добавили бы ему жизнерадостности. Продержавшись в Москве пару недель, он разрабатывает план побега и вскоре возвращается в Париж: в «мир» из «немира».

Читателя, знакомого со стилем Каммингса-поэта, в «ЭЙМИ» не удивят его эксперименты, в том числе графические, с языком: авторская пунктуация, нефиксированность прозаической/поэтической природы текста, перестановка букв внутри слова, пугающего вида звукоподражания (pahjahlstah), переключения между языками, главным образом английским и французским, неологизмы, как простые (например, deathskins, snorgrunt или wogglewiggel), так и представляющие собой гибриды французских и английских слов, и т.д. Все эти черты нельзя назвать особенностью именно «ЭЙМИ», однако важно, что Каммингс считает возможным, более того – необходимым перенести их в травелог; здесь это не просто следование собственному стилю, а условие воссоздания того самого образа «людей и мест», к которому так или иначе стремится любой травелог. Просто этот образ настолько извращен и обезчеловечен, что никак иначе писать об СССР нельзя, так что «затрудненность чтения» стихов или тем более писем Каммингса не идет ни в какое сравнение с нарочитой какофонией «ЭЙМИ», где слова распадаются на звуки и иногда даже принудительно лишаются права быть узнанными. На важность этого мотива в «ЭЙМИ» указывает Фарли, применяя то же правило к персонажам поэмы: «Каммингс делает нарочито труднодоступным само понятие идентичности. Например, мы видим, как он придумывает клички людям, с которыми встречается, – казалось бы, чтобы различать их», но потом оказывается, что это лишь отражение «тех скользких, неуловимых масок, которые навязывает людям система, напрочь отрицающая

индивидуальность»³¹⁵. Персонажи тоже становятся обезличенными. И основная мысль «ЭЙМИ», основное впечатление Каммингса от поездки в СССР – ужас обезличенности – оказываются выражены в его травелоге не на содержательном, а именно на формальном уровне, что вполне соответствует духу модернизма. Учитывая то, что повествование о путешествии изначально сосредоточено именно на содержательном, предметном плане, можно сказать, что в «ЭЙМИ», где путешествие «воспроизводится» не за счет того, *что* говорится, а за счет того, *как* говорится, - вся традиция жанра переворачивается с ног на голову. Каммингс писал об «ЭЙМИ»: «И пускай меня потом станут рассекречивать, говорить, что я нагородил иероглифов, пускай: здесь нет ни единого преувеличения, ни единой слономухи, ни единого пропуска и ни единой надстройки...»³¹⁶

В свете вышесказанного особенно примечательным кажется название травелога: «ЭЙМИ: Я ЕСМЬ». В советском антимире, где все лишено индивидуальности и даже отдельные персонажи как будто сливаются друг с другом, главным выводом, лейтмотивом для автора оказывается мысль о его собственном, вопреки окружающему, индивидуальном бытии. Автобиографическая составляющая травелога здесь тоже превращается в перевертыш: для того, чтобы рассказать о самом себе, - сделать то, для чего Драйзеру, например, требовалось столько пространных пассажей, - путешественнику достаточно противопоставить образу СССР одну фразу: «я есть», приобретающую в таком контексте весомость и насыщенность целого автобиографического повествования.

Как и Генри Миллер, Каммингс окончательно разрушает границу между травелогом и художественным творчеством. Но если целью Миллера было освобождение от литературной формы как таковой, слияние с жизнью, то для Каммингса наоборот: именно следование форме задало ту логику, которая позволила ему написать

³¹⁵ Farley D.G. *Modernist Travel Writing*. P. 57.

³¹⁶ Цит. по: *Ibid.* P. 56.

документальный текст точно так же, как он писал тексты художественные. Травелоги Каммингса и Миллера можно считать двумя полюсами одного явления – свершившейся трансформации жанра путешествия в американской литературе.

Поэма-травелог «ЭЙМИ» становится безжалостной отповедью коммунизму. Фарли, цитируя неопубликованную переписку Каммингса, пересказывает эпизод общения поэта с издателем Паскалем Ковичи по поводу издания книги: Каммингс смущенно предупреждает издателя, что книга, в отличие от отзывов об СССР большинства левых интеллектуалов, направлена против России; Фарли подчеркивает, что Каммингс опасался издавать «ЭЙМИ» именно потому, что сознавал: этот текст идет настолько вразрез с мнениями, бытовавшими в его кругу, что он рискует перессориться с половиной друзей. Тем не менее, книга была опубликована уже в 1933 году (в 1932 печаталась фрагментарно в журнале “Hound & Horn”).

Реакция на «ЭЙМИ» была достаточно бурной, особенно же интересно, что спустя больше десяти лет, сразу после Второй мировой войны вышла свежая и не менее эмоциональная рецензия на переиздание книги. По газетным откликам на «ЭЙМИ» достаточно легко отследить перемену в магистральной линии взглядов на СССР в США: от интереса, граничащего с восхищением и страхом, в 1930-х – до начавшейся уже в середине 40-х гг. Холодной войны и маккартизма. Если рецензенты 30-х в основном обращают внимание на необычную форму травелога Каммингса и сетуют на усложненность его стиля, то обозревателям послевоенных газет куда более интересно содержание этой книги: ненависть автора к СССР приходится как нельзя более ко двору.

Например, в 1933 году Гилберт У. Мид пишет: «Никто не осмелится судить о книге, не читая ее – или хотя бы не предприняв честной попытки сделать это. Если в конце концов вы обнаружите, что человек, который использует разные языки в качестве инструментов для разъяснения самому себе собственных впечатлений и плюет с высокой колокольни на

ограниченные возможности читателя, совершенно заморочил вам голову – в таком случае мне придется потесниться на своей тупицыной жердочке, а глядишь – и целую комнату подготовить для тех, кто, как и я, слишком стар для того, чтобы разучивать все эти необыкновенные новые способы принуждения языка к сокрытию смыслов»³¹⁷. Рецензент “Honolulu Star-Bulletin” в том же 1933 году, на наш взгляд, высказал более глубокую точку зрения на книгу: «...Эти 430 страниц, тем не менее, посвящены в основном головным болям самого мистера Каммингса: тому, как ему неудобно, тому, как ему неприятно, тому, как ему смешно все, что ни есть в СССР; описаний же и рассказов о том, как он хоть куда-нибудь пошел и хоть что-нибудь увидел, ничтожно мало – упоминается о нескольких пьесах, нескольких визитах в кинотеатр, и еще мавзоль Ленина в Москве, и еще пара пляжей в Одессе; также не предпринимается ни малейшей попытки вникнуть в то немногое, что он видел. <...> Словом, перед Советским Союзом Каммингс зажимает нос, а язык для пояснения причин выбирает до такой степени причудливый, что разобраться в этом большинству будет ох как нелегко. Те же, кто разберется, узнают гораздо больше о самом мистере Каммингсе, нежели об СССР»³¹⁸. К слову, Д. Фарли тоже мягко высказывается об «ЭЙМИ» как о тексте «малособытийном». В свете вышесказанного эта малособытийность не удивляет: события здесь разворачиваются не в сюжете, а в грамматике.

В 1949 году было предпринято переиздание «ЭЙМИ», и одной из реакций на это переиздание явилась небольшая статья Фрэнсис Фергюсон, напечатанная в 1950 году “Kenyon Review”, а затем вошедшая в сборник «Критические эссе об Э.Э. Каммингсе» (1984). Фергюсон, как и Фарли, сравнивает «ЭЙМИ» с крупнейшими текстами модернизма (первая видит сходство с «Улиссом» Джойса и «На маяк» Вирджинии Вулф, второй скорее

³¹⁷ Mead G. New Type of Novel Baffles with an Odd Style // The Birmingham News. 1933. April 9. P. 37.

³¹⁸ E.E. Cummings Thumbs Nose at the Soviet // Honolulu Star-Bulletin. 1933. July 1. P. 24.

– с «Поминками по Финнегану») и предполагает, что читать этот текст, как и стихи Каммингса, следует «по чуть-чуть». Это замечание существенно в свете того, что именно Каммингс из всех рассмотренных нами авторов предпринимает попытку вывести травелог не просто в межжанровое, но в межродовое пространство и создать текст на грани поэзии и прозы. «Товарищ Кемминкз был взращен Парижем, Парижем межвоенного периода, и потом в России он весьма своеобразно представляет западный мир: не как адвокат, <...> а как одно из самых одухотворенных, самых убежденных его созданий. Его столкновение с Революцией – это не вопрос веры или теории, это вопрос *бытия*, как выразились бы экзистенциалисты или, как предпочитаю выразиться я, вопрос существования на острие мгновения. Сущность этой книги – в том, что Кемминкз видит, чувствует, слышит, напевает, от мгновения к мгновению»³¹⁹.

А вот что пишет Марджори Рейган в 1949 году: «Когда в 1931 году Э.Э. Каммингс отправился в Россию, при нем было его артистическое мироощущение, американская вера в свободу личности и записная книжка. Получившийся в итоге травелог, недавно переизданный, - настоящий разнос советского режима. <...> Он обнаружил, что поезда ходят медленно, комнаты грязны до невероятия, да и таким жильем особенно не разживешься, еда практически несъедобна и дорога, женщины – это попросту “немужчины”, а люди заморены чувством вины и страхом. Он описывает жалкий восторг иных русских рабочих, открывших для себя американское приспособление для подпиливания ногтей. <...> Словом, убежденный индивидуалист мр. Каммингс ни нашел в России тридцатых ни единого повода для радости или восхищения. <...> Каммингс, имевший замечательный успех со своей “Чудовищной комнатой” после Первой мировой войны, написал остроумную, высококлассную книгу, которая как нельзя лучше поможет американцам разобраться в советской философии»³²⁰.

³¹⁹ Critical Essays on E.E. Cummings / Ed. by G. Rotella. – Boston, MA: G.K. Hall, 1984. P. 60.

³²⁰ Cummings-Eye View of Russia // The News and Observer, 1929. February 27. P. 45.

Эта заметка – более чем наглядный пример послевоенной американской риторики, сопровождавшей нарастающую неприязнь к СССР: травелог Каммингса используется как инструмент формирования образа врага – страны-«антимира»³²¹.

Вполне предсказуемо, что в конце жизни и сам Каммингс становится ярким сторонником маккартистов. В 1953 году, в разгар маккартизма, когда гонения на инакомыслящих достигают своего пика, он писал своей сестре Элизабет: «(2) Будучи человеческой особью, быть может, не совсем разумной, я убежден, что так называемый маккартизм не свалился с неба ни с того ни с сего, что он (напротив) является вполне себе прямым следствием всего им осуждаемого – а именно, прокоммунистически-и-т-д-игрищ, которые спонсируют м-с Рузвельт и ее мессияньячки настроенный поделщик, и плюс к ним свора не менее достойной шантрапы, более того, держа глаза&ушки на макушке, я убежден, что именно благодаря усерднейшим поучалкам этих омерзительных доброделателей Россия сделалась мировой державой & на корейской войне погибает Бог знает сколько ни в чем не повинных корейцев – не говоря уж о вполне себе повинных американцах – ежедневно. (3) В 1931 я ездил в Россию, и то, что я там нашел, может перенести заново любой, кто в состоянии прочесть книгу под названием “ЭЙМИ”. Поскольку (такова благодать “всеобщего образования” - хлебозрелиц современного цезарства) почти никто не в состоянии что бы то ни было прочесть, давай-ка я добавлю: даже если бы “коммунизм” был хорош, мне бы не понравился “коммунизм”»³²². Примечательно, что переживший духовный переворот и в конце жизни занявший отчетливо консервативные позиции Дос Пассос тоже симпатизировал маккартизму.

Дос Пассос и Каммингс сохранили дружеские отношения на всю жизнь, и, судя по всему, основой этих отношений, как это часто бывает, были

³²¹ Также о советских травелогах Дос Пассоса и Каммингса см.: Кузина Д.Д. Два друга – две России: советские травелоги Э.Э. Каммингса и Дж. Дос Пассоса // Вопросы литературы. 2022. №2. С. 67-88.

³²² Cummings E.E. Selected Letters of E.E. Cummings. P. 223.

воспоминания о проведенных бок о бок юношеских годах. В сущности, расхождения во взглядах на СССР были не причиной, а симптомом того, что дружба эта теряет с годами свою, скажем так, актуальность, интеллектуальную насыщенность. Дос Пассос и Каммингс, эти яркие и противопоставленные по сути представители «потерянного поколения», в конце жизни пришли примерно к одинаковым взглядам – и, конечно же, сами над собой и друг над другом посмеивались; уже в 1937 году Дос Пассос писал С. Митчеллу: «Пару недель назад провел вечер с Каммингсом. Он вроде в порядке, веселый, хотя теперь он еще больший тори, чем ты только можешь себе вообразить. И почему это почти все поэты, войдя в средний возраст, становятся яростными реакционерами?»³²³ Какими бы реакционерами, возможно, ни стали с возрастом Дос Пассос и Каммингс, в их рассказах о собственных путешествиях **1) было переосмыслено само понятие путешествия, размылась идея границы между своим и чужим (Дос Пассос); 2) был произведен ряд формальных экспериментов, открывших травелогу новые средства выразительности – аранжировка, «монтаж» материала (Дос Пассос) и совмещение плана формы и плана содержания по образцу поэтических текстов (Каммингс); 3) свершилось окончательное размывание границ между травелогом и художественным творчеством (Каммингс).**

³²³ Dos Passos J. The Fourteenth Chronicle. P. 504

Заключение

Жанр путешествия для американской литературы играет особую роль. Мало того, что сама Америка появляется в мировой литературе благодаря путевым запискам моряков разных национальностей, добравшихся до ее берегов в IX-X, а затем в XV-XVI веках, - собственно американская литература тоже начинается с записок первопоселенцев, которые естественным образом содержат в себе элементы жанра путешествия. Недоверие протестантов к «изысканной», развлекательной литературе привело к тому, что в американской литературе колониального периода превалировало документальное начало, а количество жанров было очень ограниченным. В результате эта литература характеризовалась чрезвычайным синкретизмом, и собственно путешествие было в ней не столько самостоятельным жанром, сколько одной из тем. Вычленение же травелога как самостоятельного жанра следует относить к началу XVIII века. На протяжении этого столетия сложились основные черты, характерные для американского травелога: направленность «вовне», на познание и описание нового мира; стремление к фактографичности, зачастую сближающее травелог с научным трактатом; склонность к публицистичности религиозного (травелоги странствующих проповедников) или социального (сатирические травелоги, травелоги «рекламного» характера, целью которых было привлечение как можно большего числа переселенцев за океан) толка.

XIX век характеризуется обострением проблемы культурной самостоятельности США в отношениях с бывшей метрополией и, шире, со Старым Светом. Травелоги того времени, посвященные в абсолютном большинстве поездкам в Европу, делятся на две категории: в одних Европа показана критически, Америка превозносится как страна гражданских свобод и гармоничного сосуществования человека и природы, в других на первый план выходит восхищение историческим и культурным богатством Европы. Так или иначе, ведущей темой этих текстов являются взаимоотношения

Европы и Америки, и еще одной ключевой темой американского травелога становится оппозиция «колония-метрополия», комплекс вторичности и отсталости, или превосходства – как обратная сторона медали. В конце века начинают появляться тексты, в которых преклонение перед Европой и сама Европа высмеиваются, а появление пародий на жанр, как обычно, становится признаком скорой его трансформации.

Новый виток непростых отношений между США и Старым Светом, пришедшийся на начало XX века, был по-прежнему связан с вопросом об американской национальной идентичности, но в свете меняющейся экономической, политической и культурной картины мира этот вопрос ставится уже по-новому: отныне американцы со все большей уверенностью взирали на мир глазами будущих лидеров, а интерес к тому, что такое Америка и кто такие американцы, чрезвычайно обострился. Контекстом же поисков ответа на эти вопросы явилась беспокойная историческая обстановка тех лет – Первая мировая война и прочие социальные потрясения (революции и диктатуры, демонтаж колониальной системы, появление новых стран на карте мира и т.д.). Все это создает принципиально новый контекст для травелога того времени. Атмосфера, в которой путешествуют писатели-американцы, «заряжена» вопросами об американской национальной идентичности, получившими небывалую доселе остроту. Американцы отправляются в Старый Свет не только с туристическими или деловыми целями, но и как призывники, военные корреспонденты, общественные деятели; это пытливые и нередко деятельные путешественники, желающие постичь опыт разных цивилизационных моделей, социальных экспериментов, а порой и участвовать в общественных процессах не только на родине, но и за ее пределами.

Глубокая трансформация и самой Америки, дебаты о будущем американской цивилизации (борьба сторонников ассимиляции и поликультурности, европоцентристов и нативистов) породили кризис национального самосознания, причем проблемы эти перестают быть темой

для отвлеченных споров и требуют немедленного разрешения. Травелог занимает свое – и весьма заметное место в национально-культурном строительстве эпохи модернизма, что ведет к развитию и трансформации жанра.

Сделавший тему национально-культурной идентичности магистральной для своих многочисленных заметок о путешествиях, Генри Джеймс, писатель старшего поколения, становится первопроходцем ее осмысления в жанре травелога в современном ключе.

На смену «обычному описанию мест и людей» приходит травелог, сблизившийся или слившийся с автобиографией, что открыло в нем пространство для свободного переключения между временными пластами – описываемой действительностью и воспоминаниями; для самоанализа и модернистской техники потока сознания. В Теодоре Драйзере, путешествующем по Европе или по родному штату Индиана, увиденное во время путешествия то и дело вызывает порыв к переосмыслению своего прошлого; Генри Миллер в своих травелогах о Греции и Америке планомерно отказывается от объективного изображения действительности и любых формальных ограничений, стремясь соединить литературу и жизнь; для Джона Дос Пассоса или афроамериканцев Лэнгстона Хьюза и Клода Маккея, чьи биографии неотделимы от их путешествий, автобиографический травелог вообще становится единственной возможной формой повествования о путешествии. Лэнгстон Хьюз дает своей книге «Поброжу и расскажу» подзаголовок «автобиографическое путешествие». В травелоге нового типа привычная, функция информативности отходит на второй план, уступая место интеллектуальной и эмоциональной реакции автора на увиденное, ассоциациям, которые оно у него вызывает. Так постепенно намечается новое отношение к путешествию: вместо понятного, продуманного маршрута, цель которого – побывать в определенных местах и увидеть определенные вещи, в центре оказывается путешествие как таковое, позволяющее сменить обстановку и лучше понять самое себя. Это приводит

к тому, что травелог принимает форму не только автобиографии, но и исповеди.

Автобиография – не единственный жанр, с которым оказывается способен сливаться травелог в первой трети XX века. Заложённая в нем ещё первыми американскими травелогами склонность к публицистичности разворачивается теперь в полную силу, и травелог нередко становится для автора трибуной, с которой он обращается к читателям, к собственному народу или ко всему человечеству. Дос Пассос, путешествующий по Мексике, то и дело раздражается гневными отповедями в адрес угнетателей простого народа. Генри Миллер в своем травелоге об Америке предстает обличителем всего американского образа жизни и системы ценностей.

Не менее характерной чертой оказывается способность нового травелога становиться пространством художественного эксперимента, включать в себя фикциональные элементы. В травелоге нащупываются и обретают форму будущие сюжеты художественных произведений, и авторы даже не пытаются это скрыть – так, например, происходит в травелогах Драйзера или Генри Джеймса; в травелоге автор оказывается волен в большей или меньшей степени превратить самого себя в персонажа, не во всем совпадающего с биографической личностью, как это делает Лэнгстон Хьюз.

Другая черта американской литературы путешествия первой трети XX века, развившаяся уже в современности, – ослабление фундаментальной для классического травелога оппозиции «свое-чужое». Можно подпасть под очарование необычного пейзажа, языка или национального костюма, но это внешнее – проблемы, страсти и радости повсюду одинаковы. Такими предстают зарубежные страны в травелогах Дос Пассоса, который одним из первых среди американских писателей начал познавать мир как нечто целостное, или в путешествиях Лэнгстона Хьюза. В травелогах этих авторов уже намечается тенденция глобализма, которая в наши дни является одной из самых влиятельных. Одним из следствий этой тенденции является осознание

писателей-путешественников стереотипизации образов отдельных стран и народов и стремление преодолеть, деконструировать эти стереотипы в своих травелогах. Драйзер из желания «увидеть подлинную Россию» посещает помимо двух столиц Нижний Новгород, Центральную и Южную Украину и Кавказ; Лэнгстон Хьюз в Венеции намеренно сходит «с туристической тропы» и отправляется искать по ту сторону парадных каналов кварталы итальянских бедняков. Культурное наследие прошлого все реже понимается как то, чем европейцы обладают, и чего американцы лишены: это культурное наследие принадлежит всему человечеству. Шервуд Андерсон пишет в своих французских заметках: «Ошибка французов в том, что они уверены – все мы, приехавшие во Францию и в Париж, явились сюда, чтобы восхищаться ими. Однако мы – американцы, англичане, латиноамериканцы, немцы, больше любим и лучше понимаем свою собственную страну и свой народ. Сюда нас привлекает старина. Здесь на улицах живут воспоминания. Час простоять на открытом воздухе, рассматривая здание Лувра – ради этого стоило пересекать Атлантику. Мы ходим по улицам, где живут тени великих художников прошлого, а современные французы так же далеки от них, как и мы сами» [Перевод О.Ю. Пановой].³²⁴

Трансформируется не только содержательная сторона травелога, но и формальная. Изначально логика жанра предполагает ясность, доступность изложения, поскольку целью его является правдивый и информативный рассказ о местах, в которых, например, не бывал читатель. В первой трети XX века идея путешествия, осмысленная в духе модернизма, приводит травелог к усложнению и затемнению языка повествования. Джон Дос Пассос применяет к травелогам кинематографическую технику монтажа, в основе которой – не столько стремление к художественной выразительности, сколько новое представление о правде. Э.Э. Каммингс, увидевший в Советской России ужас хаоса и обезличенности, отразил это

³²⁴ Французский акцент. Коллективная монография к 60-летию А.Н. Таганова. – Иваново, изд-во Ивановского государственного университета, 2010. С. 146.

непосредственно в языке своего тревелога, используя те же приемы, на которых строится его поэзия, и тем самым окончательно разрушив границу между документалистикой и художественным творчеством.

Запрос на документализм, характерный для XX века, в том числе и для первой его половины, привел к расцвету жанра путешествия. Первостепенная цель классического тревелога – внятное, доступное, объективное и последовательное описание посещенных мест – для тревелога нового типа становится, пожалуй, наименее значимой. На первый план выдвигается способность путешествия и новых впечатлений побудить автора к переосмыслению прежних представлений о мире, о своей стране и о самом себе.

Мы полагаем, что изменения, произошедшие с жанром путешествия в США в первые десятилетия XX века, были столь закономерны для культурного сдвига, имевшего место в Америке в то время, столь характерны для всей американской культуры в целом, что можно говорить о влиянии этих перемен на развитие литературы США в дальнейшем, в особенности после молодежной революции 1960-х годов, когда приобрела такое значение тема свободы, неизменным воплощением которой является путешествие. Тревелог занимает новое место в литературе США, становится привычным пространством для размышлений о собственной жизни (например, в «Путешествии с Чарли в поисках Америки» Джона Стейнбека, 1962). Путешествие становится органичным форматом для рассказа о тех или иных журналистских экспериментах и новом социальном опыте («Русский дневник» Стейнбека, 1948). Слияние путешествия с автобиографией и стилистическая свобода жанра, которой добились художники-модернисты, предопределили появление мультижанровых (роман, автобиография, тревелог) текстов писателей-битников – наиболее близкими к собственно тревелогу являются «В дороге» (1957) и «Бродяги Дхармы» (1958) Джека Керуака. Запрос на документализм и бурное развитие документальных жанров в первой половине XX века в 1960-1970-е породили специфически

американское литературное явление, повлиявшее впоследствии на всю мировую литературу – «новую журналистику», в которой слияние документа и литературного, художественного его переосмысления поднялось на небывалую до тех пор высоту. В некоторых из произведений новой журналистики, таких как «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте (1966), путешествие – в частности, исследование удаленных от центра уголков Америки – является закономерной и значимой частью сюжета и композиции. На новом витке развития культуры тема дороги вышла далеко за пределы литературы и стала одной из основных для американского романа и кинематографа. Путешествие в американской литературе, кинематографе и искусстве второй половины XX века представляется нам интересной и перспективной темой дальнейшего исследования.

Библиография

Тексты

1. Cummings E.E. Eimi: the Journal of a Trip to Russia [Text] / E.E. Cummings. – New York: Covici-Friede, 1933. – xix, 431 p.
2. Cummings E.E. Selected Letters of E.E. Cummings [Text] / Ed. by F.W. Dupee and G. Stade. – New York: Harcourt, Brace & World, 1969. – xxiv, 296 p.
3. Dos Passos J. The Best Times. An Informal Memoir [Text] / J. Dos Passos. – New York: Penguin Random House, 1966. – 229 p.
4. Dos Passos J. Easter Island. Island of Enigmas [Text] / J. Dos Passos. – Garden City, NY: Doubleday, 1971. – xi, 150 p.
5. Dos Passos J. The Fourteenth Chronicle: Letters and Diaries of John Dos Passos [Text] / Ed. and with a biogr. narrative by T. Ludington. – Boston, MA: Gambit, 1973. – xiv, 662 p.
6. Dos Passos J. In All Countries [Text] / J. Dos Passos. – New York: Harcourt, Brace and Co., 1934. – viii, 273 p.
7. Dos Passos J. Journey Between Wars [Text] / J. Dos Passos. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1938. – 394 p.
8. Dos Passos J. The Major Nonfictional Prose [Text] / J. Dos Passos. – Detroit, MI: Wayne State University Press, 1988. – 320 p.
9. Dos Passos J. Orient Express [Text] / J. Dos Passos. – New York: Harper&Bros, 1927. – 223 p.
10. Dos Passos J. Rosinante to the Road Again [Text] / J. Dos Passos. – New York: George H. Doran Company, 1922. – 257 p.
11. Dreiser T. Complete Works of Theodore Dreiser [Text] / T. Dreiser. – Hastings: Delphi Classics, 2017. – 11642 p.
12. Dreiser T. Dreiser Looks at Russia [Text] / T. Dreiser. – New York: Horace Liveright, 1928. – 536 p.

13. Dreiser T. *Dreiser's Russian Diary* [Text] / T. Dreiser. – Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1996. – 312 p.
14. Dreiser T. *A Hoosier Holiday* [Text] / T. Dreiser. – Bloomington, ID: Indiana University Press, 1997. – 560 p.
15. Dreiser T. *Interviews* [Text] / Ed. D. Pizer, F.E. Rusch. – Chicago: University of Illinois Press, 2004. – 204 p.
16. Dreiser T. *A Traveler at Forty* [Text] / T. Dreiser. – New York: The Century Company, 1913. – 526 p.
17. Eliot T.S. *American Literature and American Language: An Address Delivered at Washington University* [Text] / T.S. Eliot. – Saint Louis, WA: Washington University Press, 1953. – 46 p.
18. Frank W. *Dawn in Russia: the Record of a Journey* [Text] / W. Frank. – New York, London: Scribner's Sons, 1932. – 272 p.
19. Frank W. *South American Journey* [Text] / W. Frank. – London: Victor Gollanzes Ltd, 1944. – 212 p.
20. Halliburton R. *The Flying Carpet* [Text] / R. Halliburton. – Indianapolis, IN: The Bobbs-Merril Company, 1932. – 434 p.
21. Halliburton R. *The Glorious Adventure* [Text] / R. Halliburton. – Indianapolis, IN: The Bobbs-Merril Company, 1927. – 416 p.
22. Halliburton R. *New Worlds to Conquer* [Text] / R. Halliburton. – Garden City, NY: Garden City Publishing Company, 1929. – 406 p.
23. Halliburton R. *The Royal Road to Romance* [Text] / R. Halliburton. – Garden City, NY: Garden City Publishing Company, 1925. – 259 p.
24. Halliburton R. *Seven League Boots* [Text] / R. Halliburton. – Indianapolis, IN: The Bobbs-Merril Company, 1935. – 386 p.
25. Hemingway E. *Green Hills of Africa* [Text] / E. Hemingway. – New York: Charles Scribner's Sons, 1935. – 310 p.
26. Hughes L. *The Big Sea* [Text] / L. Hughes. – New York: Hill and Wang, 1940. – 335 p.

27. Hughes L. *The Collected Works of Langston Hughes* [Text] / Ed. by A. Rampersad and D. Roessel. – Columbia, MO: University of Missouri Press, 2001.
28. Hughes L. *I Wonder as I Wander* [Text] / L. Hughes. – New York: Hill and Wang, 1993. – 436 p.
29. Hughes L. *Langston Hughes and the South African Drum Generation. The Correspondence* [Text] / Ed. by S. Graham and J. Walters. – London: Palgrave Macmillan, 2010. – 208 p.
30. Hughes L. *Moscow and Me* [Text] / L. Hughes // *International Literature*. – 1933. – № 3. – P. 61-66.
31. Hughes L. *Negroes in Moscow: In a Land Where is No Jim Crow* [Text] / L. Hughes // *International Literature*. – 1933. – №4. – P. 78-81.
32. Hughes L. *Selected Letters* [Text] / Ed. by A. Rampersad and D. Roessel. – New York: Knopf, 2015. – 480 p.
33. Hughes L. *Ships, Sea and Africa: Random Impressions of a Sailor on His First Trip Down the West Coast of Motherland* [Text] / L. Hughes // *The Crisis*. – 1923. Dec. – Vol. 27. – No. 2. – P. 69-71.
34. James H. *American Scene* [Text] / H. James. – London: Chapman and Hall, 1907. – 480 p.
35. James H. *The Art of Travel. Scenes and Journeys in America, England, France and Italy from the Travel Writings of Henry James* [Text] / Ed. and with an introd. by M.D. Zabel. – Garden City, NY: Doubleday, 1958. – iv, 567 p.
36. James H. *The Complete Notebooks of Henry James* [Text] / Ed. with introd. and notes by L. Edel and L. H. Powers. – New York: Oxford University Press, Oxford, 1987. – xxix, 633 p.
37. James H. *English Hours* [Text] / H. James. – Boston: Houghton, Mifflin and Co.; London: William Heinemann, 1905. – 451 p.
38. James H. *Henry James: Interviews and Recollections* [Text] / Ed. by N. Page. – Basingstoke: Macmillan, London, 1984. – xxii, 158 p.

39. James H. *Italian Hours* [Text] / H. James. – Boston: Houghton, Mifflin and Co.; London: William Heinemann, 1909. – 388 p.
40. James H. *The Selected Letters of Henry James* [Text] / Ed. with an introd. by L. Edel. – New York: Farrar etc., 1955. – xxxiv, 235 p.
41. London J. *The Cruise of the Snark* [Text] / J. London. – New York: The Macmillan Company, 1911. – 362 p.
42. Lyons E. *Assignment in Utopia* [Text] / E. Lyons. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1937. – 658 p.
43. Lyons E. *Moscow Carrousel* [Text] / E. Lyons. – New York: Alfred A. Knopf, 1935. – 416 p.
44. McKay C. *A Long Way from Home* [Text] / C. McKay. – New York: Lee Furman, 1937. – 354 p.
45. McKay C. *A Long Way from Home* [Text] / C. McKay. – New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2007. – xxxix, 272 p.
46. McKay C. *Soviet Russia and the Negro* [Text] / C. McKay // *The Crisis*. – 1923. Dec. – Vol. 27. – No. 2. – P. 61-65.
47. Melville H. *Journal of a Visit to Europe and Levant* [Text] / H. Melville. – New York: Gordian Press, 1955. – 299 p.
48. Miller H. *The Air-Conditioned Nightmare* [Text] / H. Miller. – New York: Hearst, 1945. – 255 p.
49. Miller H. *The Colossus of Maroussi* [Text] / H. Miller. – London: Harmondsworth Penguin Books, 1941. – 245 p.
50. Miller H. *Henry Miller Letters to Anais Nin* [Text] / Ed. and with an introd. by G. Stuhlmann. – New York: Putnam, 1965. – xxvi, 356 p.
51. Miller H. *Tropic of Cancer* [Text] / H. Miller. – Paris: Obelisk Press, 1934. – 323 p.
52. Miller H. *Tropic of Capricorn* [Text] / H. Miller. – Paris: Obelisk Press, 1934. – 364 p.
53. *Nobel Lectures, Literature 1901-1967* [Text] / Ed. by H. Frenz. – Amsterdam: Elsevier Publishing Company, 1969. – 642 p.

54. Perles A. My Friend Henry Miller [Text] / A. Perles. – London: London Spearman, 1955. – 242 p.
55. Steinbeck J., Ricketts E.F. The Log from Sea of Cortez [Text] / J. Steinbeck, E.F. Ricketts. – New York: Viking Press, 1969. – 356 p.
56. Thompson D. The New Russia [Text] / D. Thompson. – New York: Henry Holt and Company, 1928. – 371 p.
57. Travel Literature Through the Ages: An Anthology [Text] / Coll. and ed. by P.G. Adams. – London, New York: Garland, 1988. – xxvii, 611 p.
58. Дос Пассос Дж. Избранные сочинения в 3 тт. Том 1. [Текст] / Дж. Дос Пассос; сост. и вступ. статья и коммент. Е.М. Салмановой; пер. с англ. В. Азова, В. Стенича. – М.: Литература, 2000. – 752 с.
59. Дос Пассос Дж. Манхэттен [Текст] / Дж. Дос Пассос. – СПб.: Terra Fantastica, 1994. – 544 с.
60. Драйзер Т. Жизнь, искусство и Америка. Статьи, интервью, письма. Драйзер смотрит на Россию [Текст] / Т. Драйзер; перевод с английского А. Николюкина и Б. Гиленсона; сост. и предисловие Ю. Палиевской; коммент. В. Толмачева. – М.: Радуга, 1988. – 412 с.
61. Драйзер Т. Русский дневник [Текст] / Т. Драйзер; пер. с англ. Е. Кручиной. – М.: Эксмо, 2018. – 569 с.
62. Лондон Дж. Путешествие на Снарке [Текст] / Дж. Лондон; пер. с англ. М. Лорие, М. Бессараб, Е. Гуро. – М.: Географгиз, 1958. – 208 с.
63. Льюис С. Страх американцев перед литературой (речь при получении Нобелевской премии) [Текст] / С. Льюис; пер. с англ. Н. Высоцкой // Писатели США о литературе. – М.: Прогресс, 1974. – С. 194-206.
64. Миллер Г. Аэрокондиционированный кошмар. Эссе, рассказы. [Текст] / Г. Миллер; пер. с англ. Е. Храмова; сост. А. Зверева; коммент. А. Зверева и Е. Храмова. – М.: Б.С.Г.-Пресс: Пушкинская библиотека, 2001. – 428 с.
65. Миллер Г. Колосс Маруссийский [Текст] / Г. Миллер; пер. с англ. В. Минушина. – СПб.: Азбука-классика, 2001. – 320 с.

66. Миллер Г. Тропик Рака; Тропик Козерога. Современники о Генри Миллере [Текст] / Г. Миллер; пер. с англ. Г. Егорова, М. Салганик. – М.: АСТ, Астрель, 2000. – 714 с.
67. Мелвилл Г. Энкантадас, или Очарованные Острова. Дневник путешествия в Европу и Левант [Текст] / Г. Мелвилл; пер. с англ. В. Кондракова, Н. Димчевского. – М.: Мысль, 1979. – 224 с.
68. Перле А. Мой друг Генри Миллер: Дружеская биография [Текст] / А. Перле; пер. с англ., предисл. и коммент. Л. Житковой. – СПб: Лимбус пресс, 1999. – 343 с.
69. Пильняк Б.А. О'кэй, Американский роман [Текст] / Б.А. Пильняк. – М.: Федерация, 1933. – 374 с.
70. Хемингуэй Э. Зеленые холмы Африки [Текст] / Э. Хемингуэй; пер. с англ. В. Хинкиса. – М.: Географгиз, 1959. – 160 с.
71. Хьюз Л. Я видел будущее. Зарубежные писатели о Советском Союзе: Лэнгстон Хьюз, Шарль Вильдрак [Текст] / Л. Хьюз; пер. с англ. И. Гуровой // Иностранная литература. – 1977. – № 6. – С. 227-236.
72. Чуковский Н.К. О том, что видел [Текст] / Н.К. Чуковский. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 686 с.
73. Элиот Т.С. Американская литература и американский язык [Текст] / Т.С. Элиот; пер. с англ. А. Зверева // Писатели США о литературе. – М.: Прогресс, 1974. – 416 с.

Исследования

74. Андерсон Б. Воображаемые сообщества [Текст] / Б. Андерсон; пер. с англ. В. Николаева. – М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. – 416 с.
75. Аствацатуров А.А. Генри Миллер и его «парижская трилогия» [Текст] / А.А. Аствацатуров. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 344 с.

76. Аствацатуров А.А. Генри Миллер: художественное и документальное [Текст] / А.А. Аствацатуров // Филология и культура. – 2016. – № 4(46). – С. 102-109.
77. Батури́н С.С. Драйзер [Текст] / С.С. Батури́н. – М.: Молодая гвардия, 1975. – 336 с.
78. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе [Текст] / М.М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 234-407.
79. Беглые взгляды: новое прочтение русских тревелогов первой трети XX века [Текст] / сост. В.С. Киссель, Г.А. Тиме. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 400 с.
80. Гиленсон Б.А. В поисках другой Америки: Из истории прогрессивной литературы США [Текст] / Б.А. Гиленсон. – М.: Художественная литература, 1987. – 315 с.
81. Головченко И.Ф. Семантический комплекс «путешествия» в литературе акмеизма (Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Ахматова) [Текст] / И.Ф. Головченко. – Дисс. ... доктора филол. наук. – М., 2017. – 399 с.
82. Голубев А.В. «Взгляд на землю обетованную»: из истории советской культурной дипломатии [Текст] / А.В. Голубев. – М.: Институт российской истории РАН, 2004. – 276 с.
83. Гуминский В.М. Проблема генезиса и развитие жанра путешествий в русской литературе [Текст] / В.М. Гуминский. – Дисс. ... канд. филол. наук. – М., 1979. – 184 с.
84. Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента: Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921-1941 годы [Текст] / М. Дэвид-Фокс; пер. с англ. В. Макарова; науч. ред. пер.: М. Долбилов и В. Рыжковский. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 561 с.

- 85.Егоров О.Г. Литературный дневник XIX века: История и теория жанра [Текст] / О.Г. Егоров. – М.: Флинта, 2017. – 280 с.
- 86.Жданова Л.И. Русский дневник Джона Стейнбека в советской оптике [Текст] / Л.И. Жданова. – М.: Издательские решения, 2018. – 249 с.
- 87.Засурский Я. Н. Теодор Драйзер [Текст] / Я.Н. Засурский. – М.: МГУ, 1977. – 224 с.
- 88.Зверев А.М. Дорога никуда [Текст] / А.М. Зверев // Литературное обозрение. – 1980. – №2. – С. 77-80.
- 89.История литературы США [Текст] / Под ред. Я.Н. Засурского, М.М. Кореневой, Е.А. Стеценко. – М.: ИМЛИ РАН – Наследие, 1997-2009.
- 90.Кларк К. Москва, четвертый Рим. Сталинизм, космополитизм и эволюция советской культуры (1931-1941) [Текст] / К. Кларк; пер. с англ. А. Фоменко и О. Гавриковой. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 520 с.
- 91.Кузина Д.Д. Автогеография Теодора Драйзера: три травелога о четырех мирах [Текст] / Д.Д. Кузина // Вестник Пермского университета. Серия «Российская и зарубежная филология». – 2020. – Т.12. – №2. – С. 100-109.
- 92.Кузина Д.Д. «В недрах моей Африки»: травелоги и Клода Маккея Лэнгстона Хьюза о «стране предков» [Текст] / Д.Д. Кузина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. – 2021. – №26 – 2. – С. 227-236.
- 93.Кузина Д.Д. Два друга – две России: советские травелоги Э.Э. Каммингса и Дж. Дос Пассоса [Текст] / Д.Д. Кузина // Вопросы литературы. – 2022. – №2. – С. 67-88.
- 94.Кузина Д.Д. Два путевых дневника Германа Мелвилла: эволюция авторской манеры через призму документального жанра [Электронный ресурс] / Д.Д. Кузина // Литература двух Америк. Электронная версия. – 2019. – URL: <http://litda.ru/images/online->

[2019/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_2019.pdf](#)

95. Кузина Д.Д. «Новая Россия» и старые обиды: о литературном скандале вокруг советских травелогов Т. Драйзера и Д. Томпсон [Текст] / Д.Д. Кузина // *Studia Litterarum*. – 2020. – Т. 5. – №4. – С. 146-165.
96. Кузина Д.Д. Хронотоп дороги в повести Дж. Стейнбека «Заблудившийся автобус» [Электронный ресурс] / Д.Д. Кузина // Литература двух Америк. Электронная версия. – 2018. – URL: http://litda.ru/images/online-2018/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81_2018.pdf.
97. Куликова Г.Б. Новый мир глазами старого. Советская Россия 1920-1930-х годов глазами западных интеллектуалов: Очерки документированной истории [Текст] / Г.Б. Куликова. – М.: Издательский центр Института российской истории РАН, 2013. – 368 с.
98. Лапина Г.В. «Черные и белые»: история неудавшегося кинопроекта [Текст] / Г.В. Лапина // *Антропологический форум*. – 2016. – № 30. – С. 83-118.
99. Ливергант А.Я. Генри Миллер [Текст] / А.Я. Ливергант. – М.: Молодая гвардия, 2016. – 259 с.
100. Литературная история США [Текст] / Под ред. Р. Спиллера, У Торпа, Т.Н. Джонсона, Г.С. Кэнби; пер. с англ. Н. Анастасьева, В. Бернацкой, А. Зверева, Г. Злобина, А. Николюкина. – М.: Прогресс, 1977.
101. Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах [Текст] / Ю.М. Лотман // *Избранные статьи: В 3 т. Т.1.* – Таллинн: Александра, 1992. – С. 407-412.

102. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра I: К проблеме средневековой традиции в культуре барокко [Текст] / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. – М.: Гнозис, 1994. – С. 60-74.
103. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры [Текст] / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // Письма русского путешественника / Н.М. Карамзин. – Л.: Наука, Лен. отд., 1987. – С. 525-606. – (Литературные памятники).
104. Лурье Я.С. Русский «чужеземец» в Индии XV века [Текст] / Я.С. Лурье // Хождение за три моря Афанасия Никитина / А. Никитин. – Л.: Наука, Лен. отд., 1986. – С. 61-87.
105. Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра [Текст] / Н.М. Маслова. – М.: Знание, 1980. – 116 с.
106. Милюгина Е.Г., Строганов М.В. Русская культура в зеркале путешествий [Текст] / Е.Г. Милюгина, М.В. Строганов. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2013. – 176 с.
107. Михайлов В.А. Эволюция жанра литературного путешествия в произведениях писателей XVIII-XIX веков [Текст] / В.А. Михайлов. – Автореферат дисс. ... доктора филол. наук. – Волгоград, 1999. – 45 с.
108. Мишина Л.А. Художественно-документальные жанры в американской литературе XVII-XVIII вв. [Текст] / Л.А. Мишина. – Дисс. ... доктора филол. наук. – М., 1994. – 300 с.
109. Нерсесова Э.В. Категория национального самосознания как художественная доминанта романов Генри Джеймса [Текст] / Э.В. Нерсесова. – Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2008. – 32 с.
110. Николаева С.М. Д. Дос Пассос и Э. Хемингуэй о Первой мировой войне и Советской России (СССР) [Текст] / С.М. Николаева // Известия

- Самарского государственного университета Российской академии наук.
– 2012. – Т. 14. № 3. – С. 135-142.
111. Новая литературная история Америки [Текст] / Под ред. Г. Маркуса и В. Соллорса; пер. с англ. М. Давыдовой, Н. Заборина, Л. Кудинова, Е. Максимовой, В. Олейника, И. Поспехина, Т. Саранцевой, М. Табенкина, Н. Хреновой, И. Шахмуратовой. – М.: Весь мир, 2021. – 1168 с.
112. Островская Е.С. Лэнгстон Хьюз в переписке с журналом «Интернациональная литература» [Текст] / Е.С. Островская // Литература двух Америк. – 2017. – № 3. – С. 106-126.
113. Ошуков М.Ю. Творчество Генри Торо как явление американского романтизма: художественный мир писателя [Текст] / М.Ю. Ошуков. - Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – СПб., 1998. – 19 с.
114. Панов С.И., Панова О.Ю. Послесловие к предисловию: материалы к истории (не)издания Т. Драйзера в СССР [Электронный ресурс] / С.И. Панов, О.Ю. Панова // Новые российские гуманитарные исследования. – 2015. – №10. – URL: <http://www.nrgumis.ru/articles/1957/>.
115. Панова О.Ю. Афроамериканистика и Гарлемский ренессанс: «теория литературы как провокация истории литературы» [Электронный ресурс] / О.Ю. Панова // Литература двух Америк. Электронная версия. – 2019. – URL: <http://litda.ru/index.php/ru/onlajn-publikatsii/176-2019-god-2>.
116. Панова О.Ю. Гарлемский ренессанс и «художественное наследие предков»: Алан Локк об африканском искусстве и модернизме [Текст] / О.Ю. Панова // Литература и искусство. Век двадцатый / Ред. О.Ю. Панова, В.Ю. Попова, В.М. Толмачев. М.: Литфакт, 2020. – С. 310-333. (Серия «Литература. Век двадцатый». Вып. 5).

117. Панова О.Ю. «Дорогой ТД»: переписка Рут Эпперсон-Кеннел с Теодором Драйзером (1928-1929) [Текст] / О.Ю. Панова // Литература двух Америк. – 2021. – №11. – С. 289-423.
118. Панова О.Ю. Негритянская литература США XVIII – начала XX века: проблемы истории и интерпретации [Текст] / О.Ю. Панова. – Дисс. ... доктора филол. наук. – М., 2014. – 787 с.
119. Панова О.Ю. Образ России в американской культуре [Текст] / О.Ю. Панова // На переломе: образы России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX-начало XXI вв.). – М.: Новый хронограф, 2011. – С. 406-510.
120. Панова О.Ю. Первое знакомство: «литература американских негров» в освещении советской критики 1920-х гг. [Текст] / О.Ю. Панова // *Studia litterarum*. – 2019. – Т. 4. – № 4. – С. 98-125.
121. Панова О.Ю. Экзотический гость: Клод Маккей в Советском Союзе [Текст] / О.Ю. Панова // Литература двух Америк. – 2019. – С. 220-256.
122. Пономарев Е.Р. Типология советского путешествия: «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920-1930-х гг. [Текст] / Е.Р. Пономарев. – Дисс. ... доктора филол. наук. – СПб, 2014. – 577 с.
123. Попова В.Ю. Новое открытие «нашей Америки»: культурная утопия Уолдо Фрэнка в контексте раннего американского модернизма [Текст] / В.Ю. Попова // Научный диалог. – 2018. – № 7. – С. 202-212.
124. Приключения нетоварища Кемминкса в Стране Советов. Э.Э. Каммингс и Россия [Текст] / Сост., вступ. ст., пер. и коммент. В.В. Фещенко и Э. Райт. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. – 249 с.
125. Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы [Текст] / Под ред. Т.И. Печерской, Н.В. Константиновой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2016. – 464 с.

126. Саид Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока [Текст] / Э.В. Саид; послесл. К. Крылова; пер. с англ. А. Говорунова. – СПб.: Русский Мир, 2006. – 639 с.
127. Салманова Е.М. Джон Дос Пассос и Россия [Текст] / Е.М. Салманова. - Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. – СПб., 1997. – 18 стр.
128. Сиротинская (Кузина) Д.Д. Реверсивное движение: путешествия американских писателей в первой трети XX века [Текст] / Д.Д. Сиротинская (Кузина) // Иностранная литература. – 2021. – № 10. – С. 198-277.
129. Скафтымов А.П. О стиле «Путешествия из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева [Текст] / А.П. Скафтымов // Статьи о русской литературе / А. Скафтымов. – Саратов: Саратовское книжное изд-во, 1958. – С. 77-103.
130. Сорочан А.Ю. Туда и обратно: новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки [Электронный ресурс] // Новое литературное обозрение. – 2011 – № 112. – URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/112/so36.html>
131. Стеценко Е.А. История, написанная в пути... (Записки и книги путешествий в американской литературе XVII–XIX вв.) [Текст] / Е.А. Стеценко. – М.: ИМЛИ РАН, 1999. – 312 с.
132. Федорова Л.Г. Эта улица тоже ведь наша: свое и чужое в американских травелогах советских писателей [Текст] / Л.Г. Федорова // Литература двух Америк. – 2017. – № 3. – С. 307-325.
133. Шадрина М.Г. Эволюция языка «путешествий» [Текст] / М.Г. Шадрина. - Дисс. ... доктора филол. наук. – М., 2003. – 394 с.
134. Шачкова В.А. «Путешествие» как жанр художественной литературы: вопросы теории [Текст] / В.А. Шачкова // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Серия: Филология. Искусствоведение. – 2008. – № 3. – С. 277-281.

135. Щербинина О.И. Травелог Дороти Томпсон «Новая Россия»: история одной командировки в СССР [Текст] / О.И. Щербинина // Литература двух Америк. – 2017. – № 3. – С. 55-66
136. Эткинд А.М. Толкование путешествий: Россия и Америка в травелогах и интертекстах [Текст] / А.М. Эткинд. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – 483 с.
137. Хождение за три моря Афанасия Никитина / Под ред. Б. Грекова и В. Адриановой-Перетц. – М.; Л.: Изд. АН СССР, 1948. – 302 с.
138. Adams P.G. Travel Literature and the Evolution of the Novel. [Text] / P.G. Adams. – Lexington, KY: University press of Kentucky, 1983. – 382 p.
139. Alexander Ch.C. Here the Country Lies: Nationalism and the Arts in the Twentieth Century America [Text] / Ch.C. Alexander. – Bloomington, IN: Indiana University Press, 1980. – 336 p.
140. Allred J. American Modernism and Depression Documentary [Text] / J. Allred. – New York: Oxford University Press, 2010. – 283 p.
141. Anderson Q. The American Henry James [Text] / Q. Anderson. – New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1957. – xiii, 369 p.
142. Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization [Text] / A. Appadurai. – Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1996. – 229 p.
143. Arthur A. Literary Feuds: A Century of Celebrated Quarrels [Text] / A. Arthur. – London: Macmillan, 2002. – 224 p.
144. Baxter A.K. Henry Miller, Expatriate. [Text] / A.K. Baxter. – Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1961. – 220 p.
145. Baldwin K. The Russian Connection: Interracialism as Queer Alliance in The Ways of White Folks [Text] / K.Baldwin // Modern Fiction Studies. – Baltimore, MD, 2002. – Vol. 48. – No. 4. – P. 795-824.
146. Berry F. Langston Hughes Before and Beyond Harlem [Text] / F. Berry. – New York: Random House Value Publishing, 1995. – 394 p.

147. Bertonneau T.F. The “Great War” and Tyranny: E.E. Cummings and John Dos Passos on the Destruction of Order 1914-18 [Electronic Resource] / T.F. Bertonneau. – The Orthosphere. – 2018. – URL: <https://orthosphere.wordpress.com/2018/03/27/the-great-war-and-tyranny-e-e-cummings-and-john-dos-passos-on-the-destruction-of-order-1914-18/>.
148. Blanton C. Travel Writing: the Self and the World [Text] / C. Blanton. – New York: Twayne Publishers, 1997. – 182 p.
149. Blinder C. A Self-made Surrealist/ Ideology and Aesthetics in the Work of Henry Miller [Text] / C. Blinder. – New York: Camden House, 2000. – 170 p.
150. Bradford R. Literary Rivals: Feuds and Antagonisms in the World of Books [Text] / R. Bradford. – London: Biteback Publishing, 2014. – 288 p.
151. Brooks V.W. The Pilgrimage of Henry James [Text] / V.W. Brooks. – New York: Dutton, 1925. – 170 p.
152. The Cambridge Companion to American Travel Writing [Text] / Ed. by A. Bendixen and J. Hamera. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 306 p.
153. The Cambridge History of American Literature [Text] / Ed. by S. Bercovith. – Cambridge, NY: Cambridge University Press, 1994-2005.
154. Carew J.G. Translating Whose Vision? Claude McKay, Langston Hughes, Paul Robeson and the Soviet Experiment [Text] / J.G. Carew. – Intercultural Communication Studies. – 2014. – Vol. 13. – No. 2. – P. 1-16.
155. Carr V.C. Dos Passos: A Life [Text] / V.C. Carr. – Garden City, NY: Doubleday, 1984. – xix, 624 p.
156. Cheever S. E.E. Cummings: A Life [Text] / S. Cheever. – New York: Pantheon Books, 2014. – xvii, 213 p.
157. Clark K. Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931-1941 [Text] / K. Clark. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011. – 432 p.

158. The Continuum Encyclopedia of American Literature [Text] / Ed. by S.R. Serafin, A. Bendixen. – London, A&C Black: 2005. – 1282 p.
159. Cooper W.F. Claude McKay: Rebel Sojourner in the Harlem Renaissance. A Biography [Text] / W.F. Cooper. – Baton Rouge, LA and London: Louisiana State University Press, 1996. – 443 p.
160. Cox J.D. Traveling South: Travel Narratives and the Construction of American Identity [Text] / J.D. Cox. – Athens, GA: University of Georgia Press, 2005. – 250 p.
161. Critical Essays on E.E. Cummings [Text] / Ed. by G. Rotella. – Boston, MA: G.K. Hall, 1984. – 319 p.
162. Cultural Encounters. European Travel Writing in the 1930s [Text] / Ed. by Ch. Burdett, D. Duncan. – New York: Berdahn Books, 2002. – 211 p.
163. Decker J.M. Henry Miller and Narrative Form: Constructing the Self, Rejecting Modernity [Text] / J.M. Decker. – New York and London: Routledge, Taylor & Francis Inc., 2005. – 182 p.
164. Delbaere-Garant J. Henry James. The Vision of France [Text] / J. Delbaere-Garant. – Paris: Les Belles Lettres, 1970. – 441 p.
165. Diggins J.P. Up From Communism: Conservative Odysseys in American Intellectual History [Text] / J.P. Diggins. – New York: Harper & Row, 1975. – xvii, 522 p.
166. Ezra Pound and Europe [Text] / Ed. by R. Taylor and C. Melchior. – Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 1993. – 242 p.
167. Fanning M. France and Sherwood Anderson [Text] / M. Fanning. – Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 1976. – 128 p.
168. Farley D.G. Modernist Travel Writing: Intellectuals abroad [Text] / D.G. Farley. – Columbia, MO: University of Missouri Press, 2010. – 256 p.
169. Forsdick Ch. Travel in the Twentieth-Century French and Francophone Cultures: the Persistence of Diversity [Text] / Ch. Forsdick. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2005. – 255 p.

170. Fussell P. *Abroad: British Literary Traveling between the Wars* [Text] / P. Fussell. – Oxford: Oxford University Press, 1982. – viii, 246 p.
171. Gohar S.M. *The Dialectics of Homeland and Identity: Reconstructing Africa in the Poetry of Langston Hughes and Mohamed Al-Fayturi* [Text] / S.M. Gohar // *Tydskrif vir Letterkunde*. - 2008. – Vol. 45. – No. 1. – P. 42-74.
172. Gordon W.A. *The Mind and Art of Henry Miller* [Text] / W.A. Gordon. – Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1967. – xii, 232 p.
173. Gove Ph.B. *The Imaginary Voyage in Prose Fiction. A History of Its Criticism and a Guide for Its Study, with an Annotated Check List of 215 Imaginary Voyages from 1700 to 1800* [Text] / Ph.B. Gove. – London: The Holland Press, 1961. – 445 p.
174. Harris T. *The Image of Africa in the Literature of the Harlem Renaissance* [Electronic Resource] / T. Harris. – National Humanities Center. – URL: <http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/freedom/1917beyond/essays/harlem.htm>.
175. Healey K.J. *The Modernist Traveler. French Detours, 1900-1930* [Text] / K.J. Healey. – Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2003. – 175 p.
176. Holder A. *Three Voyagers in Search of Europe: A Study of Henry James, Ezra Pound, and T. S. Eliot* [Text] / A. Holder. – Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1966. – 396 p.
177. Hollander P. *Political Pilgrims: Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China, and Cuba, 1928-1978* [Text] / P. Hollander. – Lanham, MD: University Press of America, 1990. – xlvi, 526 p.
178. Holland P., Huggan G. *Tourists with Typewriters: Critical Reflection on Contemporary Travel Writing* [Text] / P. Holland, G. Huggan. – Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1998. – XIV, 261 p.

179. Hoyle A. *The Unknown Henry Miller: A Seeker in Big Sur* [Text] / A. Hoyle. – New York: Arcade Publishing, 2014. – 496 p.
180. Hutchinson G. *The Harlem Renaissance in Black and White* [Text] / G. Hutchinson. – Cambridge, MA; L.: Belknap/Harvard University Press, 1995. – xiv, 541p.
181. Hutchinsson J.M. Pastore, Stephen R. *Sinclair Lewis and Theodore Dreiser: New Letters and a Reexamination of Their Relationship* [Text] / J.M. Hutchinsson // *American Literary Realism*. – Vol. 32. – No. 1. – Chicago, IL: University of Illinois Press, 1999. – P. 69-81.
182. Hutchinson S. *Henry James: an American as Modernist* [Text] / S. Hutchinson. - London: Barnes & Noble; Totowa: Vision, 1982. – 136 p.
183. Hyde H.M. *Henry James at Home* [Text] / H.M. Hyde. – London: Methuen, 1969. – xiv, 322 p.
184. Jacobson Z.J. *A Russian Journal: John Steinbeck's Quixotic Quest to the Soviet Union* [Text] / Z.J. Jacobson // *Steinbeck Review*. – 2016. – Vol. 13. – No. 1. – P. 50-65.
185. Kennell R. *Theodore Dreiser and the Soviet Union, 1927-1945: A First-Hand Chronicle* [Text] / R. Kennell. – New York: International Publishers, 1969. – 320 p.
186. Leed E.J. *The Mind of the Traveler. From Gilgamesh to Global Tourism* [Text] / E.J. Leed. – New York: Basic Books, 1991. – 328 p.
187. *Literature and Tourism* [Text] / Ed. by M. Robinson and H.C. Andersen. – London; New York: Continuum, 2002. – 320 p.
188. Loving J. *The Last Titan: A Life of Theodore Dreiser* [Text] / J. Loving. – Berkeley, CA: University of California Press, 2005. – 528 p.
189. Ludington T. *John Dos Passos: A Twentieth-Century Odyssey* [Text] / T. Ludington. – New York: Carroll & Graf, 1998. – 568 p.
190. Lunden R. *Theodore Dreiser and Nobel Prize* [Text] / R. Lunden // *American Literature*. – Vol. 50. – No. 2. – Durham, NC: Duke University Press, 1978. – P. 216-229.

191. Mailer N. *Genius and Lust: a Journey through the Major Writings of Henry Miller* [Text] / N. Mailer. – New York: Grove Press, 1976. – 576 p.
192. Margoulies S.R. *The Pilgrimage to Russia: The Soviet Union and the Treatment of Foreigners, 1924-1937* [Text] / S. Margoulies. – Madison, WI: University of Wisconsin, 1965. – 684 p.
193. McClellan W. *Africans and Black Americans in The Comintern Schools, 1925–1934* [Text] / W. McClellan // *The International Journal of African Historical Studies*. – 1993. – Vol. 26. – No. 2. – P. 371-388.
194. Matusевич M. *Journeys of Hope: African Diaspora and the Soviet Union* [Text] / M. Matusевич // *African Diaspora*. – 2008. – No. 1. – P. 53-85.
195. Mickenberg J. *American Girls in Red Russia: Chasing the Soviet Dream* [Text] / J. Mickenberg. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 2017. – 435 p.
196. Mills S. *Discourses of Difference. An Analysis of Women’s Travel Writing and Colonialism* [Text] / S. Mills. – London; New York: Routledge, 1991. – 232 p.
197. *Montage of a Dream: The Art and Life of Langston Hughes* [Text] / Ed. by C. Ragar, J.E. Tidwell. – Columbia, MO: University of Missouri Press, 2007. – 376 p.
198. Packer-Kinlaw D. *Anxious Journeys: Past, Present and Construction of Identity in American Travel Writing* [Text] / D. Packer-Kinlaw. – Baltimore, MD: University of Maryland, 2012. – 248 p.
199. Peschel B. *Writers Gone Wild* [Text] / B. Peschel. – London: Penguin, 2010. – 272 p.
200. Pizer D. *Dreiser’s Relationships with Women* [Text] / D. Pizer // *American Literary Realism*. – 2017. – Vol. 50. – No. 1. – P. 63-75.
201. Ramish K.S., Nirupa R.K. *Claude McKay: the Literary Identity From Jamaica to Harlem and Beyond* [Text] / K.S. Ramish, R.K. Nirupa. – Jefferson, MS: McFarland, 2006. – 216 p.

202. Rampersad A. *The Life of Langston Hughes. Vol. I: 1902-1941* [Text] / A. Rampersad. – New York: Oxford University Press, 1986. – 562 p.
203. Rosenblitt A. “A Twilight Smelling of Vergil”: E.E. Cummings, classics and the Great War [Text] A. Rosenblitt // *Greece & Rome*. – 2014. Vol. 61. – No. 2. – P. 242-260.
204. Said E.W. *Orientalism* [Text] / E.W. Said. – New York: Pantheon Books, 1978. – 368 p.
205. Samuels Ch.T. *The Ambiguity of Henry James* [Text] / Ch.T. Samuels. – Urbana, IL: University of Illinois Press, 1971. – x, 235 p.
206. Schorer M. *Sinclair Lewis: An American Life* [Text] / M. Schorer. – New York: McGraw Hill, 1961. – 867 p.
207. Scott D. *Semiologies of Travel. From Gautier to Baudrillard* [Text] / D. Scott. – Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2004. – 235 p.
208. Seed D. *Nineteenth-Century Travel Writing: An Introduction* [Text] / D. Seed // *The Yearbook of English Studies*. – 2004. – Vol. 34. – P. 1-5.
209. Shaffer M. *See America First: Tourism and National Identity, 1880-1940* [Text] / M. Shaffer. – Washington, DC: Smithsonian Books, 2001. – 438 p.
210. Sollors W. *Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture* [Text] / W. Sollors. – New York and Oxford: Oxford University Press, 1986. – xiii, 294 p.
211. Swanberg W.A. *Dreiser* [Text] / W.A. Swanberg. – New York: Scribner, 1965. – 614 p.
212. *Temperamental Journeys: Essays on the Modern Literature of Travel* [Text] / Ed. by M. Kowalewski. – Athens, GA: The University of Georgia press, 1992. – vii, 359 p.
213. *A Theodore Dreiser Encyclopedia* [Text] / Ed. by Keith Newlin. – Westport, CT: Greenwood Press, 2003. – 456 p.

214. Tillery T. Claude McKay: A Black Poet's Struggle for Identity [Text] / T. Tillery. – Amherst, MA: University of Massachusetts Press, 1992. – 235 p.
215. T.S. Eliot, Dante and the Idea of Europe [Text] / Ed. by P. Douglas. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2011. – 225 p.
216. Wegelin C. The Image of Europe in Henry James [Text] / C. Wegelin. – Dallas, TX: Southern Methodist University Press, 1958. – ix, 200 p.
217. Wertheim A.F. The New York Little Renaissance: Iconoclasm, Modernism and Nationalism in American Culture, 1908-1917 [Text] / A.F. Wertheim. – New York: New York University Press, 1976. – 276 p.
218. Ziff L. Return Passages: Great American Travel Writing, 1780-1910 [Text] / L. Ziff. - New Haven, CT: Yale University Press, 2000. – 304 p.

Периодика

219. Кенель Р. Драйзер о Советской России [Текст] / Р. Кеннел // Вестник иностранной литературы. – 1929. – № 1. – С. 221.
220. Динамов С.С. Травля Теодора Драйзера началась [Текст] / С.С. Динамов // Литературная газета. – 1931. – 27 октября.
221. Эйшишкина Н.М. Синклер Льюис и Теодор Драйзер [Текст] / Н.М. Эйшишкина // Русский язык в современной школе. – 1930. – №1. – С. 177-180.
222. A Literary Storm: Dreiser And Mrs. Lewis At Odds [Text] // The Observer (London, Greater London, England). – 1928. November 25. – P. 21.
223. Anderson Sh. Dreiser [Text] / Sh. Anderson // The Little Review. - 1916. – Vol. 3. – No. 2. – P. 48.
224. Book talk [Text] // The Des Moines Register – 1929. March 3. – P. 8.

225. Cummings-Eye View of Russia [Text] // The News and Observer. – 1929. February 27. – P. 45.
226. Currie G. Passed In Review [Text] / G. Currie // The Brooklyn Daily Eagle. – 1928. December 5. – P. 15.
227. Dorothy Thompson Charges Dreiser With Plagiarism [Text] // The Brooklyn Daily Eagle. – 1928. November 14. – P. 24.
228. Dreiser Slaps Sinclair Lewis In Argument [Text] // The Morning Call. – 1931. March 20. – P. 37.
229. Dreiser Says He and Lewis, Slap Victim, Are Really Mutual Admirers [Text] // The Times Herald. – 1931. March 23. – P. 4.
230. Dreiser Slaps Sinclair Lewis at N.Y. Dinner [Text] // The Times. – 1931. March 20. – P. 8.
231. E.E. Cummings Thumbs Nose at the Soviet [Text] // Honolulu Star-Bulletin. – 1933. July 1. – P. 24.
232. Ford C. A Sheer Case of Something or Other [Text] / C. Ford // New Yorker. – 1928. December 8. – P. 34-36.
233. Ford T.F. Did Dreiser Steal Dorothy's Thunder in Book on Russia? "It's The Bunk," – He Asserts [Text] / T.F. Ford // The Los Angeles Times. – 1928. December 2. – P. 51.
234. Gauvreau E. A Lot of Griddle! [Text] / E. Gavreau // The Daily News. – 1928. November 21. – P. 1.
235. Gold M. The Education of John Dos Passos [Text] / M. Gold // The English Journal. – 1933. - Vol. 22. – No. 2. – P. 87-97.
236. Hoffman H. America Viewed as a Land of Lost Opportunities [Text] / H. Hoffman // The Philadelphia Inquirer. – 1945. December 30. – P. 37.
237. Lardner R. Ring's Side [Text] / R. Lardner // The Indianapolis Star. – 1928. December 30. – P. 3.
238. Lewis Accepts Nobel Prize and Scores Provincialism of U.S [Text] // Democrat and Chronicle. – 1930. December 13. – P. 1.

239. Lewis Commends Dreiser, O'Neill [Text] // The Ithaca Journal. – 1930. December 9. – P. 1.
240. Mead G. New Type of Novel Baffles with an Odd Style [Text] / G. Mead // The Birmingham News. – 1933. April 9. – P. 37.
241. Nicholas A. A Reader's Notes [Text] / A. Nicholas // The Indianapolis Star. – 1928. November 26. – P. 6.
242. Not Suited For Nobel Prize Says Sinclair Lewis [Text] // Times Herald. – 1930. December 9. - P. 1.
243. Pegler W. Writing Boxers Have Ghosts: Why Not Fighting Authors? [Text] / W. Pegler // Chicago Tribune. – 1931. March 23. – P. 23.
244. Perry F.F. Wherein Names Make News [Text] / F.F. Perry // The Pittsburgh Press. – 1928. November 19. – P. 18.
245. Plagiarism Charge Hurlled at Dreiser [Text] // The Evening Sun. – 1928. November 14. – P. 13.
246. Plagiarism Charged [Text] // The Chattanooga News. – 1928. December 20. – P. 4.
247. Schnapper M.B. Scholar Picks Best Books [Text] / M.B. Schnapper // The Brooklyn Daily Eagle. – 1930. December 28. – P. 61.
248. Several Hundred Members of the "All-American Anti-Imperialistic League"... [Text] // Fort Lauderdale News. – 1928. July 6. – P. 4.
249. Shpinder M. Pessimistic Intellectual [Text] / M. Shpinder // The Philadelphia Inquirer. – 1944. September 17. – P. 37.
250. Too Much Material Says Dos Passos [Text] // Brooklyn Life and Activities of Long Island Society. – 1929. February 2. – P. 14.
251. Townsend G. "Richard Halliburton: The Forgotten Myth" at the Wayback Machine [Text] / G. Townsend // Memphis Magazine. – 1977. August. – P. 64-72.
252. A Wanderer Romances [Text] // The Age – 1943. February 13. – P. 5.
253. Winner P. Dorothy Thompson Demands Dreiser Explain Parallel [Text] / P. Winner // New York Evening Post. – 1928. November 14. – P. 6.

Неопубликованные материалы

254. Динамов С. С. Лекция по американской литературе, прочитанная в Институте Красной Профессуры 21.4.1936 г. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 14. Ед. хр.1043. Л. 21.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Библиография американского травелога 1900-1945 гг.

(тексты расположены по хронологическому принципу)

	Автор	Название	Год	Первое издание	Перевод на русский	Посещенные страны, города, области, штаты
1.	Слокум, Джошуа/ Joshua Slocum	В одиночестве под парусом вокруг света/ Sailing Alone Around the World	1900	New York: Century, 1900		Кругосветное путешествие
2.	Кэсер, Уилла/ Willa Cather	Уилла Кэсер в Европе: ее рассказ о своем первом путешествии/ Willa Cather in Europe: Her Own Story of the First Journey	1902	New York: Knopf, 1956		Англия и Франция
3.	Николс, Фрэнсис/ Francis H. Nichols	Потаенная Шеньси/ Through Hidden Shensi	1902	New York: Charles Scribners' Sons, 1902		Китай
4.	Болтон, Чарльз Эдвард/ Charles Edward Bolton	Путешествия по Европе и Америке/ Travels in Europe and America	1903	New York: Thomas Y. Crowell, 1903		Европа и Америка
5.	Остин, Мэри/ Mary Austin	Страна игрушечного дождя/ The Land of Little Rain	1903	New York, London: Houghton, Mifflin&Co,		Юго-восточные штаты, Калифорния

				1903		я пустыня
6.	Лондон, Джек/ Jack London	Люди бездны/ The People of the Abyss	1903	New York: The MacMillan Company, 1903	Пер. В. Лимановск ой// Государств енное издательст во художестве нной литературы , собрание сочинений Лондона в семи томах. Т. 2. 1954.	Лондон, Ист- Энд
7.	Адамс, Генри/ Henry Adams	Мон-Сен- Мишель и Шартр/ Mont Saint Michel and Chartres	1904	Washington, D.C.: [Privately Printed for the Author,] 1904		Франция
8.	Джонсон, Клифтон/ Clifton Johnson	Вдоль и поперек: Юг/ Highways and Byways of the South	1904	New York: Macmillan, 1904		Юг США
9.	Джеймс, Генри/ Henry James	Английские часы/ English Hours	1905	London: William Heinemann; Boston: Houghton Mifflin and Co, 1905		Англия
10.	Уортон, Эдит/ Edith Wharton	Итальянский фон/ Italian Backgrounds	1905	New York: Charles Scribners' Sons, 1905		Италия

11.	Хоуэллс, Уильям Дин/ William Dean Howells	Лондонская пленка/ London Films	1905	New York: Harper&Broth- ers, 1905		Лондон
12.	Артур, Ричард/ Richard Arthur	На яхте десять тысяч миль – вокруг Вест- Индии и по Амазонии/ Ten Thousand Miles in a Yacht Round the West Indies and the Amazon	1906	New York: Dutton, 1906		Вест-Индия и Амазония
13.	Джонсон, Клифтон/ Clifton Johnson	Вдоль и поперек: долина Миссиссиппи/ Highways and Byways of the Mississippi Valley	1906	New York: Macmillan, 1906		Юг США
14.	Хоуэллс, Уильям Дин/ William Dean Howells	Некоторые прелестные английские городки: с описанием чарующей сельской местности/ Certain Delightful English Towns: With Glimpses of the Pleasant Country Between	1906	New York: Harper&Broth- ers, 1906		Англия
15.	Баум, Мод Гейдж/ Maud Gage Baum	В других местах на земле/ In Other Lands than Ours	1907	Chicago: M.G. Baum, 1907		Средиземно- море
16.	Джеймс, Генри/ Henry James	Американские зарисовки/ The American Scene	1907	London: Chapman and Hall; Boston: Harper &		США

				Brothers, 1907		
17.	Уортон, Эдит/ Edith Wharton	Мотопробег по Франции/ A Motor-Flight Through France	1908	Charles Scribners's Sons, 1908		Франция
18.	Фландро, Чарльз/ Charles Flandrau	Да здравствует Мексика!/ Viva Mexico!	1908	New York: Appleton, 1908		Мексика
19.	Хоуэллс, Уильям Дин/ William Dean Howells	Римские каникулы и не только/ Roman Holidays, and Others	1908	New York: Harper&Brot hers, 1908		Италия
20.	Джеймс, Генри/ Henry James	Итальянские часы/ Italian Hours	1909	London: William Heinemann; Boston: Houghton Mifflin and Co, 1909		Италия
21.	Дэвенпорт, Гомер/ Homer Davenport	Как я искал арабскую лошадь/ My Quest of the Arabian Horse	1909	New York: B.W. Dodge, 1909		Ближний Восток
22.	Хоуэллс, Уильям Дин/ William Dean Howells	Семь английских городов/ Seven English Cities	1909	New York: Harper&Brot hers, 1909		Англия
23.	Джонсон, Клифтон/ Clifton Johnson	Вдоль и поперек: Скалистые горы/ Highways and Byways of the Rocky Mountains	1910	New York: Macmillan, 1910		Запад США

24.	Нейхардт, Джон/ John Neihardt	Река и я/ The River and I	1910	New York: G.P. Putnam's Sons, 1910		Плавание по Миссури от Монтаны до Сент-Луиса
25.	Форман, Генри Джеймс/ Henry James Forman	У подножия Гейне/ In the Footprints of Heine	1910	Boston: Houghton Mifflin and Co, 1910		Германия
26.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	Бродяга в кругосветке: рассказ о лично пережитом/ A Vagabond Journey Around the World: a Narrative of Personal Experience	1910	New York: Century, 1910		Кругосветное путешествие
27.	Лондон, Джек/ Jack London	Путешествие на "Снарке"/ The Cruise of the Snark	1911	New York: Macmillan, 1911	Пер. М. Лорие, М. Бессараб, Е. Гуро // М.: Географгиз , 1958.	Самоа, Фиджи, Маркизские о- ва и т.д.
28.	Фишер, Гарриет/ Harriet Fisher	Женщина на авто отправляется в кругосветку/ A Woman's World Tour in a Motor	1911	Philadelphia: J.B. Lippincott, 1911		Первое женское кругосветное путешествие: Англия, Италия, Египет, Россия, Индия, Япония
29.	Хенсон, Мэттью/ Matthew Henson	Негритянский исследователь на Северном полюсе/ A Negro Explorer at the Nort Pole	1912	New York: Frederick A. Stokes, 1912		Арктика

30.	Аккерман, Джесси/ Jessie Ackermann	Австралия глазами женщины/ Australia from a Woman's Point of View	1913	London: Cassell, 1913		Австралия
31.	Драйзер, Теодор/ Theodore Dreiser	Путешественник в сорок лет/ A Traveler at Forty	1913	New York: The Century Company, 1913		Франция, Германия, Италия, Швейцария и др.
32.	Хоуэллс, Уильям Дин/ William Dean Howells	В Испании как дома/ Familiar Spanish Travels	1913	New York: Harper&Broth- ers, 1913		Испания
33.	Барретт, Миртл/ Myrtle Barrett	Наша удивительная поездка/ Our Wondrous Trip	1914	Blackwell OK: Tribune Press, 2014		США
34.	Колб, Элсворт/ Ellsworth Kolb	По Гранд- Каньону от Вайоминга до Мехико/ Through the Grand Canyon from Wyoming to Mexico	1914	New York: Macmillan, 1914		Запад США, Мексика
35.	Лондон, Джек/ Jack London	Наши приключения в Тампико/ Our Adventures in Tampico	1914	The Complete Works of Jack London. Hastings, East Sussex: Delphi Classics, 2014		Мексика

36.	Мерфи, Томас/ Thomas Murphy	На автомагистралях Старого Света: Книга об автопрогулках по Франции и Германии, а также отчет о паломничестве с края земли к Джону О'Гроутсу в Великобритании / On Old World's Highways: A Book of Motor Rambles in France and Germany and the Record of a Pilgrimage from Land's End to John O'Groats in Britain	1914	Boston: L.C. Pages, 1914		Европа и Англия
37.	Стрит, Джулиан/ Julian Street	Домашняя заграница: американские странствия, наблюдения и приключения/ Abroad at Home: American Ramblings, Observations and Adventures	1914	New York: Century, 1914		США
38.	Драйзер, Теодор/ Theodore Dreiser	Каникулы индианца/ A Hoosier Holiday	1916	New York&Londo n: John Lane, 1916		США (Индиана и др. штаты)

39.	Линдси, Вейчел/ Vachel Lindsay	Карманное руководство для нищих, особенно для членов поэтического братства: разнообразные полезные открытия, сделанные во время пеших шатаний по Флориде, Джорджии, Северной Каролине и пр. без гроша в кармане/A Handy Guide for Beggars, Especially Those of the Poetic Fraternity: Being Sundry Explorations, Made While Afoot and Penniless in Florida, Georgia, North Carolina etc.	1916	New York: Macmillan, 1916		США
40.	Стрит, Джулиан/ Julian Street	Американские приключения: вторая поездка по "домашней загранице"/ American Adventures: the Second Trip the "Home at Abroad"	1917	New York: Century, 1917		США

41.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	По Мексике, Гватемале и Гондурасу/ Tramping Through Mexico, Guatemala and Honduras	1917	New York: Century, 1917		Мексика и Центральная Америка
42.	Джонсон, Клифтон/ Clifton Johnson	Что посмотреть в Америке/ What to See in America	1919	New York: Macmillan, 1919		США
43.	О'Брайен, Фредерик/ Frederick O'Brien	Белые тени Южных морей/ White Shadows in the South Seas	1919	New York: Century, 1919		Тихоокеанские острова
44.	Уортон, Эдит/ Edith Wharton	В Марокко/ In Morocco	1919	New York: Charles Scribners' Sons, 1919		Марокко
45.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	Странствуя по Германии в эпоху перемен/ Vagabonding Through Changing Germany	1920	New York: Harper & Brothers, 1920		Германия после Первой мировой войны
46.	Хоуэллс, Уильям Дин/ William Dean Howells	В Германии: то тут, то там/ Hither and Thither in Germany	1920	New York: Harper&Brot hers, 1920		Германия
47.	Андерсон, Шервуд/ Sherwood Anderson	Парижская тетрадь/ Paris Notebook	1921	Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1976	Пер. отрывков О. Пановой// Французск ий акцент. Коллектив ная монографи	Франция

					я к 60-летию А.Н. Таганова. Иваново: Издательство Ивановского государственного университета, 2010.	
48.	Биби, Уильям/ William Beebe	Дни джунглей/ Jungle Days	1921	New York: Putnam, 1921		Африка, Индонезия
49.	О'Брайен, Фредерик/ Frederick O'Brien	Таинственные острова Южных морей/ Mystic Isles of the South Seas	1921	New York: Century, 1921		Тихоокеанские острова
50.	Пауэлл, Эдвард// Edward Powell	Куда ведут таинственные тропы/ Where the Strange Trails Go Down	1921	New York: Charles Scribners' Sons, 1921		Сулу, Борнео, море Сулавеси, Бали, Ява, Суматра, Малайзия, Сиам, Камбоджа, Аннам, Китай
51.	Фриман, Льюис/ Lewis Freeman	Нижняя Колумбия/ Down the Columbia	1921	New York: Dodd, Mead, 1921		Южная Америка
52.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	К северу от Патагонии: рассказ о местах, куда нас занесло на пути между Югом и Востоком Южной Америки/ Working North from Patagonia:	1921	New York: Century, 1921		Южная Америка

		Being the Narrative of a Journey, Earned on the Way, Through Southern and Eastern South America				
53.	Эдди, Клайд/ Clyde Eddy	Вниз по самой опасной в мире реке/ Down the Most World's Dangerous River	1921	New York: Frederick A. Stokes, 1921		Река Колорадо и Большой Каньон
54.	Джонсон, Мартин/ Martin Johnson	Земля каннибалов: приключения человека с камерой на Новых Гебридах/ Cannibal-Land: Adventures with a Camera in the New Hebrides	1922	Boston: Houghton Mifflin and Co, 1922		Меланезия
55.	Дос Пассос, Джон/ John Dos Passos	Росинант снова в пути/ Rosinante to the Road Again	1922	New York: George H. Doran Company, 1922		Испания
56.	Лейн, Роуз/ Rose Lane	На гребнях Шалы: описание некоторых путешествий в краю горных племен Албании/ The Peaks of Shala: Being a Record of Certain Wanderings Among the Hill-Tribes of Albania	1922	London: Chapman and Dodd, 1922		Албания, Балканы

57.	О'Брайен, Фредерик/ Frederick O'Brien	Солнечные атоллы/ Atolls of the Sun	1922	New York: Century, 1922		Тихоокеанские острова
58.	Уошберн, Уильям/ William Washburn	Маршрут "Тифона"/ The Track of the "Typhoon"	1922	New York: Motor Boat, 1922		Плавание через Атлантику
59.	Пауэлл, Эдвард/ Edward Powell	На верблюде и авто - к Павлиньему трону/ By Camel and Car to the Peacock Throne	1923	Garden City, NY: Garden City, 1923		Ближний Восток: Персия, Сирия
60.	Сондерс, Чарльз/ Charles Saunders	Южные сьерры Калифорнии/ Southern Sierras of California	1923	Boston: Houghton Mifflin, 1923		Запад США
61.	Спикман, Гарольд/ Harold Speakman	Вершины холмов галилейских/ Hilltops in Galilee	1923	New York: Abingdon P., 1923		Святая земля
62.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	Странствие по Северному Китаю/ Wandering on Northern China	1923	New York: Century, 1923		Китай
63.	Джонсон, Мартин/ Martin Johnson	С камерой по Африке/ Camera Trails in Africa	1924	New York: Century, 1924		Африка
64.	Остин, Мэри/ Mary Austin	Там, где кончаются путешествия/ The Land of Journeys' Ending	1924	New York: Century, 1924		США

65.	Форман, Генри Джеймс/ Henry James Forman	Греческая Италия: описание приключений, случившихся во время путешествия по Сицилии, Калабрии и Мальте/ Grecian Italy: Adventures of Travel in Sicily, Calabria and Malta	1924	New York: Boni&Liveright, 1924		Сицилия, Калабрия, Мальта
66.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	Япония и Формоза: взгляд вскользь Glimpses of Japan and Formosa	1924	New York: Century, 1924		Япония и Тайвань
67.	Крават, Пол/ Paul Cravath	Письма домой из Индии и Ирака/ Letters Home from India and Irak	1925	New York: J.J. Little and Ives, 1925		Ближний Восток, Индия
68.	Томас, Лоуэлл/ Lowell Thomas	За Хайберским проходом/ Beyond Khyber Pass	1925	New York: Century, 1925		Пакистан
69.	Уэллс, Фредерик Де Витт/ Frederick DeWitt Wells	Последнее плавание "Шанхая": история тиковой лодки на маршруте викингов/ The Last Cruise of the Shanghai: Being the Story of the Teakwood Boat of the Viking	1925	New York: Minton, Balch, 1925		Северная Атлантика

		Trail				
70.	Флэгг, Джеймс/ James Flagg	Как знать: Правдивый рассказ о впечатлениях художника, проехавшего на машине от Нью- Йорка до Калифорнии и обратно/ Maybe: Being an Artist's Truthful Impression of the U.S.A. from New York to California and Return, by Motor	1925	New York: George H. Doran, 1925		США
71.	Халлибертон, Ричард/ Richard Halliburton	Дорогою романтики/ The Royal Road to Romance	1925	New York: Garden city publishing company, 1925		От Африки и Ближнего Востока до Японии
72.	Маккри, Гордон/ Gordon MacCreagh	Белые воды и черные/ White Waters and Black	1926	New York: Century, 1926		Индия, Китай, Тибет, Малайзия
73.	Пауэлл, Эдвард/ Edward Powell	Варварийский берег: Тунис, Алжир, Марокко и Сахара/ In Barbary: Tunisia, Algeria, Morocco and the Sahara	1926	New York: Century, 1926		Северная Африка
74.	Уэллс, Линтон/ Linton Wells	Вокруг света за двадцать восемь дней/ Around the World in Twenty-	1926	Boston: Houghton Mifflin, 1928		Кругосветное путешествие

		Eight Days				
75.	Дос Пассос, Джон/ John Dos Passos	Восточный экспресс/ Orient Express	1927	New York: Harper & Brothers, 1927	Екатерина Салманова СПб.: Terra Fantastica, 1994 г.	Закавказье, Средний Восток, Персия
76.	Макмиллан, Дональд/ Donald MacMillan	В двенадцати градусах от Полюса/ Etah and Beyond, or Life Within Twelve Degrees of the Pole	1927	Boston: Houghton Mifflin, 1926		Арктика
77.	Прайс, Люсьен/ Lucien Price	Крылатые сандалии/ Winged Sandals	1927	Boston: Little, Brown, 1927		Италия, Франция, Германия, Англия
78.	Сибрук, Уильям/ William Seabrook	Приключения в Аравии: среди бедуинов, друзов, кружащихся дервишей и нечестивых йезидов/ Adventures in Arabia: Among the Bedoins, Druses, Whirling Dervishes and Yezidee Devils	1927	New York: Harcourt, Brace, 1927		Аравийский п- ов, Ближний Восток
79.	Спикман, Гарольд/ Harold Speakman	Главным образом Миссиссиппи/ Mainly Mississippi	1927	New York: Dodd, Mead, 1927		США
80.	Халлибертон, Ричард/ Richard	Славное приключение/ The Glorious	1927	New York: Bobbs- Merrill Co.,		Средиземномо рье (по маршруту

	Halliburton	Adventure		1927		Одиссея)
81.	Драйзер, Теодор/ Theodore Dreiser	Драйзер смотрит на Россию/ Dreiser Looks at Russia	1928	New York: H. Liveright, 1928	1) Пер. отрывков С. Орлова, И. Гуровой// Литератур ная газета.1933 , 11 июля. 2) Пер. А. Николюки на, Б. Гиленсона // Жизнь, искусство и Америка. – М.: Радуга, 1988.	Москва, Ленинград, Одесса, Тбилиси и др.
82.	Томпсон, Дороти/ Dorothy Thompson	Новая Россия/ New Russia	1928	New York: Henry Holt and Co, 1928	Пер. отрывков О. Щербинин ой// Литература двух Америк. 2017. №3.	Москва
83.	Уильямс, Уильям Карлос/ William Carlos Williams	Плавание в язычество/ A Voyage to Paganu	1928	New York: Macaulay, 1928		Европа
84.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	В краю ислама/ The Fringe of the Moslem World	1928	New York: Century, 1928		Ближний Восток

85.	Ван Дайк, Джон/ John Van Dyke	Ява и близлежащие острова Голландской Ост-Индии/ In Java, and the Neighbouring Isles of the Dutch East Indies	1929	New York: Charles Scribners' Sons, 1929		Ост-Индия
86.	Халлибертон, Ричард/ Richard Halliburton	Есть что покорять/ New Worlds to Conquer	1929	Brooklyn & New York: Braunworth & Co, 1929		Центральная и Южная Америка
87.	Хемингуэй, Эрнест/ Ernest Hemingway	Смерть после полудня/ Death in the Afternoon	1929	Charles Scribners's Sons, 1932	Первый переводчес кий коллектив, составлени е и вступитель ная статья И.А. Кашкина Москва, Гослитизда т, 1934	Испания
88.	Хьюз, Лэнгстон/ Langston Hughes	Большая вода/ The Big Sea	1920 - 1930 -е	New York: Alfred A. Knopf, 1940		Африка, Италия, Франция, Испания, США
89.	Хьюз, Лэнгстон/ Langston Hughes	Поброжу и расскажу: автобиографичес кое путешествие/ I Wonder As I Wander: An Autobiographical Journey	1920 - 1930 -е	New York: Rinehart, 1956		Европа, США, СССР
90.	Кили, Роберт/ Robert Kiley	Париж и весь наружный мир/ Paris and the Outside World	1930	Philadelphia: Howard C.		Франция,

	Rebert Keely	Paris and All the World Besides		Myers, 1930		Европа
91.	Лайти, Кент и Маргарет/ Kent and Margaret Lighty	Плавающий дом/ Shanty-Boat	1930	New York: Century, 1930		Миссиссиппи: из Миннеаполиса в Новый Орлеан
92.	Ньютон, Альфред/ Alfred Newton	Турист себе назло/ A Tourist In Spite of Himself	1930	Boston: Little, Brown, 1930		Скандинавия, Англия, Франция, Египет, Иерусалим
93.	Томас, Лоуэлл/ Lowell Thomas	Индия: страна Черной Пагоды/ India: Land of the Black Pagoda	1930	New York: Century, 1930		Индия
94.	Уорнер, Артур/ Arthur Warner	Журнал сухопутной крысы: вокруг света под парусом и на своих двоих/ A Landlubber's Log: Around the World as a Sailor and Tramp	1930	Boston: Little, Brown, 1930		Кругосветное путешествие
95.	Ван Дайк, Джон/ John Van Dyke	В Египте: заметки и наброски, сделанные на Ниле/ In Egypt: Studies and Scetches Along the Nile	1931	New York: Charles Scribners' Sons, 1931		Египет
96.	Крэнделл, Ли Сондерс/ Lee Saunders Crandall	В поисках рая: натуралист в Новой Гвинее/ Paradise Quest: A Naturalist's Experiences in	1931	New York: Charles Scribners' Sons, 1931		Индонезия, Папуа - Новая Гвинея

		New Guinea				
97.	Меррик, Генриетта/ Henrietta Merrick	На чердаке мира/ In the World's Attic	1931	New York: G.P. Putnam's Sons, 1931		Гималаи
98.	Сибрук, Уильям/ William Seabrook	По тропинкам джунглей/ Jungle Ways	1931	New York: Harcourt, Brace, 1931		Западная Африка, Берег слоновой кости
99.	Уинн, Мэри Дей/ Mary Day Winn	Дорогой из щебня: десять тысяч миль на автобусе/ The Macadam Trail: Ten Thousand Miles by Motor Coach	1931	New York: Knopf, 1931		США
100.	Харт, Фрэнсис/ Frances Hart	Как сыр в масле/ Pigs in Clover	1931	New York: Doubleday, Doran, 1931		Франция
101.	Банкрофт, Гриффинг/ Griffing Bancroft	Путешествие по Нижней Калифорнии. Полет последнего буревестника/ Lower California: A Cruise; The Flight of the Least Petrel	1932	New York: G.P. Putnam's Sons, 1932		Западное побережье США
102.	Ван Дайк, Джон/ John Van Dyke	Вест-Индия: заметки и наброски тропических морей и островов/ In West Indies: Studies and Scethes in Tropic	1932	New York: Charles Scribners' Sons, 1932		Вест-Индия

		Seas and Isles				
103.	Фриман, Льюис/ Lewis Freeman	Карибы морем и с воздуха/ Afloat and Aflight in the Caribbean	1932	New York: Dodd, Mead, 1932		Карибский бассейн
104.	Фрэнк, Уолдо/ Waldo Frank	Русская заря/ Dawn in Russia: the Record of a Journey	1932	New York: Charles Scribner, 1932		Россия, Мексика, Испания
105.	Халлибертон, Ричард/ Richard Halliburton	Ковер-самолет/ The Flying Carpet	1932	New York: Garden city publishing company, 1932		Кругосветка
106.	Хэтч, Оливия/ Olivia Hatch	Африканский дневник Оливии: от Кейптауна до Каира/ Olivia's African Diary: Cape Town to Cairo	1932	Washington DC: A.C.E. Distribution Center, 1980		Африка
107.	Каммингс, Э.Э./ E.E. Cummings	ЭЙМИ, или Я ЕСМЬ/ Eimi: I Am	1933	New York: Covici- Friede, 1933	Пер. отрывков В. Фещенко, Э. Райт// Приключен ия нетоварищ а Кемминкза в Стране Советов : Э. Э. Каммингс и Россия. – СПб.: Издательст во	СССР

					Европейского университета, 2013.	
108.	Меррик, Генриетта/ Henrietta Merrick	Сказано в Тибете/ Spoken in Tibet	1933	New York: G.P. Putnam's Sons, 1933		Тибет
109.	Сибрук, Уильям/ William Seabrook	Воздушное приключение: Париж - Сахара - Тимбукту/ Air Adventure: Paris - Sahara - Timbuctoo	1933	New York: Harcourt, Brace, 1933		Франция, Африка
110.	Якобсен, Бетти/ Betty Jacobsen	Девушка у мачты/ A Girl Before the Mast	1933	New York: Charles Scribners' Sons, 1934		Италия, Финляндия
111.	Моррис, Райт/ Wright Morris	Соло: мечтатель-американец в Европе/ Solo: An American Dreamer in Europe	1933 - 1934	New York: Harper & Row, 1983		Европа
112.	Дос Пассос, Джон/ John Dos Passos	Во всех краях/ In all countries	1934	New York: Harcourt, Brace and Co, 1934		Россия, Мексика, Испания
113.	Ньютон, Альфред/ Alfred Newton	День Дерби и другие приключения/ Derby Day and Other Adventures	1934	Boston: Little, Brown, 1934		Европа

114.	Бердселл, Ричард и Эммонс, Артур/ Richard Burdall and Arthur Emmons	Мужчины против облаков: покорение горы Минья Конка/ Men Against the Clouds: the Conquest of Minya Konka	1935	New York: Harper & Brothers, 1935		Тибет
115.	Лайонс, Юджин/ Eugene Lyons	Московская карусель/ Moscow carrousel	1935	New York: Alfred A. Knopf, 1935.		СССР
116.	Фрэнк, Гарри/ Harry Frank	По Мексике маршрутом Кортеса/ Trailing Cortez Through Mexico	1935	New York: Frederick A. Stokes, 1935		Мексика
117.	Халлибертон, Ричард/ Richard Halliburton	Сапоги- скороходы/ Seven League Boots	1935	Indianapolis: The Bobbs- Merrill Company, 1935		Эфиопия, Россия, Ближний Восток
118.	Хемингуэй, Эрнест/ Ernest Hemingway	Зеленые холмы Африки/ The Green Hills of Africa	1935	New York: Charles Scribner's Sons, 1935	Пер. В. Хинкиса// Зеленые холмы Африки. – М.: Географгиз , 1959.	Африка
119.	Пауэлл, Эдвард/ Edward Powell	Воздушная Одиссея: Куба, Гаити, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико и не только/ Aerial Odissey: Cuba, Haiti, Dominican Republic, Porto Rico etc.	1936	New York: Macmillan, 1936		Вест-Индия

120.	Рорти, Джеймс/ James Rorty	Там, где живет лучше: несентименталь ное американское путешествие/ Where Life is Better: An Unsentimental American Journey	1936	New York: Reynal & Hitchcock, 1936		США
121.	Уилсон, Эдмунд/ Edmund Wilson	Путешествие в две демократии/ Travels in Two Democracies	1936	New York: Harcourt, Brace, 1936		США и СССР
122.	Хамфри, Зифин/ Zephine Humphrey	Зеленые горы Сьерры/ Green Mountains to Sierras	1936	New York: Dutton, 1936		Южная Америка
123.	Чайлдерс, Джеймс/ James Childers	Под парусом по южноамериканс кому небу/ Sailing South American Skies	1936	New York: Farrar & Rinehart, 1936		Южная Америка
124.	Дарлинг, Джей/ Jay Darling	Путешествие «Попрыгушки Бетси»: травелог из трейлера/ Cruise of the Bouncing Betsy: Trailer Travelogue	1937	New York: Frederick A. Stokes, 1937		США
125.	Колдуэлл, Эрскин; Берк- Уайт, Маргарет/ Erskine Caldwell and Margaret Bourke-White	Ты увидел их лица/ You Have Seen Their Faces	1937	New York: Viking, 1937		США
126.	Лайонс, Юджин/ Eugene	Командировка в утопию/ A Journey to Utopia	1937	New York: Harcourt, Brace & World, 1937		СССР

	Eugene Lyons	Assignment in Utopia		Brace, 1937		
127.	Маккей, Клод/ Claude McKay	Вдали от дома/ A Long Way from Home	1937	New York: Lee Furman, 1937		Франция, Англия, Марокко
128.	Фриман, Льюис/ Lewis Freeman	Открывая Южную Африку/ Discovering South Africa	1937	New York: Dodd, Mead, 1937		Африка
129.	Дос Пассос, Джон/ John Dos Passos	С войны на войну/ Journey between wars	1938	New York: Harcourt, Brace and Company, 1938		Франция и Испания
130.	Коллингс, Кеннет Браун/ Kenneth Brown Collings	Оно того стоило/ Just for Hell of It	1938	New York: Dodd, Mead, 1938		Воспоминания пилота ВВС США: Италия, Эфиопия, Чехия и др.
131.	Смит, Грейс и Беверли; Уилсон, Чарльз/ Grace and Beverly Smith, Charles Wilson	Через кухонную дверь: путешествие повара по лучшим кухням Америки/ Through the Kitchen Door: A Cook's Tour of the Best Kitchens of America	1938	New York: Stackpole Sons, 1938		США
132.	Уллман, Джеймс/ James Ullman	По ту сторону гор: побег в Амазонию/ The Other Side of the Nountains: An Escape to the Amazon	1938	London: Gollancz, 1938		Амазония

133.	Хайнс, Дункан/ Duncan Hines	Ночлег/ Lodging for a Night	1938	Bowling Green, Ky.: Adventures in Good Eating		США
134.	Хансон, Эрл/ Earl Hanson	Путешествие в Манаус/ Journey to Manaus	1938	New York: Reynal&Hitc hcock		Бразилия
135.	Эдди, Клайд/ Clyde Eddy	Путешествие по Темзе: подробный рассказ о пути длиной в 200 миль через всю Англию; «Река жидкой истории» - Темза/ Voyaging Down the Thames: an Intimate Account of a Voyage 200 Miles Across England, Down “The River of Liquid History” – the Thames	1938	New York: Frederick A. Stokes, 1921		Англия
136.	Грубер, Рут/ Ruth Gruber	Я была в Советской Арктике/ I Went to the Soviet Arctic	1939	New York: Simon&Schu ster, 1939		СССР, Заполярье, Сибирь
137.	Лонг, Двайт/ Dwight Long	Семь морей, нанизанные на шнурок: плавание на "Перерыве"/ Seven Seas on a Shoestring: Sailing All Seas in the "Idle Hour"	1939	New York: Harper&Broth ers, 1939		Кругосветное плавание

138.	Уотерс, Дон/ Don Waters	Плавание за бортом/ Outboard Cruising	1939	New York: L. Furman, 1939		Кентукки, округи Хардин и ЛаРю
139.	Камаль, Ахмад/ Ahmad Kamal	Несмешная страна/ Land Without Laughter	1940	New York: Charles Scribners' Sons, 1940		Туркестан, Индия, Тибет; Гималаи
140.	Мортон, Розали/ Rosalie Morton	Иранские каникулы врача/ A Doctor's Holiday in Iran	1940	New York: Funk&Wagnells, 1940		Ближний Восток
141.	Росс, Лилиан; Уитмен, Джордж; Уэршба, Джо; Росс, Хелен; Фиск, Мел/ Lillian Ross, George WhitmanJoe Wershba Helen Ross and Mel Fiske	Аргонавты/ The Argonauts	1940	New York: Modern Age, 1940		США
142.	Сноу, Эдгар/ Edgar Snow	Люди нашей стороны/ People on Our Side	1940	New York: Random House, 1940		Индия, Россия, Китай
143.	Стейнбек, Джон; Риккетс, Эдвард/ John Steinbeck and Edward Ricketts	Море Кортеса: досужий журнал путешествия и исследования/ Sea of Cortez: A Leisurely Journal of Travel and Research	1940	New York: Viking, 1941		Калифорнийский залив
144.	Лонгстрит, Стивен/ Stephen Longstreet	Последний человек: вокруг света/ Last Man Around the World	1941	New York: Random House, 1941		Кругосветное путешествие

145.	Миллер, Генри/ Henry Miller	Колосс маруссийский/ The Colossus of Maroussi	1941	San Francisco: The Colt Press, 1941	Валерий Минушин Спб, Азбука- классика, 2001	Греция
146.	Лонгстрит, Стивен/ Stephen Longstreet	Последний человек возвращается домой/ Last Man Comes Home: American Travel Journals	1941 - 1942	New York: Random House, 1942		США
147.	Фрэнк, Уолдо/ Waldo Frank	Путешествие по Южной Америке/ South American Journey	1943	London: Victor Gollancz Ltd, 1944		Южная Америка
148.	Миллер, Генри/ Henry Miller	Аэрокондицион ированный кошмар/ The Air- Conditioned Nightmare	1945	New York: New Directions, 1945	Евгений Храмов Пушкинска я библиотека , Б.С.Г.- Пресс, СПб, 2001	США

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Переводы

Теодор Драйзер. Из книг «Путешественник в сорок лет» (1913) и «Каникулы индианца» (1916).

Лилли, дитя улицы
Прекрасный Уилкс-Барре
Американский городок

Генри Джеймс. Из книги «Американские зарисовки», 1907.

Конкорд

Клод Маккей. Из книги «Вдали от дома», 1937.

Когда негр за своего

Юджин Лайонс. Из книги «Командировка в утопию», 1937.

Из главы «По России»
Из главы «Мы переезжаем в особняк»
Из главы «Локомотивы едут в Среднюю Азию»

Уолдо Фрэнк. Из книги «Путешествие по Южной Америке», 1943.

Аргентина инков

Лэнгстон Хьюз. Из книг «Большая вода» (1940) и «Поброжу и расскажу» (1956).

Из глав «Сценарий на русском» и «Первомай»
Африка
Пароход «Малон»
Луна в Буругу
Свободу обезьянам!
Джокко
Италия
Плата за проезд

Джон Дос Пассос. Из книги «Во всех краях», 1934

Страна великих вулканов

Теодор Драйзер

Из книги «Путешественник в сорок лет»

ЛИЛЛИ, ДИТЯ УЛИЦЫ

Перевод выполнен по изданию: Dreiser T. A Traveler at Forty. – New York: The Century Co, 1914. P. 113-127.

Как-то раз вечером, когда время уже подошло к ужину, я стоял на Пикадилли и разглядывал ярко освещенные витрины. То, как в Лондоне выставляется галантерея, все эти золотые и серебряные завитушки, чрезвычайно меня занимает. Моросило, а у меня не было зонта; впрочем, в Лондоне на такие вещи быстро перестаешь обращать внимание. Я вышел на Риджент-стрит и остановился под фонарем – поглядеть, как хлынет по домам толпа клерков, мужчин и женщин, мальчиков и девочек.

И вот я шел под дождем и думал: «Где бы мне поужинать? Как это устроить?» Я бродил по Нью-Бонд-стрит, вполглаза поглядывал на темные магазины, и когда шел обратно по Пикадилли, увидел двух девушек: они прошли мимо под ручку. Одна из них взглянула на меня через плечо и улыбнулась. Она была не крупная и не миниатюрная, одета простенько. Симпатичная на английский пресный манер, с большими, чересчур уж невинными глазами. Девушки помедлили перед витриной, я остановился рядом и взглянул на улыбнувшуюся девушку; тогда она подалась в мою сторону и я заговорил с ней.

– А не хотите попробовать нас обеих? – спросила она с этим милым и странным валлийским акцентом. Голос у нее был нежный, а глаза голубые и властно-нерешительные, как у всякой неискушенной девушки. «Эта девица не вульгарная и не очерствевшая», - сказал я самому себе. Полагаю, мы всякой догадкой о женском характере так и норовим возгордиться. Я тогда, пожалуй, был горд собой.

– Нет, – ответил я почти сразу. – Не сегодня. Но пойдём-ка мы с тобой куда-нибудь поужинаем.

– А подружке моей шиллинг не дадите?

– Ни в коем случае, – сказал я. – Только ты.

Вечер был дождливый, знобкий и унылый, так что, если подумать, это мне полагалось полкроны. Вторая девица исчезла, девица с худеньким бледным личиком, и я повернулся к своей спутнице.

– Ну, – сказал я. – Что будем делать?

Было около восьми, и меня интересовало, куда бы я мог отправиться поужинать с подобной девицей. Наряд ее мог бы служить образчиком искусства, именуемого лоскутным шитьем. На ней был костюм из синей саржи, затертый до блеска. Дешевое-предешевое боа из перьев и шляпа самого трагического вида. Но на щеках играл тот самый, английский, чудесный яблочный румянец, а глаза – в самом деле, глаза ее были подлинным триумфом природы: нежная, глубокая синева и не слишком твердая готовность обороняться.

«Бедняжка, гонимая ветром душа, – думал я, глядя на нее. – Жизнь твоя ничтожна. Бессмысленная, бессовестная тварь (и я имел в виду самое мягкое из значений этого слова). Какое промозглое будущее ждет тебя».

На вид ей можно было дать лет девятнадцать.

– Давай-ка поглядим. Ты уже ужинала? – спросил я.

– Нет, сэр.

– Где тут хороший ресторан? Так чтоб не слишком фешенебельный, сама понимаешь.

– Ну вот, здесь «На углу у Л.».

– Отлично, где именно? Сама ты туда ходишь время от времени?

– Да, довольно часто. Мне кажется, там очень мило.

– Что ж, пойдём туда, – сказал я. – Впрочем, пожалуй, не сразу. Где то место, куда ты водишь своих приятелей?

– На Грейт-Титчфилд-стрит.

– Это мебелирашка или гостиница?

– Это квартира, сэр, моя квартира. Мадам позволяет мне приводить туда своих друзей. Но если хотите, можем пойти в гостиницу. Может, так оно и лучше.

Я понял, что у нее вызывает сомнения, как мне понравится ее квартира.

– А где тут гостиница? Там прилично?

– Вполне, вполне, сэр, не так чтоб совсем худо.

Я улыбнулся. Она держала над головой маленький зонтик.

– Давай-ка поймем такси и дадим деру от этого ливня.

Я поднял руку и кликнул таксиста. Мы сели; шофер, судя по всему, понимал, что у нас уличная интрижка, но виду не подавал. Лондонские таксисты, как и лондонские полицейские – образец вежливости. И девушка была вежливой, любезной. Я сравнивал ее с бродвейскими и американскими товарками – этими грубыми, циничными зверушками. У англичанок, от проститутки до королевы, есть врожденное чутье – как честно играть в социальные отношения, как жить самому и давать жить другим. Я говорю это со всей искренностью и чувством глубокого почтения к народу, у которого такие порядки. Им и следовало бы господствовать повсюду – по праву

учтивости. Но увы, боюсь, напористый торопыга-американец, который в гробу видал и учтивость, и все прочие способы тратить время попусту, все тут перекроит по-своему.

В такси я к ней не притрагивался, хоть она и елозила вокруг, желая добросовестно исполнить свою роль: строчку за строчкой, сцену за сценой.

– Далеко еще? – спросил я небрежно.

– Не очень, совсем чуточку.

– Сколько полагается таксисту?

– Восемь-десять пенсов, сэр, не больше.

И вдруг:

– Сэр, вам нравятся девушки? – спросила она с прелестной старомодностью, охваченная таким человеческим стремлением нравиться в заданных обстоятельствах.

– Нет, – предусмотрительно солгал я.

Она посмотрела на меня растерянно и, мне подумалось, в некотором благоговейном ужасе. Я был диковинной рыбиной, неведомо как заплывшей в ее сети.

– Коли так, то и я вам, видать, не нравлюсь?

– Да я бы так не сказал. Откуда мне знать? Я вижу тебя в первый раз в жизни. Глаза у тебя очень красивые, это точно, – таков был мой довольно-таки банальный ответ.

– Дуумаете? – она посмотрела на меня искоса, испытующе.

– Откуда ты родом? – спросил я.

– Я валлийка.

– Я так и думал, что не англичанка. Выговор у тебя мягче.

Такси резко притормозило, и мы вышли. Перед нами было обветшалого вида строение с какой-то то ли кофейней, то ли не кофейней на первом этаже; помещение было разделено на закутки тонкими, плохонькими деревянными перегородками. Женщина, вышедшая поменять мне полсоверена, – заплатить шоферу, – оказалась француженкой, опрятной и миниатюрной. Она была милая и оживленная, и поведение ее вмиг меня успокоило. Не похоже было, чтоб она задумывала меня обчистить, и когда чуть позже мы уходили, я уже имел основания в этом убедиться.

– Сюда, – сказала моя уличная подружка. – Пойдем сюда.

И я проследовал за ней по лестнице, крытой тонким ковром: два пролета и вот мы в крохотной затрапезной комнатке.

– Не так ведь чтоб совсем худо? – спросила она с ноткой гордости в голосе.

– Не так, вовсе даже не так.

– Будьте добры, заплатите за комнату.

Хозяйка шла за нами следом и теперь стояла рядом.

Я поинтересовался, сколько с меня, и выяснилось, что пять шиллингов – вполне себе необременительно.

Когда хозяйка ушла, девушка заперла дверь и принялась снимать жакет и шляпку. Она стояла передо мной и смотрела то ли с вызовом, то ли в раздумье. У нее была стройная, изящная, потрепанная фигурка, и когда она с легкой бравадой положила руку на бедро и улыбнулась мне, в этом неожиданно мелькнуло что-то трогательное. Я стоял возле каминной решетки, все было готово, чтобы развести очаг. Девушка застыла рядом,

глазее на меня и явно недоумеваю. У нее родилось подозрение, что я здесь вовсе не за тем, за чем положено. Взгляд ее, столь необычайно нежный и синий, уже немного раздражал меня. Я подметил, что волосы у нее каштановые, но спутанные и нечистые, неухоженные. Эти злосчастные созданыица понятия не имеют об искусстве жить или очаровывать. В жизни они жалкие пешки, шелуха красоты, навечно лишь шелуха.

– Садись, пожалуйста, - сказал я.

Она послушалась, как ребенок.

– Итак, ты валлийка. Из какой же части Уэльса ты приехала?

Она озвучила мне какое-то диковинное название.

– А кто твои родители? Бедняки, надо думать.

– Воовсе нет, – осадила она меня с этим своим чудным деревенским акцентом. – Мой отец бакалейщик. У него аж три лавки.

– Вот уж не верю, – насмешливо сказал я. – Вы, женщины, горазды приврать. Не верю, что ты говоришь мне правду.

Жестоко, но я хотел, если сумею, забраться подальше обычного вранья, которым отделываются подобные девицы.

– Почему? – ее чистый взгляд встретился с моим.

– А потому! Ты мне не кажешься похожей на дочку человека с тремя бакалейными лавками. Будь так, твой отец был бы зажиточным человеком. А ты ведешь в Лондоне такую жизнь – и ждешь, что я тебе поверю?

Она неуверенно ощетинилась, без злобы.

– Хотите верьте, хотите нет, – сказала она угрюмо. – А все так и есть.

– Скажи, – проговорил я. – Много ты зарабатываешь этим делом?

– О, когда больше, когда меньше. Я не каждый день выхожу. Знаете, я выхожу только когда мне нужно. Подцепишь джентльмена, он хорошо заплатит – и сиди себе, пока все не кончится, иной раз подолгу можно не выходить. Я не очень-то это люблю.

– А хорошо заплатит – это сколько, по-твоему?

– Ой, ну мало ли. Однажды мне дали целых шесть фунтов.

– И это неправда, – сказал я. – Ты сама знаешь, что неправда. Ты говоришь так, только чтобы произвести на меня впечатление.

Девушка покраснела.

– Это правда. Так же верно, как то, что я сижу перед вами. Это было не в этой же самой комнате, но в этом доме. Он был богатый американец. Из Нью-Йорка. У всех американцев деньги водятся. И он был в стельку.

– Да, деньги у американцев водятся, – улыбнулся я саркастически. – Только американцы не болтаются где ни попадя, транжиря их вот так на тебе подобных. Ты столько не стоишь.

Она смотрела на меня, но в глазах ее не было ярости.

– Все равно это правда, – сказала она кротко. – Вы не любите женщин, да?

– Не очень.

– Вы женоненавистник, вот вы кто. Мне такие попадались.

– Не женоненавистник, нет. Просто женщины меня не очень-то занимают.

Она была сбита с толку, огорошена. Я начал раскаиваться в своем хамском поведении и с горя разжег камин (цена – один шиллинг). Мы

подставили к нему кресла, и я забросал ее вопросами. Она рассказала мне о полицейском правиле, согласно которому женщине можно идти с мужчиной, не опасаясь быть арестованной, только в том случае, если он заговорил с ней первым, и о том, как велико число женщин, вовлеченных в этот бизнес. Я узнал, что на Пикадилли лучше всего «ловится» после часу ночи, а на Лестер-сквер и в ее окрестностях – между семью и одиннадцатью вечера. Есть еще одно место в Ист-Энде, я не запомнил точно где, там ловятся еврейские бедняки и тому подобный сброд, но они – это просто ужас смертный, – заверила она меня. Заработаешь три шиллинга – считай повезло, и до чего же они жалкие существа, тамошние шлюхи! Я еще подумал – что это должны быть за девушки, раз даже она смотрит на них свысока!

Потом почему-то – может, потому, что разговор принял такой дружеский оборот – маленькая валлийка решила: как знать, может, я не такой уж и бука. Жизнь научила ее никогда не выпускать из головы: а сколько она сможет выжать из мужчины поверх стандартной таксы; где получится чуть больше чем ничего, а где – экстраординарная сумма, от каких получаются дорогие платья и драгоценности (в соответствии с ее собственными представлениями об их стоимости). Старо как мир. Да к тому же и другие женщины рассказывали ей о своих свершениях. Тот, кто хоть немного знаком с уличными женщинами, знает, до чего это распространенная практика. И вот уже она выкладывает мне дежурную историю о человеке, который ее подобрал, проводил до комнаты и предложил фунт, хотя подразумевалась сумма в три-четыре фунта или даже больше. Вышло из этого, если верить ей, конечно, нечто ужасающее для этого мужчины. Она закатила грандиозный скандал, побила на полке у него над головой какие-то горшки и поставила на уши весь дом. Трюк курам на смех. Мужчина из трусоватых, слыша такое и будучи, возможно, новичком или несчастным гостем в мире подобных походов, пугается скандала. Многие робеют сторговаться с женщиной заблаговременно: запашок жестокости и греха начинает слишком уж бить в

ноздри; в конце концов, для среднестатистического мужчины в этих бесцветных связях таится некоторая доля романтики, даже если женщина ничего подобного не испытывает. Для большинства женщин все это – набившая оскомину, печальная, тошнотворная и неумолимая тягомотина, а мужчины – шуты, кобели, кретины, от которых им, как правило, ни приятности, ни интереса. Стоит им завидеть малейшую возможность обвести одного из них вокруг пальца, напугать его, ограбить или обмануть на деньги – они не пренебрегут никаким фокусом, никакой хитростью. Моя девушка, Лилли Э., училась этому, должно быть, у сотни опытейших уличных советчиц. Я знаю, потому что потом она рассказала мне и о приемчиках своих товарок.

Но я продолжу.

– Тогда он положил на стол соверен, и я с ним пошла, – сказала она.

Я улыбнулся, не столько с насмешкой, сколько позабавленный. История с ней никак не вязалась. Это было неприкрытое вранье.

– Не было такого, – откликнулся я. – Ты мне рассказываешь какую-то допотопную профессиональную байку. А правда в том, что ты глупая маленькая лгунья, надумала до того запугать меня своими рассказами, чтоб я отстегнул тебе два или три фунта. Избавь себя от хлопот. Я этого делать не собираюсь.

Я именно что собирался дать ей два или три, если не пройдет настроение, но сейчас ей это знать было ни к чему.

У моей маленькой валлийки окончательно ушла почва из-под ног. Это было ясно по ее беспомощному, такому милому взгляду. Что-то в моем высокомерном поведении плохо сказывалось на ее выдержке и присутствии духа. Я поднял на смех ее шитые белыми нитками выдумки и разобрал очевидные враки.

– Такого мужчины, как я, у тебя еще не было, – предположил я.

– Мужчины! Я и не желаю знать о них ничего нового, – откликнулась она с неожиданной яростью. – Я по горло ими сыта, всей этой оравой! Если бы я только могла выкарабкаться – я бы это сделала. Глаза бы мои больше не видели ни одного мужчины!

Я не сомневался в искренности этой вспышки. Но прикинулся, будто не верю ей.

– Это правда! – настаивала она с мрачным видом.

– Ты так говоришь, но это просто слова. Если бы хотела выкарабкаться, то выкарабкалась бы. Почему не устроишься куда-нибудь? Ты могла бы работать.

– У меня нет профессии в руках, а для учебы я слишком стара.

– Что за глупости! Тебе не больше девятнадцати и ты могла бы заниматься чем угодно. Но нет же. Ты ничем не лучше остальных. Ты идешь самым легким путем. Давай, – сказал я уже мягче. – Одевайся и пошли отсюда.

Ни слова не обронив, она послушно натянула жакет и свою замызганную шляпу, и мы двинулись к двери.

– Слушай, – сказал я. – Я не хотел быть злым. Бог мне свидетель, я последний, кто вправе бросать в тебя камень. Мы все в этом мире погрязли в такой гадкой неразберихе, и ты, и я, и все остальные. Ты не понимаешь, о чем я говорю, и ладно. А теперь давай найдем хороший тихий ресторанчик, где сможем не торопясь, со вкусом поужинать, как пара друзей, которым прорву всего надо обсудить.

Во мгновение ока она вся пришла в оживление. Видимость моего намерения обращаться с ней как с леди была, по ее представлениям, высшей степенью экстравагантности.

– Ну и забавный же вы, – ответила она со смехом. – Ужасно забавный.

И я увидел, что впервые за долгое, уж наверное долгое время слабый отблеск романтики мелькнул в ее грязном мире.

Мы вышли, и видя, как разительно переменилось мое поведение, она спросила:

– А вы не купите мне пачку сигарет? У меня мелочи нет.

– Конечно, – ответил я, и мы завернули в табачную лавку. Оттуда мы взяли такси до какого-то ресторана, который она, по всей видимости, сочла достаточно роскошным, а потом и оттуда – но я расскажу обо всем подробно.

– Скажи, – заговорил я после того, как она сделала заказ и для себя, и для меня. – Ты сказала, что родом из Уэльса. Назови мне типичный шахтерский городок из тех, что поближе к Лондону; какое-нибудь место, где действительно царят бедность и тяжкий труд.

– Ну, в наших местах довольно-таки скверно, – решила она и снова озвучила прежнее непристойное название. – У нас людям не на что жить.

Жаль, вы не слышите этого ни на что не похожее подмурлыкиванья – ее акцента.

– И далеко это?

Она сказала, сколько ехать от Лондона и сколько шиллингов берут за проезд. Думаю, это, самое большее, три часа.

– И в Кардиффе тоже вполне себе скверно, – добавила она. – Там много шахт. И даже очень глубоких. И люди там бедные.

– А ты сама хоть раз бывала в шахте?

– Да, сэр.

Ее вежливость вызвала у меня улыбку – и войдя в ту комнату в доме свиданий, и покидая ее, она помогла мне снять и надеть пальто, ни дать ни взять прислуга.

Я кое-что разузнал от нее об Уэльсе, о тамошней жизни впроголодь, а потом мы вернулись к Лондону. Сколько на самом деле зарабатывает среднестатистическая уличная девка? Я хотел знать. Она сказать не могла – тут уж по-честному.

– Кто-то больше, кто-то меньше. У меня вот не очень хорошо получается, – призналась она. – Много заработать не могу. Я не умею заставить мужчину раскошелиться.

– Знаю, что не умеешь, – сказал я с искренним сочувствием. – Бесстыдства в тебе маловато. И эти твои глаза, глядишь ты слишком нежно. Не надо тебе это, Лилли. Ты слишком хороша. Тебе бы найти другую работу, как бы это ни было тяжело.

Она не ответила: решила не обращать внимания на мою мелочную философскую озабоченность тем, о чем я не имел считай ни малейшего понятия.

Мы поговорили о разных типах девушек. Некоторые и впрямь красотки, другие нет. Есть у кого действительно хорошие фигуры, сказала она, да вы и сами знаете. Другие сложены просто ужасно, и тут все зависит от их наглости и сноровки: удастся ли развести на деньги мужчин, – недовольных мужчин. Есть постоянные точки ловли, Пикадилли вот –

лучшее место, единственное прибыльное место для девиц ее типа, и все веселые дома, какие тут есть, существуют с ведома полиции.

– Да, но этого не может быть, – сказал я. – Весь лондонский разврат не может быть сосредоточен на одном-единственном пяточке. Ресторан, в котором мы сидим, – просторное, но дешевое заведение, – тоже вполне себе злчное место, сказала она. – Должны же быть еще какие-то. Не могут же набиваться сюда все без исключения женщины, которые этим занимаются! Так куда же они деваются в таком случае?

– Есть еще одно место неподалеку от Чипсайда.

Выяснилось, что существуют определенные точки, бары и якобы рестораны, где девушке позволено появиться и ждать, пока какой-нибудь мужчина не заведет с ней разговор. Ждать можно по двадцать минут за один присест, и если никто так и не заговорит с тобой, изволь подняться и отправиться восвояси – но еще через двадцать минут можно вернуться и снова попытаться счастья; это означает, что придется купить себе еще выпить. А между тем мест таких еще полно, и все они забиты девицами.

– Ты отвезешь меня к этой чипсайдской точке, – предложил я. – А потом я куплю тебе еще сигарет и коробку конфет. И заплачу тебе за все время.

Она подумала было о своей товарке по ловле, с которой обещала встретиться в одиннадцать, но в конце концов согласилась. Товарка была отправлена на все четыре стороны.

За обедом мы болтали о мужчинах и о женских типажах, которые им нравятся. Англичане, полагала она, обычно предпочитают француженок, а американцы – англичанок, но высший шик – походить на американку и говорить с тем же выговором, что американка, потому что американки – самые популярные девушки из всех.

– И американцам, и английским джентльменам, - она сама произвела эту странную классификацию, – нравятся американские девушки. Меня иногда принимают за американку, – доверительно сообщила она мне. – И еще моя шляпка похожа на американскую.

Кстати, так оно и было. Это убогое хвостовство заставило меня усмехнуться.

– И чем же им так по душе американские девушки?

– О, американка умнее. И она быстро ходит. И лучше себя держит. Вот что говорили мне мужчины.

– И тебе удастся их надуть?

– Да.

– Это должно быть интересно. Я хочу послушать, как ты подражаешь американкам. Как ты это делаешь?

Она зажевала губами, готовясь разыграть спектакль.

– Окей, видно, мне уже пора, – начала она.

Имитация выходила у нее не слишком хорошо.

– Все американцы говорят «окей», – напомнила она мне.

– А еще что? – спросил я.

– Еще – «да ладно», – ей явно больше ничего не приходило в голову, – научите меня еще чему-нибудь. Я знала и другие слова, но позабыла.

Полчаса учил я ее американскому сленгу. У нее был такой заинтересованный и прилежный вид, пока я засеивал ее губки и нехитрую память этими дурацкими американскими фразочками, что, признаюсь, для

меня было большим удовольствием наставлять ее. Она явно не сомневалась, что все это повысит ее рыночную стоимость. Так что в некотором роде я был соучастником порока и подстрекателем к нему. Бедняжка Лилли Э.! Совсем скоро она падет безвозвратно.

В одиннадцать часов мы отправились туда, где, как она сказала, собираются подобные женщины, и тогда я увидел, что собой представляет подпольный мир лондонского разврата. Потом мне говорили, что я видел вещи вполне характерные.

Моя девчушка отвела меня в точку на углу, совсем рядом с рестораном, который мы только что покинули, я бы сказал, это было кварталах в двух. Точка была на втором этаже; поднимаешься по широкой лестнице и оказываешься в комнате, комната круглая, а по центру как раз эта самая лестница. Слева – бар с четырьмя-пятью хорошенькими барменшами, и небольшая комнатка, заполненная мужчинами и женщинами. Женщины, а вернее девушки – ибо всем им было, я бы сказал, от семнадцати до двадцати шести, – были, что называется, «ничего», но вот только им недоставало бойкости американских сестер.

Столы, за которыми они сидели, были расставлены вдоль стен, и они выпивали – исключительно в уплату за то, что им позволяет здесь находиться. Мужчины приходили и уходили, и девушки тоже приходили и уходили. То по одиночке. То парами. Туда-сюда сновали официанты, и, как мне показалось, местный этикет требовал, чтобы женщины заказывали портвейн, я не знаю, почему. на вкус это была омерзительная дрянь, будто сваренная из каких-то химикатов, и я отказался к ней даже притронуться. Мне показали местных сыщиков; девушек, которые работают в парах; низших существ на свете – мужчин, торгующих женщинами. Я узнал, что ровно в половине первого ночи Лондон закрывает все свои рестораны, бары,

пивнушки и тому подобные заведения, и тогда всех этих женщин выставляют на улицу.

– Видели бы вы Пикадилли около часу ночи, – сказала моя проводница парой часов раньше, и теперь я понял. Их просто-напросто выкуривают на Пикадилли из всех углов.

Должен признать, обстановка там была довольно гнетущая. В комнате было достаточно оживленно, но как же мало души в подобной жизни. Все равно что перемешать солому с опилками в надежде, что в них зародится энергия, чувство жизненного роста и свежести, которым полнится стебель или древесный ствол. Я бы сказал, что это мир умерших идеалов или, вернее, мир, где у идеала никогда не было шанса народиться. Эти женщины – настоящие хищные птицы: холодные, уставшие, разочарованные, злобные, тупые, быть может, даже печальные; мужчины – жертвы плотских страстей, неспособные понять, до чего велики усталость и отвращение женщин, силящихся их удовлетворить. Ни у тех, ни у других нет ясного понимания жизни; между ними – ни намека на нежность или романтику. Ни тени утонченности, какая есть в соблазнении, в зрительном обмане. Скорее это непристойный, грубый торг, в котором ведут свои грязные партии грабеж, брань и горькие взаимные обвинения. Я не знаю ничего более страшного, не знаю отзвука духовной смерти более отчетливого и более горького суждения о жизни, о любви, о юности и о надежде, нежели изможденный, лицемерный, базарный оклик уличной девки: «Привет, дорогуша!»

Оттуда мы пошли по другим точкам, не таким хорошим, как объяснила Лилли.

Что за убогий мир. Я и не пытаюсь дать ему толкование. Положение женщины или мужчины, которыми движет страсть, куда как завиднее. А остальные – так ли уж они виноваты? Обстоятельства играют во всем этом огромную роль. Да, я считаю, что это страшная, разверстая адская бездна, и

все же я знаю, что разговорами тут не поможешь. По моему суждению, жизнь не меняется. Мир стар. Люди делятся на классы, но страсти везде те же. Мы считаем, что этот жалкий мир худший из всех потому только, что он жалок. Но так ли это? Не в том ли все дело, что у нас попросту разные привычки? По мне, так именно в этом.

Я купил своей девчужке коробку конфет, поймал такси, отвез ее домой – в ее обшарпанную комнатуху – и распрощался с ней. Она была очень веселая. С тех пор, как мы выбрались из того закутка со съемными комнатами, она немало заработала. Кошелек у нее раздобыл на три фунта. Ее мнением поинтересовались, ее совет приняли во внимание, ей позволили сделать заказ в ресторане. Я постарался дать понять, что испытываю к ней по чуть-чуть и жалости, и восхищения. Стоя под дождем у ее порога, я сказал, что, быть может, о чем-нибудь из этого однажды напишу в книге. Она сказала:

– Пришлите мне экземпляр вашей книги. Я ведь в ней буду?

– Будешь.

– Пришлите, ладно?

– Если только адрес не поменяется.

– О, не поменяется. Я не так уж часто переезжаю.

Бедная валлийская бродяжка! Я подумал, как долго, как же долго «не поменяется адрес», прежде чем она падет пред зловещими тенями, что притаились на ее тоскливом пути – пути страдания, сожаления, смерти?

Из книги «Каникулы индианца»

ПРЕКРАСНЫЙ УИЛКС-БАРРЕ

Перевод выполнен по изданию: Dreiser T. A Hoosier Holiday. – New York: John Lane Company; London: John Lane The Bodley Head, 1916. P. 58, 60-64.

Лично меня Уилкс-Барре и весь этот регион действительно заинтересовали в связи с великой Антрацитовая забастовкой 1902 года – по моему суждению, одной из жесточайших и наиславнейших битв между трудом и капиталом, какие видела Америка. Кто не знает истории этой забастовки, кто не знает приведших к ней трудностей и невзгод? <...> Потомки долго будут помнить эти времена. Но ничего не поделаешь. Юный край содрогался в муках строительства, непостижимое племя людей, чьим оружием были деньги, билось так же отчаянно, как во все времена люди сражались на мечах или пушках. Идея личной свободы для масс казалась теперь шатким мечтаньем, каковым она всегда и была. <...>

Господа, мне ведомо, что сильному должно править слабым, а тому, у кого ума больше, - тем, у кого его меньше, но почему бы нам не сделать это равновесие чуточку более совершенным: на толику меньше загрузить стол Богача, на толику больше дать крошек Лазарю? Молю вас – еще самую малость крошек! Щедрость так бы украсила вас!

Уилкс-Барре оказался не город, а сплошное очарование – место столь оживотворенное строительным пылом, что просто попасть туда уже означало почувствовать себя возрожденным. После долгой, тяготящей поездки под дождем теперь мы видели солнце среди знойных облаков, и как приятно было любоваться суматохой разрастающихся заводов и цехов, курящихся и закоптелых - казалось, они горланят песни о своем процветании; на просторную, ровную мостовую из красного кирпича, по которой мы въехали в город, такую ухоженную, всю аж вылизанную; веселый сквер – один из самых чудесных маленьких парков, какие я видел, - заполоненный длинной вереницей трамваев и автомобилей: на первых значились названия городов,

расположенных за сто, даже за сто пятьдесят миль отсюда. Магазины отличные, прохожие – занимательные и в прекрасном расположении духа. Честное слово, мы не стовариваясь и в один голос вскрикнули от удовольствия.

Как видно, все пришли к выводу, что для путешествий не сыскать страны менее интересной, чем Америка; она, дескать, и близко не столь интересна, как Европа, Азия или Африка; покуда речь идет о патине, «памяти веков» и древних заброшенных монументах, они совершенно правы. Но меня ничуть не меньше влечет другая фаза жизни – юность великой страны. Америка, несмотря на все свои сотни с лишком лет, по-прежнему дитя, в лучшем случае – неоперившийся юнец, гордый, сумасбродный, тощий как жердь. Америке столько еще предстоит сделать, чтобы по праву называться освоенной, исторически полноценной землей, и все же если говорить о людях или даже об архитектуре – я бы не сказал, что ей так уж далеко до Европы. В смысле технической обустроенности Европа по сравнению с нами несмышленный младенец. Покажите мне заграничную страну, где вы смогли бы проехать на междугороднем трамвае такое же расстояние, как от Нью-Йорка до Чикаго, или государство, по размеру сопоставимое с Огайо или Индианой, не говоря уж о том, чтоб с обоими этими штатами вместе взятыми – пронизанное сетью комфортабельных дорог, проложенных так, чтобы можно было путешествовать по ним куда угодно, чуть ли не в любое время дня и ночи. Где как не в Америке вы можете наугад зайти в любую из наших удобнейших телефонных будок и позвонить в любой город, даже если он за три тысячи миль от вас; или взойти на поезд любого направления и в любое время, и знать, что он без пересадок доставит вас за тысячу миль или дальше; или проехать, вот как мы, две тысячи миль по цветущей, плодородной земле, минуя превосходные фермы и сельскохозяйственную технику, где все дышит здоровым процветанием – и даже, можно сказать, обескураживает изобилием? Ибо стоило нам пересечь эту страну, как она явилась мне

чудесно плодородной, полной просторных и удобных жилищ, энергичных, открытых и даже не чуждых остроумия людей – по-настоящему счастливых людей. Думается мне, это чего-то да стоит – и посмотреть на это стоит.

В Европе я редко находил в сельской жизни такое благополучие, а в людях – такой живой ум и внутреннюю свободу. В Англии, например, крестьяне столь неповоротливы, тупы, унылы. Но Уилкс-Барре обладает подлинным очарованием. Все улицы вокруг центральной площади наводнены процветающими лавочками. Здания – новые, исполненные солидности, повсюду небоскребы – эти неизменные символы чисто американской расчетливой амбициозности, - такие же, скажем, как соборы, которые так любили громоздить церковники двенадцатого и тринадцатого веков. В Средние века флорентийские, венецианские и европейские шишки все как один клепали себе замки, дворцы и всяческие отели-де-виль – так и современные американцы все строят и строят свои высоченные здания. Мы от них без ума. Нам они кажутся воплощением нашей силы и власти. Как смотрели флорентийцы, венецианцы, пизанцы и генуэзцы на свои покосившиеся башни и колокольни, так и мы глядим на эти небоскребы. Когда Америка состарится, и ее оставят нынешние энергия и жизненный голод, и сюда, где некогда мы так жадно жили и строили, придет раса каких-нибудь чужаков или вырожденцев, - тогда, быть может, кто-то из этих пришельцев будет бродить здесь, среди руин, и вздыхать: «О да. Американцы были великим народом. Их города невероятны. Эти развалившиеся замшелые небоскребы, эти разрушенные публичные библиотеки, эти пошедшие трещинами почтовые отделения, здания мэрий, полицейские участки!»

В Уилкс-Барре нетрудно отыскать претенциозный ресторанный полуподвальчик, где готовят гриль – нечто, по всей видимости, необычайно близкое и дорогое американскому сердцу, - с этими тяжелыми стенными панелями во фламандском вкусе, с цветными фризами, на которых

изображены рыцари, гуси и пастушки, и с необъятных размеров меню на желтой бумаге. В таком-то месте от официанта (он, как выяснилось, принадлежал к числу этих ужасающих существ, что гоняются по проселочным дорогам в хаки, армейских ботинках и защитных очках: мотоциклистов) мы узнали, что к западу от Уилкс-Барре хороших дорог не сыскать. Он на своем мотоцикле побывал во всех местах, которые тут есть к востоку в пределах ста миль: Филадельфии, Дувре, Уотер-Гэп – но не знает ни единой приличной дороги, что вела бы на запад. Везде там грязища или булыжники, и никакого спасения от колес.

Лавочник, торговавший всякой мелочевкой и канцелярскими принадлежностями, - мы запаслись у него почтовыми открытками – высказался в общем в том же духе. На западе нет ни больших городов, ни хороших дорог. А ведь у него Форд. Лучше бы нам поехать по направлению к Бингемтону через Скрэнтон, а оттуда любой дорогой в Баффало. Такой крюк сэкономил бы нам время. Как видно, другого выхода не оставалось. Официант-мотоциклист нам сказал то же самое.

Было около пяти. Я уже до того влюбился в этот город с его кипучим миром автолюбителей, охотников до покупок и мелькающих среди них чумазных шахтеров, что с величайшей охотой задержался бы тут на ночь – но вечер оказался такой чудесный, что ничего лучше не приходило на ум, как ехать и ехать себе дальше. Это ощущение прохладного ветерка, овевающего тебя, покуда мимо проносятся поселки, и холмы, и необъятные поля, и скромные фермерские дворики! Это пение машины: тр-р-р-р-р-р! Выглянуло солнце, или по крайней мере начали просвечивать меж туч пятна голубизны, и мы понимали, что впереди у нас – девятнадцать миль великолепной дороги, прямехонько по берегу Саскуэханны и в самый Скрэнтон, а там и дальше, коли нам захочется. Как бы ни нравилось мне в Уилкс-Барре (я дал себе зарок однажды вернуться), мне не терпелось ехать дальше.

Тут-то и началась самая упоительная часть нашего путешествия – честное слово, это была одна из самых восхитительных поездок в моей жизни. До сих пор Саскуэханна была для меня не более чем названием. А теперь я узнал, что она берет исток в озере Отсега, округ Отсега, штат Нью-Йорк, течет на запад к Бингемтону и Овего, а потом – на юго-восток, через Скрэнтон, Уилкс-Барре и Харрисбург, до Чесапикского залива в Гавр-де-Грейс. Пока мы ехали на запад по Пенсильвании, я время от времени мельком видел ее, инкрустированную скалистыми островками, кувыркающуюся, остро поблескивающую в узких промежутках между валунами. В Уилкс-Барре какая-то ее часть протекала по парку, с которым граничил и наш маршрут, и здесь она была довольно широкой, спокойной, серо-зеленой. Недавно прошли проливни, и может быть, именно поэтому она была так хороша.

Как бы то ни было, окруженная холмами-часовыми, с севера текла она, играя мягкими извивами, забирая то туда, то сюда. И долина ее – как она, в самом деле, прекрасна! Повсюду между Уилкс-Барре и Скрэнтонем, отмечая входы в зевы шахт, попадались огромные углесортировки с сопутствующими им горами угля и шлака. С тех пор, как мы выехали нынче вечером и обнаружили, как легко делать что пять, что тридцать миль в час, даже с учетом попадавшихся нам на пути многообразных шахтерских поселков, нам то и дело встречались компании горняков – кто на своих двоих, кто на трамваях, кто на этих новомодных штуковинах – маршрутных автобусах, которые теперь снуют даже там, где, казалось бы, и трамваев предостаточно. А сколько мы миновали длинных шеренг шахтерских желтоватых деревянных домиков! Любопытно, почему бедность и труд подобного рода неизбежно ассоциируются с желтым и тусклым? Многие из этих дешевых дощатых строений были выкрашены именно в такие цвета, а потом потемнели или стали грязными от осевшей на них серой копоти.

Обитатели этих человеческих ульев собирались группами у дверей. По одной протяженной безотрадной улице мы проехали – все эти поселки располагались вдоль реки – и с интересом проследили за тем, как понесла лошадь: у нее был не слишком тяжелый груз, связка кольев для забора, и она помчалась прямо на нас, а в последнее мгновение свернула и врезалась в дерево. Мальчишки, углядев наши нью-йоркские номера, заголосили: «Ага, видали нью-йоркских бездельников!» - чем привели нас в большое смущение. А еще дальше у Оборота что-то не заладилось с фарами и он притормозил, чтобы их проверить, и тогда Фрэнклин сделал черновой набросок того неземного вида, который открывался нам сверху: высокие холмы, широкая долина, несколько исполинских углесортировок на переднем плане, редкие облака, подкрашенные в розовое последними лучами угасающего дня. Такой закат и такой пейзаж могли бы стать вступлением к звучанию небесного голоса.

АМЕРИКАНСКИЙ ГОРОДОК

Перевод выполнен по изданию: Dreiser T. A Hoosier Holiday. – New York: John Lane Company; London: John Lane The Bodley Head, 1916. P. 75-80, 82-84.

Факторивилл, как выяснилось утром, был как раз из тех крохотных местечек, которые бывают так занимательны для человека, уставшего от столичной жизни, своей величайшей простотой и царящим в них духом мира и покоя. Восседаю в халате на удобных деревянных качелях, я видел, что это просто-напросто скопление белых домиков с большими лужайками или двориками; кругом настоящий цветник и в нем – пара лавчонок. Аптекарь доктор А.Б. Фитч (мне видна была надпись на окне) подметал тротуар перед своим заведением. Я понял, что это сам доктор А.Б. Фитч, по его торжественному хозяйственному виду, пальто из альпаки и основательности, с какой возвращивал он свои густые седые бакенбарды. Он был без шляпы, в безмятежном расположении духа. Я почти слышал его голос: «Скажи маме,

Энни, чтобы принимала это лекарство по чайной ложке каждые три часа, поняла?»

Дальше по улице Х.Б. Вендель, торговец скобяными изделиями, выставил на продажу маленькую красно-зеленую газонокосилку и несколько цинковых ведер, в которые можно собирать что угодно, хоть дождевую воду, хоть мусор. Всем этим он намеревался приманивать покупателей. Хоть час был еще и ранний, горожане уже показались на улицах; пара рабочих направлялись в какую-то даль, на фабрику не в Факторивилле; женщина в полосатой шляпе стояла на углу своего белого домика и вела смотр цветам; босоногий мальчуган пинал перед собой комья влажной пыли. Это напомнило мне время, когда я был юношей и жил в таком же городке; я вставал спозаранку и смотрел, как мама перебирает утренние, набухшие от росы цветы. В Факторивилле я собирался на некоторое время задержаться.

Только вот Фрэнклину, неугомной душе, это было не по нутру. Он прожил в маленьком городке и на ферме бо'льшую часть своей жизни и, в отличие от меня, никогда не покидал страны. Я сидел на балконе, покачиваясь и предаваясь ленивым раздумьям, а он был в комнате и старательно брился – я эту задачу решил предоставить какому-нибудь городскому цирюльнику. Наконец он вышел ко мне и сел.

– Разве не чудо эта страна! – сказал я. – А этот городок! Глянь на старика доктора Фитча, или на того бакалейщика, что раскладывает товары по полкам.

– Ага, - откликнулся Франклин. – Точь-в-точь наш Кармел. Жизни особой нет, как есть болото. И торговля соответствующая. Индианаполис, конечно, теперь так близко подобрался, что туда на трамвае можно доехать, а это сильно меняет дело.

В ту же минуту он пустился рассказывать забавные истории о кармельских персонажах – слишком дурацкие или слишком непристойные, чтобы передавать их здесь. Мне запомнилась только одна, про каких-то деревенщин, которым пришлось подыскивать себе новое место для соборищ, потому что старый трактир снесли. Когда Фрэнклин повстречал их там однажды, то вполне невинно заметил: «Ну, дух-то у этого местечка не тот», и тогда селянин ему возразил: «Почему же, тот самый – надо только окно на задний двор открыть».

Оборот тоже брился в комнате, и услышав, как я воспеваю прелести деревенской жизни (и окна, и двери были открыты), вставил:

– Да все отлично, только поживи здесь маленько – тогда посмотрим, как оно тебе понравится. И кстати! Люди-то в деревне точно такие же, как везде.

Временами у Оборота делалось такое странное выражение лица, как будто ему вдруг стало больно или даже страшно, словно облако проносилось над ландшафтом, или что-то в этом роде, и тогда меня тянуло положить ему руку на плечо и сказать: «Ну, ну!» Иногда я задавался вопросом, часто ли ему случалось голодать, оставаться без работы, терпеть обман и злобу. Бывало, он выглядел таким злосчастным.

– Да знаю я, знаю, – весело отозвался я. – Но эти коровы, и деревья, и маленькие цветники, и фермеры на сенокосе, и...

– Хм! – вот все, что он соизволил ответить, не прекращая бриться. Фрэнклин, со всей своей терпимостью к причудам и сантиментам, не снизошел до комментариев. Меня не удостоили даже улыбкой. Он смотрел на аптеку, на лавку скобяных изделий и на старика в бесформенном, мешковатом костюме, ковылявшего по тротуару с палкой.

– Я и сам люблю эту страну, – промолвил он наконец. – Но вот только зарабатывать на жизнь фермерством – увольте.

Я не мог не думать о тех временах, когда мы (я имею в виду часть нашей семьи) жили в таких вот городках и мальчиком я мечтал, я жаждал столько вещей. Мимо проходили длинные поезда! Люди ехали в Чикаго, или Терре-Хот, или Индианаполис! Места вроде города Бразил в Индиане, убогого шахтерского поселка с тремя или четырьмя тысячами населения, казались какими-то волшебными странами. Весь мир был там, снаружи, и я, сидя на крыльце – на переднем или на заднем – или на траве, или под деревом, совсем-совсем один, только и знал, что мечтать и гадать. Когда я выйду в мир? Куда отправлюсь? Чем буду заниматься? Что повидаю? И иногда при мысли, что ни отца, ни матери со мной больше нет, - мама, наверное, тогда уже умерла, - а сестер и братьев разбросало по всему миру, при этой мысли - признаюсь в этом, а печаль даже теперь почти та же, что тогда – комок набухал у меня в горле и я готов был расплакаться.

Сентиментален?

Да уж!

Вскоре нас позвали завтракать в милую, по-домашнему уютную столовую, какими иногда могут похвастаться деревенские гостиницы – столовую неопишуемой бесхитростности и топорности. Здесь все было до того перемешано – старенькая пожелтевшая фабричная мебель, цветные литографии, черно-белые литографии, мухобойки, пять штук солонок, английский умывальник и бог знает что еще, - что это очаровывало. Да, там было чисто, и к тому же приятно – очень даже – это место было похоже на столь многих из наших целомудренных, честных, так сладкозвучно поющих псалмы баптистов и методистов. Отец и мать, хозяева гостиницы, завтракали здесь же, за одним столом. Светловолосенькая приглашенная девица, официантка ничуть не ниже классом, чем Далай-Лама, прислуживала за столом. Путешественники поедали свою яичницу с жареным окороком или

бифштекс с жареной картошкой – у одного или двоих такой завтрак явно был в заводе – и пили невообразимый кофе или чай.

Мои дорогие, неотесанные, упертые мечтатели-американцы! Как я люблю их! И необъятные просторы от Атлантики до Тихого океана, собирающие их в тесный круг, и все их надежды! Как они поднимаются по утрам, как спешат, как бегут за солнцем! Там они строят виадук, тут возводят великую дорогу, еще дальше – вспахивают поля или сеют зерно, и лица их озарены вечной, тщетной надеждой на счастье. Посмотрите, как благоговейно блюдут они свою лавку, благоговейно управляют деревенской гостиницей, благоговейно косят траву, благоговейно заключают выгодные сделки и думают: если много молиться, перенесешься на небеса – дорогие мои! – а меж ними блуждают дурные люди, бездельники, которые жуют табак, ругаются, а вечером в субботу отправляются в город, не потребуют там и швыряются деньгами!

Дорогая, дорогая, любимая земля янки – «ты моя страна» - когда я думаю о тебе и обо всех твоих бедах, о твоих мечтах, о твоей храбрости и твоей вере, я готов плакать над тобой, заламывая руки.

А вы, вы, великие умники, подстрекатели к предательству, сочинители бесчестных налогов, устроители невыносимого бремени – берегитесь! Эти простые души, мои соотечественники, что поют бесхитростные песни в детском неведении и умиротворении и лелеют сладостные мечты о жизни, и любви, и надежде. Не будите их! Не дайте им заподозрить, не позволяйте даже глазком подсмотреть ваши трюки и уловки, благодаря которым вы ими помыкаете, околпачиваете их и обманываете; не дайте им узнать, что их вера – ничто, их надежда – ничто, их любовь – ничто, - или увидите костры гнева...

<...>

Покинув Факторивилл, мы двинулись по местности столь прекрасной, что вскоре я всем сердцем пожалел, что прошлой ночью мы пустились в дорогу в темноте. Мы прокладывали себе путь по просторной долине, насколько я мог судить, не менее зеленой, чем долина Саскуэханны, между высоких холмов, по земле, полностью отданной под молочные фермы. Холмы выглядели так, будто по колено утонули в густой, сочной траве. Повсюду показывались группы черно-белых голштинских коров. Некоторые холмы в шахматном порядке перемежались полями с зерном, сеном или гречихой, а кое-где – раскидистыми густыми рощами. Посреди иных фермерских палисадников располагалось возвышение, на котором стоял бидон из-под молока, или два, или три; время от времени показывалась местная сыроварня, где все молоко с окрестных ферм сбивали в масло, а потом масло упаковывали и развозили по лавкам. Фабричных поселков было немного, многие скорее давали приют летним отпускникам – или только вступали на свой промышленный путь. Девушки и женщины на крылечках читали или шили. Шахтерский край остался далеко позади.

Что за день! Пейзаж то и дело меняется – и как он чудесен! Тр-р-р-р-р и мы спускаемся по странице вниз; крутой холм, а у его подножия железнодорожный путь (без сомнения, из тех, о которых нас предупреждали), а там, вдали – холмы еще выше, они хранят эту долину, за многие мили отсюда видна дорога, похожая на белую нитку.

Тр-р-р-р-р-р, и вот мы проезжаем двор зажиточной фермы, озаренный сполохами цветов, женщина шьет у окна, еще несколько болтают у порога с соседкой. Тр-р-р-р-р-р, а вот мы вписываемся в крутой поворот и въезжаем на железный мост, стонущий и шаткий, под мостом – бурливая речка, а прямо перед глазами – старая мельница или скотный двор, где галдят птицы и скотина. Я только успел задуматься: «А что, если мост под нами сломается и мы рухнем в поток?» - как тр-р-р-р-р-р, и вот уже передо мной небольшой завод или литейный цех с высокими дымовыми трубами, а позади –

ладненький городок, чистый, толковый, трудолюбивый. Видите – никаких традиций, никаких обычаев. Ни памятников, ни соборов, ни роскошных отелей, ни исторических мест, встречи с которыми ждешь с таким волнением; но тр-р-р-р-р-р, и вот мы уже на окраине этого городка, а за ним виднеются зеленые поля, от промышленных потертостей и рубцов не осталось ни следа – одно лишь синее небо и бескрайние зеленые равнины, росчерк нескольких птиц в вышине и фермер, снимающий урожай большим серпом. Тр-р-р-р-р, как же быстро пролетают мили, подумать только!

И вот тр-р-р-р-р-р (вот уж неутомимые штуковины эти моторы, ничего не скажешь) – перед нами озеро, оно только виднеется за высокими и прямыми стволами деревьев, серебряная вспышка и чуть поодаль серое льдохранилище, а вот тр-р-р-р-р-р плотная зеленая лесная стена, такая густая и темная, и из-за нее изливаются самые сладкие, самые полнокровные, самые бодрящие запахи; в ее глубины ныряет взгляд, дабы постичь прохладу и темноту теней и, быть может, даже самую глубокую тень, даже зеленую черноту; а вот тр-р-р-р-р-р выстроились в линию у ручья маленькие белые домики, и мальчишка зарывается пальцами ног, топчется в теплой золотой пыли – о, счастливое мальчишество! – а вот тр-р-р-р-р-р – но только стоит ли продолжать? Все было прекрасно. Все было освежающе. Все было подобно песне – но – тр-р-р-р-р-р – и вот перед нами очередной великолепный широко раскинувшийся пейзаж, и Фрэнклин хочет его зарисовать. У него есть большой блокнот с какой-то особенной пористой белой бумагой; в нем он работает, а когда рисунок готов, то вырывает лист и перекладывает на хранение в удобную папку. Оборот уже начал смиряться с тем, что добраться до Индианы так быстро, как ему хотелось, никак не получится.

– Черт-те что! – услышал я ненароком, как раз когда он смазывал двигатель.
– Не останавливались бы каждые пару минут, уже бы давным-давно были в Индиане. Дайте мне мало-мальски приличную дорогу и этот старенький мотор, который шустренько подъедает мили, не хуже прочих... Но когда у

тебя на борту два психа, которые поминутно орут: «Ух ты!!» и вскакивают с места, или выпрыгивают на дорогу, или и то и другое разом, и верещат: «Ну ты только посмотри, как тебе это, а? Ну разве не красота?!» - как тут быть? Эдак никакой шофер никуда не доберется, знаете ли.

Генри Джеймс

Из книги «Американские зарисовки»

КОНКОРД И САЛЕМ

Перевод выполнен по изданию: James H. American Scene. – London: Chapman and Hall, Ltd., 1907. P. 256-272

I

Я сразу почувствовал, лишь немного поразмыслив над тем, как это поточнее выразить, а затем отбросив всякие сомнения, что Конкорд, штат Массачусетс, если не считать трех-четырёх крупнейших наших городов, столь явственно не таков, как все, или, иными словами, столь уютно угнездился в собственной узенькой складке плаща истории, как не удавалось это больше ни одному американскому городу. Вы будто бы слышите его жалобный голос, он говорит с вами, как женщина: «Ну скажи, разве я похожа на другие города такого же размера?» Эта застенчивость так идет к деревенской прелести Конкорда, освещенного мягким осенним солнцем, - она сама подскажет вам, в каком тоне ответить или, даже можно сказать, - признаться в любви.

«Ах, моя радость, какое значение имеют города того же *размера*, если среди городов того же размера тебе так легко, так естественно быть первой красавицей; подумай лучше о городах, - о множестве городов! – которые больше тебя в пятьдесят раз и которым еще расти и расти до того, чтобы получить хоть капельку твоей весомости, твоего характера, живости твоей манеры и сладости речей, духовного обаяния твоих принципов, твоей милой, доброй готовности слушать и понимать, словом, всего, что есть ты. *Размер?* Да что тебе до этого, величайшее из маленьких местечек Америки, которое могут превзойти, в моем представлении, разве что Нью-Йорк, да Чикаго, да Бостон; вся страна – счастливица, которой повезло, что у нее есть ты с твоей единственной и неповторимой удачливой судьбой, ведь если б не было тебя,

куда нам, не ведающим ни мира в душе, ни стремлений в сердце, было бы податься за тем тайным знанием, которое открыто тебе? Страна эта колоссальна, а ты – лишь крохотное пятнышко на подоле ее одеяния, и все же нигде здесь нет ничего подобного тебе, ибо на тебя мы можем взирать с благодушием, невооруженным глазом, а между тем по карте, как жирные пятна, расплзаются огромные ошестинившиеся области, так называемые центры населенности, которые никогда в жизни не понравятся нашим глазам, никогда не смогут приковать к себе наше зрение: взгляд скользит мимо, делая вид, что этих пятен попросту нет. То, что ты так разительно на них непохожа, я не назвал бы твоей величайшей заслугой; скорее все дело, как я уже говорил, в твоей удачливости, в благосклонности судьбы – это дар полудюжины счастливых оборотов колеса в твою пользу. В земной карьере полудюжина таких оборотов – недурной почин, а твоя заслуга в том, что, признавая это, ты не пускаешь полученного состояния на ветер. В этом твое счастье, более того, в этом твое обаяние. Хвала небесам, и то и другое дано тебе от природы, и в этом моем суждении нет места снисходительности. Это то, чего по всей стране пытаются добиться другие, большие города, которые в сравнении с тобой ничто, - и, как следует из сказанного, тщетно. Твоя удача в том, что тебе это не нужно: твое, и это видно по тебе до сих пор, было создано для тебя – и тебе оставалось лишь с благодарностью принять дар. И ты его сохранила, а ведь не каждый на это способен! Ты сохранила свой облик, сохранила характер, сохранила самый свой дух. Величавые деревья с еще большей заботой склоняют ветви над твоими владениями, охраняя их своим заветным соседством; и ты навела здесь свои порядки, установила свой тон и свой образ, и они стали сокровищами, которых у тебя теперь не отнять. Покажите мне другие места в Америке (где хоть что-нибудь такое да имелось), у которых не было отнято лучшее – или не будет отнято вот-вот. Есть старый Салем, есть старый Ньюпорт, которые я собираюсь навестить по дороге и которые, как мне доводилось слышать, еще, если угодно, относительно нетронуты, но у них никогда не было того, что было у тебя, и

они лишь украшают мою небольшую повесть о твоём превосходстве. Нет, я не желаю смотреть на тебя сверху вниз, но единственная твоя вина – в том, что ты делаешься только лучше, я имею в виду, остаешься такой же, какой ты *была* – а это единственный род улучшения, который не вызывает сомнений».

Таково было течение теплого потока восхищения и раздумий, которым вновь посещенный Конкорд заливал поля подготовленной чувствительности, и я ощущал, что вполне точно выразил свое к нему отношение, вопрошая, какой еще американский городок мог бы сравниться с ним. Я покривил душой, быть может, только тогда, когда говорил о «видимости невооруженному глазу» на широких просторах масштаба; правда состоит в том, что, пожалуй, половиной этого впечатления Конкорд обязан своей известности и что самая эта известность в данном случае и есть – увеличительное стекло. Я сам помню, каким он явился мне воскресным ноябрьским утром, прохладным и солнечным, как нельзя более к нему идущим, когда я шел со станции под сплошным вязовым сводом, все так же просвечивающим разве что из снисхождения: догадались бы вы или нет о том, что здесь происходило во времена былые, если бы не могли обернуться назад, в прошлое, и хоть наскоро в этом разобраться? Обладали бы все эти чудотворные составляющие прошлого – старинное маленькое Сражение при Конкорде, и Эмерсон, и Готорн, и Торо, со всеми прочими деталями исторической одухотворенности, со всеми прочими именами, имеющими отношение к замысловатому мерцанию трансцендентализма, вплоть до последних и самых безжизненных его ответвлений, - обладали бы даже эти значительные величины долговечным послевкусием для вашего разума, если бы вы не замечали их в знаках, в робких, неясных призраках, в которые они, в лучшем случае, превратились? Праздны, впрочем, такие вопросы, когда, по случаю восхитительного дня, все возникает перед вами в безошибочном порядке и именно таким образом, каким должно; каждая струна звенит так,

как если бы для всего мира вольный новоанглийский город (и под словом «вольный» я подразумеваю все, кроме взаимоотношений предметов и мест) был лирой в руках Аполлона. Аполлон был воплощением духа античного благочестия – принимаясь за свою музыку, он оглядывался, умолкал, припоминал, и конечно же, были видения и отблески прошлого, которые увлекали его дольше остальных.

Восседающее перед вами с умиротворенным видом, будто бы демонстрирующее безмятежную задушевность в своем отношении к пилигримам и готовность принимать их почтение как должное, местечко это имеет вид серьезной, чинной новоанглийской матроны «старой школы», вдовы какого-нибудь известного, великого человека, владеющей правом и на его имущество, и на память о нем, и на доходы с них живущей; пускай сама она не испытывает склонности ни к сплетням, ни к журналистике, но становится и разговорчивой, и веселой, и современной, когда заходит речь о том выдающемся обществе, которое собиралось в ее доме в прошлом. Со своей боевой позиции, из кресла с высокой спинкой, развернутого к окну, она руководит большей частью прибытий и прощаний, и поднимает мудрый взгляд от вязанья, по-прежнему не видя для своей партии никаких помех, - да и в самом деле, нет причин предполагать возможность таких помех, разве что мы заметим, как иссякает даль временной перспективы, как это всегда представляется сознанию под тяжестью прожитых лет. Прежде я был знаком с одной весьма занимательной дамой преклонного возраста, которая в молодости водила дружбу с представителями «литературных кругов», ныне уже считающимися классиками; в конце жизни она частенько говаривала: «А вы слышали, Чарли Лэм поставил пьесу для Друри-Лейн», или: «Знаете, Билл Хэзлитт совсем потерял голову от такой странной особы...». Все, что она говорила, в точности соответствовало истине, и одна только смерть обходила стороной ее мир: я не помню, чтоб она хоть раз упоминала о кончине Байрона или Скотта – а ведь ей по силам было бы превратить эти события в

факт современности. Если кто-то болел, она безупречно воздерживалась от расспросов об этом человеке – она не одобряла подобных вещей, и таким образом вокруг нее, рядом с ней было множество интереснейших, но, к собственному несчастью, нездоровых людей, существование которых она годами виртуозно игнорировала. Отзвук той же тихой поступи человека, который, как и моя приятельница, повернул назад, слышится мне в голосе старого Конкорда, шагающего прочь, к началу своей летописи, и я не побоюсь сказать, что именно в самых священных его уголках я, положив руку на сердце, улавливал в ветре готовность прошедшего времени преобразиться в настоящее. «А вы слышали, у наших ребят с людьми короля тут недавно вышло одно дельце», - в это прозрачное воскресное утро, здесь, где так мало изменилось, и река все та же, и мост, а главное – сама природа, самый дух этого места так убежденно об этом свидетельствуют, никого не удивило бы, что эта фраза звучит как болтовня о последних новостях.

За эти годы я позабыл, с какой ошеломительной ясностью говорит с вами это великое место – да, речь его кажется нам старомодной, хоть мы еще и не во всем отклонились от курса той эпохи, но ясность ее поражает теперь даже сильнее. Снова оказаться здесь было все равно что, узрев эти идеи искоса, вползгляда, вдруг приблизиться к их полному пониманию; глядеть поверх голов представителей «американского Веймара» в тот самый решающий час, когда им с такой отчетливостью явились основы их философии. Сражение при Конкорде было осью, вокруг которой должно было сделать оборот великое будущее, или лучше было бы сравнить его с большим, крепким, добротным вбитым в стену гвоздем, на котором теперь висит, как мы видим, этот великолепный групповой портрет. Прекрасны лица родившихся здесь Эмерсона, Торо и Готорна и прочих, которых они оставляют немного в тени, но прекрасны они во многом потому, что старинный славный эпизод, разыгравшийся в здешней долине, подготовил их появление. Его важность раз и навсегда задала высочайшую планку, и в

самом деле казалось: она так высока, что даже вопреки тому, что семя литературы так походя посеяла в здешнюю землю чужая рука, - все же плебейское слово никогда не могло бы прозвучать в этом воздухе. Подолгу не бывая здесь, я в погоне за поспешностью ощущений неминуемо позволяю этому высокому слову растрачивать себя впустую, но здесь оно мгновенно возвращается ко мне со сладостным дыханием реки, под лучами осеннего солнца подобной всем американским рекам, которые вы видели или еще только увидите, и сразу же дается мне в руки. «О, расскажи мне о своем впечатлении, когда осознаешь, что я делаю для того, чтобы оно было таким; так наклонись же ко мне поближе...», - кажется, говорят они с нами.

Я наклонялся к реке Конкорд так долго, как только мог, и вспоминал, какие точные, пронизательные слова Торо, Готорн и сам Эмерсон находили для описания этого полноводного, неспешного, сонного, подобного лугу потока, в каждом движении которого, в том, как вливается он в изгибы берегов, сквозит сходство с тучным и благожелательным человеком, ничуть не скрывающим своего нежелания вступать в разговор и просто проскальзывающим мимо, якобы вас не заметив. Река наблюдала за тем сражением и по-прежнему невозмутимо рассказывает о нем, не ускоряя течения своих слов, и катит волны сквозь леса, сады и поля с мурлыканьем ласковой кошки, которая трется о мебель и о ноги хозяев. Но толком не поддается описанию, как мне думается, и никогда не перестанет быть невыразимым пронзительное выражение всего пейзажа, открывающегося здесь, у моста, где задерживается путник: это оттиск растворенной в нем могучей силы, которая спустя все эти годы (а может быть, именно потому, что их прошло так много) так несказанно трогает сердце. Все эти памятные «объекты» – камень на могиле трех английских солдат, одухотворенный образ молодого американского фермера с ружьем в руках, изваянный м-ром Даниэлем Френчем и так сокровенно перекликающийся со Старой Усадьбой неподалеку, составившей увлекательную тему для пера Готорна, - все это

говорит с сердцем, несомненно, в самом нежном тоне, на который способна официальная история, и каким-то образом до сих пор оставляет неизменной утонченную печаль всего невысказанного. Она кроется слишком глубоко, как бывает это всюду, где земля несет на себе бремя простого и решительного поступка, напряженного и непроизвольного, предназначенного определить исход событий, определить будущее и стать в наших глазах бессмертным. Ибо мы вчитываемся в эту главу не так старательно, как могли бы, до тех пор пока этот приглушенный голос не донесется до нас, - и тогда мы чувствуем всю боль и всю иронию этого едва слышного рассказа о доле павших защитников. Мы знаем, какие чувства двигали ими, но куда лучше, кажется, мы знаем другое чувство, которого они не испытывали и испытывать не могли и которое лежит в основе владения нашим роскошным наследством – оно появляется, когда наши глаза стремятся встретиться над бездной с их глазами; то, что почти заставляет нас стыдиться, когда мы видим столь большую, колоссальную ценность в том, что они предложили нам, смутно понимая собственный дар. Великая сделка, которую они заключили для нас, была совершена ценой того немногого, что у них было, - в этот скромный дар вошли все эти деревенские, домашние вещицы, собранные здесь в качестве свидетельства, - это блестящее превосходство поражает воображение того, кто тоскует над ними, сокрушаясь, что столь несоразмерной ценой обрел столько блага. Было бы это деликатно, было бы пристойно – если представить себе на минуту – просить вооруженных фермеров, простой, бесхитростный народец сделать нам столь чрезмерный подарок, почти не осознавая его ценность? Все это, пожалуй, попросту самый горький из плодов, которые приносят нам жертвенный труд и бескорыстная боль наших предков. Конечно, минитмен на мосту, как тогда верили, более чем корыстен – но то корысть того же хитроумного толка, как то затаенное, выжидающее чувство, с которым мы позволяем поймать нас на приманку еврею в сумрачной лавке.

Рассуждая подобным образом, и пусть даже предметом этих рассуждений явится что-то другое, говорящий впадает в патетическую и мелочную чудаковатость, и как груб и непритязателен, как покорен и, более всего, унижен сохранившийся в уголках и местечках, в скарбе и утвари дух этих старо-современных предметов – современников деяний нашей расы; низводящий все наше прошлое, все наши летописи до одного только дюйма их жизни и заставляющего нас, склонившихся над грубыми реликвиями величия, над убогими жилищами и гнездами, спросить: а мы-то сами от каких варваров и пигмеев произошли? В Шотландии и Англии вы найдете облупленные почерневшие памятники ранней монархии, но мелькают там и скромные обиталища другого величия, которые поражают совершенством его неприметного мрачного звучания; у них тоже есть корысть, чтобы наше бытие их приняло, из любопытства ли, из стремления к роскоши раздумий ли, за их реалистичность или за романтику, и с которыми глубинная безыскусность Конкорда, этого кратковременного проводника драмы нашей нации, так созвучна. Мы помним короткую, но трудную историю дома Шекспира в Стратфорде, мы помним убогий чулан в Эдинбургском замке, где появился на свет король Шотландии Яков VI, и другую темную лачугу – Холируд, где «сидела» Мария Стюарт и где был убит Риччо. Признаюсь, здесь, в Конкорде, эти воспоминания не к месту; казалось бы, Старая Усадьба, возле которой мы недавно останавливались и о несколько акров земли которой трется по-кошачьи неторопливая река, должна была бы потрясать смущенным отсутствием тех самых мхов, которые развесила на ней легкая рука Готорна, и все-таки она высится за своими воротами, подобная всем на свете сморщившимся памятникам старины. Но к этому я должен поспешить добавить, что гораздо больше я был поражен тем, как эти места паломничества сопротивляются давлению памяти, чем тем, как трогает нас их судьба. В действительности они ничтожны – они, в сущности, совершенно бесполезны для того, кто хочет увидеть вживую дом, где Готорн коротал остаток своих дней, возвратившись из Италии Мириам и Донателло.

Так же, как и повсюду, этот кроткий памятник знай себе наживает на том, что нечто неуловимое в его атмосфере обостряет наши чувства, вызывает в нас почтительность, он неопределенно отмахивается от любых попыток сомневающегося приступить к нему поближе, - и это ко всеобщему благу

И странно, и причудливо, что теперь только эти соглядатайские тропинки и ведут нас по пути приобщения к глубокомыслию Конкордской школы – допускаю, что выразить нам это не под силу; или, точнее, *было бы* странно, если б не проходила через всю жизнь Эмерсона неизбежная и абсолютная связь с этим местом. Мы можем с улыбкой говорить о том, что «примазываемся» к Веймару, но признаюсь, что со своей стороны я в гораздо большей степени доволен, чем не доволен нашими великолепными двойниками, «в американской валюте», Гете и Шиллера. Монеток во второй раз получилось ничуть не меньше, чем в первый, и если Гете – золото, а Шиллер – серебро, я нахожу (и при этом я совершенно чужд предрассудков касательно металлических сплавов) точно такое же соотношение между Эмерсоном и Торо. Я обращаюсь к книгам Эмерсона за тем же, за чем обращаюсь к сочинениям Гете: я желаю ощущать движение огромного интеллектуального пространства, потока, тут и там срывающегося со скалы, наполненной до краев хрустальной чаши, мудрости и творчества, «Поэзии и правды»; и что бы ни побудило меня открыть Торо (а никаких особенных причин мне для этого не требуется) – его я открываю чаще, чем Шиллера. К нам возвращается ощущение, что редкостный гений Эмерсона, сделавший его для людей внимательных первым и поистине редкостным воплощением духа Америки, запечатленным в словах, не смог бы довольствоваться карьерой в этом восхитительном краю, среди лесов и озер, в среде столь типично и, что важнее всего, столь увлекательно однородной, не обретя готовности сообщить ей нечто неизгладимое. На протяжении всей долгой жизни его окружал собственный самодостаточный, конкретный, непосредственный мир, и это давало ему силы так отчетливо видеть жизнь;

мы знаем, что половину своих образов он черпал из круговорота ее сезонов, из игры ее закономерностей. Не говорю о другой половине, которая появилась в его сознании из каких-то других источников. Как удивительно до сих пор видеть эти вещи и явления в форме тех же образов, которые кружатся в воздухе, словно птицы, что темным облаком на закате возвращаются в свои гнезда. Если вы достигли «времени жизни», то тем самым вняли хотя бы одной из его проповедей; пока я был там, ни один красновато-коричневый лист не падал передо мной без эмерсоновской «капли, в которой отражается весь мир».

II

Ни разу меня не обманывало правило, в согласии с которым я, куда-нибудь направляясь и будучи при этом несколько взвинчен, обращаюсь к кому-нибудь с вопросом и делаю это неизменно так, как будто я какой-то невыносимый иностранец. Ни разу не было такого, чтобы я заговорил с каким-нибудь горожанином, идя на все риски, которые таит в себе общение с туземным духом, и при этом не потерпел полный крах. Так что было вполне предсказуемо, что, когда в Салеме мне показалось, что я заблудился, и я решил спросить дорогу до Дома с семью фронтонами, настигнутый мной юноша остался верен своей природе; он уставился на меня с кровожадностью итальянца – мера этой кровожадности в точности соответствовала полугоду жизни в Салеме. В этом месте, в этом воздухе, признаюсь, меня больше всего поразило то, что я снова, несмотря на все свои добрые побуждения, так неприятен; хотя, даже если мой юноша и обнаружит искреннее неведение относительно названного мной памятника, он во всяком случае покинет меня, заинтригованный тем, как национальное увлечение этими романтическими развалинами могло каким-то образом увлечь того, чей вкус был воспитан ландшафтами Италии. Не буду притворяться, что из-за

землетрясения этого эпизода здание моей любимой фантазии – я имею в виду Салем Готорна и Салем ведьм, и многих других выдающихся исторических личностей, - не пошатнулось, ибо в чем еще была суть моего паломничества, чистосердечного, исполненного бесхитростного умиления и благочестия, как не в очередных поисках новоанглийской субстанции, - ради того, чтобы возродить то от нее впечатление, которое поселило во мне видение столь краткое, тогда, в летних сумерках, много лет назад. Время это стало далеким, а сам я был близко к этим местам и заботами железной дороги переместился сюда в самый лучший час, когда день шел на убыль. Это воспоминание, такое старое, полностью сохранило то чувство блаженства; ладные колониальные жилища, эти глубоководные отметки заселенности и старины, виднелись в ясных сумерках, а больше ничего не было видно, кроме живописной пустоши со стороны гавани, и наконец осознание умирания рыбацкого промысла глянуло на меня, поверх поросшего травой оврага, из пустых окон старой таможни из вступления к «Алой букве».

В тот раз, глядя из окна обратного поезда, я больше ничего не мог увидеть, но мелькнувшие передо мной образы не забылись; причудливая фантазия подсказывает, что они будто бы были завернуты в клочок того самого вышитого полотна, которое раскрывают перед нами восхитительные страницы готорновского вступления – страницы, на которых слова столь же чудесно точны, как шелковые золотые стежки под иголкой бедной Эстер Принн. Все эти годы они льнули вплотную друг к другу и служили – о, так исправно! – лекалом, или даже скорее резной рамкой, для любого суждения о настоящей, беспримесной новоанглийской жизни. Теперь наиболее примечательным было то, что, выходя со станции и не имея точного представления о том, где мне снова искать мои славные георгианские и георгианские дома, я должен был вверить себя заботам вежливого англичанина, присоединившегося ко мне по дороге и немедленно заявившего, - он был сама участливость и любезность, - что эти дома, если

можно так выразиться, образуют нечто вроде салемской Гроснер-сквер. Мы быстро разговорились; обосновавшись в городе, рассказывал он мне, он совершенно в этом убедился, - но сам я, когда немного позднее стоял восхищенный посреди этого исполненного величия места, не мог отделаться от чувства, что, во всем отдавая ему должное, все-таки оно не совсем таково, как рисовало мне мое воображение. Может быть, это было и к лучшему, ибо эти знаменитые дома, почти без исключения добротные и красивые, являли мне свое изящество без всяких на то усилий моей памяти; единственное, чего я никак не ожидал, - это то, что я буду смотреть на них сквозь полиглотическую призму. И все же я смотрел на них, и смотрел на старую добрую «ступеньку свободолюбия», и внимал их симметрии, простому достоинству и нерушимой искренности с подобающими раздумьями как о нынешней здешней жизни и ее изменениях, так и о том, что здесь воспринимается как общественная ценность, а более всего - с живостью впечатления - о том, в каком нетронутном и бесхитростном состоянии пребывает этот город. Вот она, «ценность» - и я понял, что сравниваю это, например, с общепринятыми и превосходными особенностями жизни в глубинке старой Англии.

Салемские здания, лучшие из них, были плоть от плоти этой староанглийской семьи, и эти части, как кусочки головоломки, могли соответствовать друг другу; но нравственный, социальный и политический климат, даже более, чем дыхание природы, обладал в каждом случае собственным действием, порождали свой тип сознания для каждой из сторон. И не точнее ли было бы сказать, что для одной из них они породили сознание, а для другой - не породили почти ничего? Это сравнение становилось еще более любопытным, поскольку каждая из скученных группок могла бы прослыть совершенным воплощением респектабельности. Они обладали бы характером и весомостью, правильными качествами и точным количеством той самой респектабельности, которая имеет значение;

массивные и крутоплечие, но при этом чуть потрепанные и пестроватые, в сколах и проплешинках и, наконец, тронутые скептицизмом и цинизмом – английская сторона; точеные и ясные, неизменно острые, бесстыдно незапятнанные, белоснежно безмятежные – американская. Во всяком случае, прясть подобные фантазии в ответ на оскорбления чужаков куда забавнее, чем просто наблюдать за тем, как чье-то разительное противостояние простецки списывают на разность климатических условий. Много чего еще можно было бы сказать о «головоломке» Салема, многие из «кусочков» которой оставались, как мог бы отозваться о них Рескин, совершенно восхитительными; но их отчаянная, чистая первозданность была тем, что должно было дольше всего оставаться со мной, когда немного рассеялось мерцание полиглотической призмы. Учтиво просторные дверные проемы, щедро обрамленные колоннами, каннелюрами, капителями; размашистые ряды больших честных окон, только кое-где опозоренных современными стеклами; высокие мягкие лбы без единого прокисшего секрета в складках карнизов, - да, очень многое, несмотря на «особенность», с этой точки зрения, Дома о семи фронтонах, к которому я направлялся, указывало на то, что, возможно, эта выразительная личина, эта видимость умудренности чересчур близка к тому, чтобы превратиться в дорогую безделушку, которую ставят красоваться на полке и которая слишком хороша для того, чтобы настоящему пригодиться человеку. Как если бы салемиские ведьмы были бы приговорены за свои грехи по-прежнему жить здесь в качестве приходящей прислуги и таким образом, вопреки своему обыкновению, использовать для очищения от грехов те самые пресловутые метлы, которыми раньше так неразумно и бестолково пользовались в качестве средства передвижения.

Священный ли ужас остановил меня после этого на пороге Дома ведьм – вопреки вполне внятной и стойкой печати притягательности, лежавшей на этом месте? Я бы сказал, что это скорее была священная нежность – инстинкт не слишком напирать на свои привилегии, не осушать залпом протянутую мне чашу. В Америке всегда интересно видеть, как тот или иной

предмет, в частности то или иное здание, выглядит настолько старым, насколько это вообще возможно; когда мы наблюдаем за этими усилиями, у нас нередко перехватывает дыхание, поскольку взирая на прошедшие годы мы как будто бы нападаем на свежий след прошлого, след какого-то бегуна, на которого мы возлагали все наши надежды. Как долго он продержится, насколько далеко убежит и где, задыхаясь, героически рухнет на землю? Наши ожидания во многом пропорциональны нашим надеждам, и если мы чересчур нервозны, то в конце концов тревога может заставить нас отвернуться и больше не смотреть. Мне кажется, именно такое потрясение я испытывал, стоя перед Домом ведьм, перед тайной былого. Это скромное деревянное жилище, нарочито примитивное, расположенное, если я правильно помню, под каким-то эффектным углом по отношению к улице и немалым образом способствующее общему архаичному от него впечатлению. Однако, к сожалению, идущие сплошняком деревянные дома не слишком любопытное свидетельство прошлого – как я понял, к своим же издержкам, теперь, видя ужасающий упадок Семи фронтонов. Они выглядели грубыми, в лучшем случае условными – выглядели, самое главное, так неисправимо и глупо невинными. Тем не менее, крепкая, ладная бревенчатая субстанция салеменной улицы, с ее косым изгибом, который мы могли бы принять за символ древнего извращения, управляла расой прошлого так многоречиво, что теперь мы можем видеть этот изгиб по всей стране. Если бы я вошел внутрь, как простодушно сулила мне афиша, то мог бы лучше прочувствовать меру свершившегося здесь подвига, но, с другой стороны, в таких случаях пугающие простодушные афиши никого не пугают так сильно, как то самое прошлое, которое они пытаются восстановить, и я рисковал потерять часть своего драгоценного маленького впечатления, которое было подобно маленькому бледному цветку, который я сорвал под иссохшим деревом, и я хотел сберечь его нетронутым между листьями своего романтического гербария.

Кроме того, я хотел, честно говоря, в течение часа не прозевать две других важных вещи: поезд из Салема (мое чувство этого города было слишком predetermined, чтобы за ним можно было угнаться на поезде), а также должное посещение Семи фронтонов и дома, где родился их летописец. Двигаясь по этому плану, я и почувствовал, что, как я и упоминал выше, живу, скорее безотчетно, в мире, совершенно не знакомом живым и здравствующим салемитянам нынешнего дня; в мире, воплощенном, как я осознал, в огромном неопрятном промышленном районе, который вырос здесь за то время, что прошло с моего прежнего визита. Сумел ли я полностью избежать этого впечатления, прежде чем благополучно высадился перед маленьким усохшим строением, которое стало для романтика приютом и воротами в мир и которое теперь, в согласии с капризом фантазии, казалось то ли причудливым хранителем романтического зародыша, то ли тем самым местом, которое, в знак протеста или отчаяния, должно было обеспечить его развитие? Я, во всяком случае, полностью принял окрестности этого родового готорновского мирка, отстранив от себя другой, мир дымной современности, отстранив от себя, в сущности, все остальное, - таким голым и полым, худым и седым был лик жаркого и яркого неба, осыпавшего меня с высоты оплеухами. Способ осмыслить это, по-видимому, скрывался в этом честном деревенском освещении прошлого, которым залиты все наивности новоанглийской старины, с извечным плеском широких озер и покоем каменистых пастбищ – ведь до сих пор мнится, что до всего этого рукой подать; со всеми нашими, сколько их ни есть, тревогами и поблажками «литературному темпераменту», который вызывал слишком мало сомнений, чтобы не обращаться на него внимания. На самом деле это отстраняло от меня, настолько далеко, насколько это могло потревожить мое восприятие, все, кроме мальчика, дорогого, грубоватого, умного отзывчивого американского мальчика, который рухнул прямо с этого яркого и жаркого неба ради моего блага (я никогда не мог вообразить, чтобы он появился как-нибудь иначе) и для меня обернулся абсолютной верой, исполненными

всезнающей мудрости советами. Он мог бы стать разносчиком веймарских идей или поклонником Стратфорда, - и только он мог так великолепно не быть ни тем, ни другим. Вот что я имел в виду, говоря о своей «благополучной высадке»: этот мальчик был настоящим учителем в своем деле, и здесь мы с ним составили столь тесный союз. Он подстраивается под моего грубого итальянца – и это именно та грубость, какая только и может быть здесь! – он даже немного подстраивается под моего учтивого англичанина; он – именно то, чего я ждал, это присутствие (и он один может быть и далеко, и близко одновременно) чего-то достаточно старинного, родного и заветного, чтобы меня потянуло вернуться и постичь это.

Он показал мне окно комнаты, в которой родился Готорн; меня туда было калачом не заманить, но он бы смог, если бы, как я уже говорил, не понимал всего. Но он понимал, в частности – когда настаивать, а когда нет, и он точно знал, почему я спросил: «Милый, милый, ты уверен?», когда повел меня поглядеть на что-то в конце улицы, на туманном берегу, и предложил посмотреть поверх воды на Марблхед и считать его, если я пожелаю, Домом о семи фронтонах. Это было выше моих сил, и хотя он был абсолютно уверен в своей правоте, обе наших точки зрения были одинаково ему ясны, - так что вскоре я начал думать о нем как о настоящем гении этого места, питающего свою детскую резкость холодными обрывками готорновской жизни, и ради одного только этого знакомства стоило затевать все путешествие. И все-таки то обстоятельство, что бесформенный предмет на берегу никоим образом, ни единым своим фрагментом не соотносился с искомым Домом о семи фронтонах, огорчало нас ровно до тех пор, пока при свете заката мы оба не сбросили с себя быстрым, знающим движением эту никчемную иллюзию, будто существует необходимая связь между вещами определенными и поэзией, искусством и прочими неуловимыми явлениями, которые мы надуваем собственным невежественным глазением на то, какими их нам представляют. Чуть видная, расплывчатая фигура в конце улицы,

одомашненность ее восприятия, могли бы «лечь в основу» (как это говорится на нашем тщедушном языке) замысла замечательной книги – пускай даже здесь мы совершаем прыжок в густую темноту; этот замысел был бы внутренней силой этой самой замечательной книги, которая на наших глазах столь непосредственно позабыла бы о своем происхождении, обо всех своих отсылках, отсекая их от себя, как ненужное знакомство, воспаря тенью самой ночи, что всякая связь полетела бы кувырком в открытое пространство, как лестница, которую отшвырнули, забравшись на вершину стены. Салемская лестница к Готорну наконец-то была позади, и нам пришлось бы попросту идти по воздуху, если бы мы попытались направить свои критические стопы по его следам и тропинкам, учась им так, как привыкли, и я с неиссякающим интересом раздумывал над тем, в какой степени субъективны все открытия, которые мы делаем, изучая жизнь гения. Нескончаемы пути, на которых гений преследует нас и ускользает от нас, встречается с нами и над нами же смеется. Вот появляется нечто способное его насытить, а нам кажется, что оно само заглатывает его целиком; а когда этого «нечто» нет и в помине, нам представляется что гений сыт, полон до краев – и само это самодовольное «нечто» чаще всего раздуто до предела; и с горечью мы осознаем, что разобраться во всем этом нам вовеки суждено последним.

Клод Маккей

Из книги «Вдали от дома»

КОГДА НЕГР ЗА СВОЕГО

Перевод выполнен по изданию: McKay C. A Long Way from Home. – New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2007. P. 227-234.

В Марселе в сенегальском баре я прикидывал, как мне устроить себе выходные где-нибудь в Африке. Один знакомый сенегалец мне сказал: «Если бы у меня водились деньги, я бы рванул прямехонько в Париж, уж там-то не заскучаешь». А я ему ответил, что в Париж меня не тянет, а тянет в Африку. Раз уж я недостаточно большой и белый, нечего мне ввязываться в охоту на крупную дичь – лучше уж буду идти по следу в одиночку.

Моряк с Мартиники, только что приведший лодку из Касабланки, заверил меня, что Африка хороша, а лучше всего в Африке – Марокко. Он побывал во всех крупных африканских портах, но лучше Марокко не видал. Там он и жил. Сказал: «Если собираешься в Африку, поезжай в Марокко».

– А как там гаремы? – спросил я.

– У меня есть, приедешь – покажу, – рассмеялся он.

Мартиниканец говорил по-арабски, по-сенегальски, по-французски, по-испански и вдобавок знал несколько слов по-английски. Мореходствовал он с четырнадцати лет и за это время повидал все моря на свете. Он осел в Касабланке, где, по его словам, у него было две жены. Никаких учебников он в глаза не видал, но был преисполнен житейской мудрости всевозможного толка. Видом своим он напоминал дружелюбную гориллу.

И все-таки вместо Марокко я отправился в Барселону на пару со своим приятелем, боксером-сенегальцем, которому там предстоял бой. Барселона до такой степени поглотила мое зрение и мои переживания, что когда мой боксер собрался возвращаться в Марсель, выше моих сил оказалось покинуть ее. Величественное зрелище спортивного духа испанцев пленило меня, и я заделался настоящим aficionado Испании. До того мне не доводилось бывать среди белых, которые являли бы собой столь восхитительный пример спортивной беспристрастности, да еще в такой величавой манере. Будь то боксерский поединок между черным и белым, или схватка человека и зверя на арене, или футбольный матч между испанцами и заезжей командой, - испанцев всегда больше всего интересует совершенство спортивной техники; они всем сердцем за то, чтобы победил достойнейший. В погоне за испанским спортивным духом я ходил по народным театрам, где можно посмотреть на фламенко и услышать андалузские мелодии. Ни в одной стране мира не видел я публики, которая так взыскательно требовала бы от артиста показать лучшее, на что он способен, так поносила бы дурное выступление и так щедро рукоплескала бы безупречному.

Я рассчитывал провести в Барселоне дня три, а они превратились в три месяца испанской жизни. И как-то вечером, прохаживаясь по увеселительным местечкам изумительного Баррио Чино в компании одного негра-мусульманина, отрекомендовавшегося наследным принцем Занзибара, я снова повстречал моряка из Мартиники. Он как раз доставил в Барселону груз из Марокко, и опять стал зазывать меня к себе.

Я пробыл в Испании достаточно долго, чтобы распознать, как много в ее нраве африканского. А потому повторное приглашение в Марокко заинтересовало меня даже больше прежнего. Занзибарский принц пожелал продолжить изучение Европы и европейцев, и нам пришлось расстаться. Наконец я прибыл в Касабланку. В тот день, когда мартиниканец привез меня в свой дом в туземном квартале, какие-то гвинейские колдуны (или

Гуинази, как их зовут марокканцы) вершили там магический ритуал. Меня сразу же поразила мысль: ведь они выглядят и ведут себя точно так же, как иные ямайские крестьяне, без остатка отдающиеся празднеству танцевально-песенной оргии, известной как миализм. Разве что одеваются иначе.

Гуинази изгоняли нечистую силу из больной женщины и танцевали и кружились как сущие дьяволы. В мавританском дворике мужчины и мальчики сидели по кругу на корточках, а женщины и девочки, с белыми хайками на головах, глядели сверху, устроившись на низеньких плоских крышах полуразвалившихся лачуг. Музыка производилась лютней и большим турецким барабаном и была подобна раскатам грома во чреве земли. Я смотрел, как они выплясывают нечто наподобие примитивной румбы, бьются головами о столбы и в неистовстве срывают с себя одежду. Но до конца я не досидел и само изгнание дьявола не увидел, потому что меня напугала танцующая женщина, которая, совсем обезумев, бросилась на меня. Заговорили, что я чужак, незванный дух, что я мешаю свершиться магии. А посему мне пришлось удалиться.

Эти гуинази - настоящие черные. Это единственное сообщество чистокровных негров в Марокко. Мужчины женятся на черных, женщины выходят замуж за черных; кроме того, больше здесь нет ни единой религиозной общины, куда могли бы входить и женщины. Если ты не чистокровный черный, то в числе гуиназев тебе не бывать. Они убеждены, что в строгом соблюдении этого правила – залог могущества гуиназэйской магии. Их обряды поклонения идолам - родом из Западной Африки и передаются из поколения в поколение. Они занимают особую нишу в общественной жизни Марокко. Когда понадобится изгнать бесов, к ним обращаются и беднейшие, и богатейшие семьи. Нередко им покровительствуют знатные шарифские дома, и даже султаны советуются с ними.

Когда я заглянул за занавеску, выяснилось, что не такое уж и горячее местечко этот гарем моего мартиниканца. Была это просто вытянутая просторная комната, разделенная шторой на две, и в комнате – две женщины, из которых одна годилась ему в матери, а другая была молодая, коричневая и пышнотелая. Мы все вместе пили чай: мартиниканец заявил, что не видит проку прятать своих жен от мужчин. А между тем приятели-мужчины, допущенные в его гарем, все были либо сенегальцы, либо солдаты из Французской Вест-Индии, но никак не мавры. В этом квартале он был единственным, кто мог позволить себе двух женщин. Это объяснялось тем, что, будучи гражданином Франции, он считался тут как европейский рабочий, а потому получал от сорока до пятидесяти франков в день – примерно вшестеро больше, чем платили за ту же самую работу местному. Таким образом, чернокожий моряк и в самом деле жил в Африке «по-белому».

Некоторое время я наслаждался мартинико-марокканским гостеприимством. Но потом, чувствуя, какая в Касабланке в сущности давяще-европейская атмосфера, отбыл в Рабат.

Рабат-Сале оказался восхитительно несхож с Касабланкой. Здесь народная жизнь - высокое дерево с могучими корнями и раскидистой кроной, а европейская часть города казалась садом, прелестным, тщательно ухоженным и искусственным. В Шелле я посетил могилу Черного Султана, который, согласно местной легенде, был величайшим из правителей Марокко, объединил под своей властью всю Северную Африку, покорил Испанию и возвел грандиозные монументы – Хиральду в Севилье, Кутубию в Марракеше и минарет Хасана в Рабате.

Я довольно надолго задержался в Рабате, чтобы закончить «Банджо». Какие-то марокканские студенты сказали мне: «В Фесе ты найдешь сердце

Марокко. Это наша столица. Не побывал в Фесе – считай, не видал Марокко».

Фес действительно открыл мне сердце Марокко – и даже больше. В Москве на меня напечатали карикатуру – как я мчусь на ковре-самолете над африканскими джунглями, чтобы узреть чудо Советов. В Фесе я будто бы все время гулял по такому волшебному ковру. Мозаика рынков и базаров с незнакомыми орнаментами, украшающими выставленные на продажу изделия, походила на восточную сказку. Через Фес проник я в Марокко по-настоящему. До сих пор я был лишь зрителем. Но жители Феса буквально втащили меня внутрь. Здесь, в жилище одного из местных, я впервые отведал национальной еды – кус-куса, и это первое приглашение оказалось предвестием множества других.

Меня приглашали на роскошные свадебные торжества – угощаться кус-кусом из одного блюда с величавыми старыми «тюрбанами», пить *a la menthe* в прохладных садах, пылко танцевать фламенко в укромных комнатках в *fondouk* и в мирском раю Мулая Абдаллы.

Мулай Абдалла – весьма примечательный квартал, где развлекается фесская молодежь. Это обособленный, обнесенный стеной городок со своими магазинами, своей полицией и своими музыкантами. Молодые женщины, облаченные в просторные и богато убранные цветами одеяния, которые удерживаются на теле чрезвычайно широкими вышитыми поясами, сидят на корточках с достоинством королев и расхаживают по этой своей резиденции, угощая томящихся от любовного восторга молодых людей мятным чаем и остроумными репликами. Мне думалось: сам того не ведая, этот древний африканский город стал хранителем чаши Эроса, не оскудевшей еще ароматом цветка древнегреческих страстей.

Мне нравится марокканская мозаика, неизменно красивая и яркая, словно она – воплощение призматического сознания местных жителей. Но

нигде нет такой ошеломительной, такой расточительно-великолепной мозаики, как в Фесе. Испанские мозаики интересны, но они не кажутся такими же теплыми, полнозвучными, светящимися, как марокканские.

Марокканские мозаики ударили мне в голову, как редкое вино. Взволнованный, опьяненный, очарованный жителями Феса, обаятельным и гостеприимным обращением, я стал здесь совсем своим, местным. Меня приобщили к обычаям непритязательной туземной жизни. Я съехал из своего дорогого отеля и переправил вещи в место поскромнее. Но вот уж не скажешь, что я и впрямь там жил. Ибо дни свои я без остатка посвящал охоте на сокровища города и его окрестностей; я шел по следу крестьян, несших в город свои дары; подмечал, как ведутся торги между азиатами и африканцами; внимал разноцветью акцентов рыночных сказителей. А вечером меня всегда ожидало какое-нибудь развлечение: свадьба, пиршество, приглашение в *fondouk*, где юноша мог позволить потанцевать своей хорошенькой фатме, предмету своих неискушенных ухаживаний, или Мулай Абдалла. Мне никогда не приедалась игра местных музыкантов, в марокканских кафе исполнявших африканские вариации восточных мелодий.

Впервые в жизни я почувствовал, что полностью освободился от своего «цветного» сознания. Я испытывал чувство, которое, должно быть, сродни физическому удовольствию тупого животного в окружении сородичей, что живут в согласии с инстинктом, одними ощущениями, ни о чем не задумываясь. Но вдруг был вынужден снова столкнуться лицом к лицу с настырной Европой, которой лишь бы только захомутать всех и заставить ходить по струнке.

Однажды на рынке чауш (так называют мальчиков на побегушках, кого наняли из местных) из британского консульства привязался ко мне с вопросом, американец ли я. Я отвечал, что родился в Вест-Индии и жил в Соединенных Штатах, и что я американец, хоть и британский подданный, а

вообще предпочитаю думать о себе как об интернационалисте. Чауш говорит, мол, он не понимает, что такое интернационалист. Я отвечаю со смехом, что интернационалист – это плохой националист. Он заявляет очень серьезно: «Здесь мавры зовут вас американцем, а если вы британец, вам необходимо прийти в консульство и зарегистрироваться». Меня изрядно позабавила его серьезность, подкрепленная этим особенным африканским достоинством, которое так впечатляет в марокканцах: оно сразу бросилось в глаза, стоило мне просто шутки ради назваться интернационалистом; я даже не задумался о том, какой радикалистский подтекст можно из нее выудить. Но я тогда еще не знал, что в Марокко все (и туземцы, и европейцы) ищут скрытые значения в простейших фразах. Туземцы воображают (и не без оснований), что все европейцы шпионят для собственных стран и во всем исходят из враждебных местным умыслов, а европейские колонисты относятся с недоверием и раздражением к тем приезжим, кто слишком уж близко и дружески сходится с туземцами. Я видел местную французскую газету, встопорщившую все пушки своей язвительности против какого-то европейца, который начал носить феску. Меня самого бессознательно тянуло ко всему туземному, потому что я чувствовал, что и телом и душой я ближе к местным. Я не пошел регистрироваться в консульство. Я решил, что довольно того, чтобы мой паспорт был в идеальном порядке. Я неукоснительно следую официальным правилам, когда дело касается всех этих паспортов, удостоверений личности, виз и т.д., и притом, в какое бы странное место ни отправился, привык рассчитывать на то, что лучший из паспортов – моя собственная персона. Не то чтобы путешественник из меня такой уж образцовый! Я, как и все, влипал во всякие пустяковые неприятности. Но, никогда не требовал особенного к себе отношения, не просил, как иностранец, о помощи; просто подчинялся местным властям и выходил на свет, когда требовалось.

С неделю я в своем отеле не появлялся. Как-то утром отправился туда переодеться – а всю ночь напролет в одном из домов местных танцевал и музицировал на лютне вместе с какими-то андалузскими песнярами. В отеле меня дожидался инспектор французской полиции. Он пришел задолго до меня. Попросил показать ему паспорт и другие документы. Что я и сделал. Он просмотрел бумаги и заявил, что я должен отправиться вместе с ним в британское консульство. Мне стало интересно, что я такого мог натворить. Я просто весело проводил время, не ввязывался ни в какие проблемы. Разве что купил немного вина для своих друзей-туземцев – самим им нельзя было покупать вино, разве что из-под полы. Потом я вспомнил предупреждения чауша и задумался, не из-за моего ли отказа регистрироваться весь сыр-бор. Я спросил у французского инспектора, в чем меня обвиняют. Он ответил, что я все услышу в британском консульстве.

Итак, я отправился в логово льва. Едва я вошел, консул уже победоносно приветствовал меня: «Я так и знал, что вы здесь!» Можно подумать, в Марокко я от чего-то или от кого-то прятался. Предъявленное мне обвинение состояло в том, что я бросил гостиницу и ночевал в домах туземцев. Я и вообразить не мог, что требуется запрашивать специальное разрешение на ночлег в домах людей, которые сами по собственной воле меня пригласили, - заявил я; я полагал, что с тех пор, как достиг совершеннолетия, обладаю полным правом спать где мне заблагорассудится. Стоя перед консулом (он не снизошел даже до формальной любезности предложить мне стул), я потешался над его отвратительной розовой лысой головой, похожей на голову белого сарыча. Его лицо в розоватых прожилках покраснело, и было забавно наблюдать за выражением гнева на кошачьей мордочке этого маленького французского чиновника. «Надо бы его выслать», - обратился он к остальным. Я отвечал, что с охотой подчинюсь этому требованию в том случае, если против меня есть конкретное обвинение, но раз он сказал, что дело в туземцах – так пусть позовут туземца, чтобы тот мог

предъявить мне свои претензии. Бюрократишки обменялись смущенными взглядами. Консул сказал, что до него дошли слухи – мол, я пропагандирую радикалистские идеи. Я предложил им разыскать моих знакомых – никто из них не сможет засвидетельствовать, что я что бы то ни было пропагандировал. Консул сказал, что после революции в России колониальным жителям то и дело докучают своими призывами агенты большевиков. Я отвечал, что не являюсь агентом большевиков. В конце концов мне было позволено откланяться.

Эта касавшаяся меня одного неурядица открыла мне глаза на потаенную социальную напряженность в Марокко и на предрасположенность к промахам здешней смешанной власти. Я был настолько поглощен живописной и экзотической стороной местной жизни, что пребывал в неведении до тех самых пор, пока власти не наступили мне на больную мозоль. Мне открылось, что, пускай протекторат над Марокко установили французы, многие здешние жители все равно подчиняются другим европейским игрокам, в основном Великобритании, Испании и Италии. Британцы обладают уникальными привилегиями в рамках режима капитуляций. Британским подданным, независимо от того, рождены они в Британии, натурализованы или пребывают под защитой государства, нечего бояться арестов или судебных разбирательств в местных судах. Если британский подданный совершил какое-то нарушение, он должен предстать перед британским консулом.

Иные отморозки частенько этим пользуются, так что нет ничего удивительного в том, что французские власти пребывают в раздражении. Этим же объясняется то, как насыщена здешняя атмосфера духом мелкого интриганства. «Привилегированным» местным можно то, чего нельзя пребывающим в ведении французов подданным Султана. Например, они могут безнаказанно покупать и распивать спиртное. А подданные Султана, в согласии со старинным местным законом, не могут. Потому они пьют

исподтишка, а презренные европейские бутлегеры спаивают им самую гнусную дрянь, какую можно себе вообразить. Молодые марокканцы в большинстве своем терпят из-за этого самые жалкие мучения - *malaise*. Они вечно скулят: «Вот бы я был американец или как те, другие». А спросите, почему, - услышите ответ: «Тогда бы я был волен, как настоящий мужчина, выпивать в баре наравне европейцами и алжирцами».

Эта *malaise* – сродни тому поветрию, в которое вылился сухой закон и которое столь пагубно воздействует на дух американской молодежи.

История с консульством испортила мне мои туземные каникулы. Я вспомнил о Европе, о наихудших из лет, проведенных мной в Лондоне. Мне вспомнилось, с какими трудностями я столкнулся, когда ходил на занятия в Британский музей и пытался снять жилье в том же квартале. Вывески надрывались: «Сдаются комнаты», но стоило мне обратиться по адресу, как обнаруживалось, что все комнаты уже сданы. Но когда я снова проходил той же улицей, то видел, что вывески никуда не делись. Меня одолели подозрения. Я попросил своих английских друзей из Международного клуба разузнать, что к чему. Они выяснили: комнаты действительно сдаются. И вот они приводят меня с собой и пытаются снять комнату для меня, а им в ответ из раза в раз: негров здесь никто видеть не желает. Потом я покинул свой лондонский отель и снял комнату у итальянской семьи, а позже – у немецкой. А ближе всего я жил к Британскому музею, когда нашел жилье у французской семьи на Грейт-Портленд Стрит.

Этот лондонский черный бойкот вселил в меня чувство беспомощности и уязвимости. Ведь Англия - не то что Америка, где от предрассудков можно по крайней мере укрыться в Черном поясе. Мне пришлось осознать, что Лондон – холодный белый город, и английская культура здесь грозна и могущественна, как айсберг. Этот город был возведен во имя английских надобностей; нет никаких сомнений, что англичанам он кажется совершенно

восхитительным. Лондон строился не для того, чтобы тут снимали комнаты негры. Как же я был счастлив, когда смог выбраться оттуда и вернуться в негритянские края Америки.

И даже теперь в Африке мне пришлось давать отпор этому призраку, белому террору, который ни на шаг не отстает от черных. Никуда не скрыться от белого пса Цивилизации.

Когда я наконец покинул Фес, то отправился далеко на юг, в Марракеш, жаркий город равнин, диких и необъятных. Мой сенегалец в Марселе часто упоминал, что в прошлом Марракеш был огромным караван-сараям для путников, странствовавших между Западной и Северной Африкой, а потому мне во что бы то ни стало следует повидать этот необычайный город, заложенный сенегальским завоевателем. Марракеш взволновал меня. Он был похож на многолюдный вест-индский пикник с развевающимися флагами и множеством босоногих черных ребятишек, отплясывающих под туш барабанов, скрипок и дудочек.

По пути в Марокко на пароме какие-то европейцы весьма остроумно пытались меня убедить в том, что Марокко – не негритянская страна. Европейцы, которые сами разделены на ревнивые грызущиеся друг с другом группки, использовали всю свою науку для того, чтобы провести между людьми границы столь четкие, чтобы в конечном счете было практически невозможно установить, какой же белый может считаться подлинно белым, а какой негр – настоящим негром. Я обнаружил, что более трех четвертей жителей Марракеша – негроиды. Здесь встречались контрасты, удивительные до невероятности. Город казался огромной колыбелью, в которой дремало дитя эксперимента – союза цивилизованной жизни и жизни первобытной. Пропеченные солнцем, эбеновые суданцы и неотесанные коричневые берберы из Атласа встречались и смешивались здесь с утонченными, образованными, умелыми в своих ремеслах горожанами-маврами с севера.

Марракеш казался самым счастливым городом во всем Французском протекторате. Казалось, люди здесь куда более довольны жизнью, нежели в Фесе, хотя в большинстве своем они беднее. Но нищета в жарком климате – это вам не то, что нищета в промозглом краю. Я вряд ли злоупотреблю поэтичностью, если скажу: в Марракеше солнце, что пылает так жарко, но без губительной злобы, будто бы поглощает все уродство и всю печаль нищеты почти без остатка.

Юджин Лайонс

Из книги «Командировка в утопию»

ИЗ ГЛАВЫ «ПО РОССИИ»

Перевод выполнен по изданию: Lyons E. Assignment in Utopia. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1937. P. 134-135.

Летом, по традиции, пробивает час великого исхода из городов в глубинку. Еще задолго до того, как наступит московское быстротечное и пыльное лето, все разговоры уже только об одном – о *дачах* (так называются загородные дома). Еще снег не успеет сойти с земли, а наиболее предусмотрительные из москвичей уже отправляются по окрестным деревням арендовать у крестьян комнаты или домики. К июню вагоны уже ломаются от всяческого домашнего скарба и с громыханьем устремляются в деревенскую глушь. Крестьяне, сдающие жилье в симпатичных местечках, зарабатывают на дачниках лучше, чем на возделывании пашен. Сами они переезжают в какие-нибудь лачуги или ютятся со своими семействами на чердаках без окон без дверей для того только, чтоб освободить комнатку прибыльным пришлецам.

Тем, кто бывал на лето в Нью-Йорке, летний сезон был бы не страшен даже на экваторе. Русское лето, как нам предстояло обнаружить впоследствии, куда как милосерднее. Однако повальная и неистовая лихорадка в преддверии ежегодной эвакуации заставила и нас сломя голову броситься на поиски дачи. Билли обследовала пригороды и вернулась с печальными известиями о постигшем нас крахе. Загаженную, вонючую избу, которую крестьянская семья делила со скотиной, можно было снять только за сумму, превышающую все сбережения на нашем банковском счету – вероятно, такие цены были заломлены из желания тонко польстить иностранцам, которые, конечно же, все без исключения сказочно богаты. Все приличные места уже давно были захвачены чиновниками, растратчиками,

гпушниками, официальными лицами и прочими людьми, не дрогнувшими перед такими расценками. В конце концов Билли и Джини присоединились к семьям двух сотрудников Министерства иностранных дел и на все лето укатили на балтийское побережье под Ригу, я же остался один на один со всеми ужасами лета.

На деле не такие уж это оказались и ужасы. Великий исход, как выяснилось, - не столько необходимость, сколько условность. Я побывал на дачах у своих русских и зарубежных друзей, выучился игре в городки (это русская версия кеглей) и купался голым в Москве-реке, среди озер и ручьев, где гнездятся дачники. Мне открылось очарование сельской местности в этих краях: леса из стройных серебристых берез или угрюмых сосен, холмистые луга с нежнейшей зеленью травы, появляющиеся из ниоткуда речушки, в которых вовсю мылятся и купаются мужчины и женщины, - и граница между мужской и женской зонами чисто воображаемая. Я собирал чернику и ежевику в лесах, устланных сосновыми иголками, лесах, сумрачных и убаюкивающих, как готические соборы.

Для крестьян, с которыми я свел знакомство, иностранец – настоящее маленькое чудо, предмет неиссякаемого любопытства. Они засыпали меня вопросами об американских крестьянах и американских небоскребах – сдается мне, отчасти потехи ради послушать, как я, едва ворочая языком, говорю по-русски. Мои ботинки, мои брюки, мои очки в роговой оправе – все иностранное вызывает восторженное кудахтанье. Даже крестьянам, живущим на окраинах российской столицы, внешний, заграничный мир представляется волшебной страной на обратной стороне луны.

Будь то в городе или в деревне, летние ночи оказывались волшебными интерлюдиями между поздними закатами и ранними восходами, и продолжались они по два, от силы по три часа. Возвращаясь с посиделок в гостинице или у кого-нибудь в гостях в два-три часа утра, я видел, как тонко

вырисовывается опустевший город на фоне пурпурной зари, а между тем западное небо оставалось еще голубовато-серым, усыпанным затухающими звездами. Пурпурное становилось розовым, пока я шагал домой нарочно самой длинной дорогой и наблюдал за тем, как первые лучи обводят синие купола золотой каймой. Эти ранние московские рассветы обладают для меня особым очарованием, и когда я оглядываюсь назад, они представляются мне какой-то полузабытой грезой. Может быть, дело в том, как мало это походило на шумные дни, забитые встречами, проблемами, лозунгами, и потому-то эти передышки казались такими причудливо драгоценными. Когда оттенки утренних красок просеивались сквозь сито ночи, Москва казалась зачарованным местом, а ее повседневная жизнь замирала.

ИЗ ГЛАВЫ «МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ В ОСОБНЯК»

Перевод выполнен по изданию: Lyons E. Assignment in Utopia. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1937. P. 298-301.

У Билли было несколько ролей в советских фильмах. У нее имелся небольшой голливудский опыт, и чрезвычайно увлекли ее как сходства, так и различия двух киноиндустрий. «Звездная» система тут не одобрялась; настоящими «примадоннами» на «фабрике кино» считались режиссеры – Эйзенштейн, Пудовкин, Преображенская и прочие. Над картиной, которую в Голливуде толкнули бы за пару месяцев, в Москве корпели год или того больше. Фантастические гонорары, утопленные в полу ванны во вкусе Мэри Пикфорд, сборы в миллионы долларов – все эти голливудские штучки – здесь были никому не известны, но сила обаяния киноэкрана действовала на русских ничуть не меньше, чем на американцев. Студии наводняли честолюбивые юноши и девушки, неуспокоенные газетчики спали и видели, как спастись написанием сценариев, девицы, мечтающие пробиться в мир кино, вели охоту на третьих помощников и операторов.

Наши знакомства в мире литературной Москвы ширились день ото дня. Пильняк, Замятин, Никулин, Лидин, Катаев, его брат Петров и неразлучный соавтор Петрова Илья Ильф и множество других, в политическом смысле достаточно стойких, чтобы решиться на дружбу с иностранцами.

Мои репортажи для Variety были как нельзя более ко двору в связи с растущим интересом американцев к русскому кино. Раболепное почтение, которое сформировалось в американском обществе по отношению к советскому кинематографу, было основано в значительной мере на еще досталинских картинах, по сути глубоко обособленных – таких как «Потемкин», «Конец Санкт-Петербурга», «Мать» Горького, «Буря над Азией», «Октябрь» и так далее. Нью-Йорку достаются от СССР только сливки с пленочного урожая. Он и не подозревает, насколько тупым и механистичным, насколько унылым и скучным может быть среднестатистический русский фильм. На экране – а также и на сцене, и в литературе – всеобязательными стали пропагандистские нравоучения, тракторы и заводы в качестве главных героев и пятилетка в качестве единственно возможной и законной страсти. Единственными заслуживающими уважения темами считались, - если перефразировать формулу Джорджа М. Коэна «Мама, я и флаг», - Пятилетка, Сталин и знамя революции.

Невероятно героическому коммунисту всегда противостоит невероятно злодейский контрреволюционер, и в заключительной сцене он непременно терпит поражение, а на заднем плане встает красное солнце революции – встает в самом непосредственном, *картонном* смысле – и торжествующая ударная бригада победоносно разворачивает алое знамя. Когда-то давным-давно, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве девять русских историй из десяти заканчивались самоубийством; автор так густо опутывал своих героев перипетиями и безнадежными сомнениями, что в результате ему, дабы наконец опустить занавес, оставалось только подобрать герою из

многообразных способов самоуничтожения наиболее подходящий. Теперь Россия так же горячо привержена политико-экономическому счастливому финалу, как Saturday Evening Post - счастливому финалу романтическому. Сталинская Россия покончила со всем таинственным, неопределенным, рыхлым и болезненным. Здесь послали к черту славянский фатализм, «русскую душу» и сентиментальный любовно-морковный вздор.

Если же любовная тема в фильме все-таки наличествует, кончается все это или посмешищем, или откровенной гадостью. Как только на сцене или на экране обходительный директор фабрики или инженер принимается подбивать клинья к чьей-нибудь жене или заводит медоточивые речи с хорошенькой машинисткой, - советская публика уже знает: вот он, злодей!

Была такая картина, которая не лезла вообще ни в какие ворота, - «Настоящая жизнь», производства Белгоскино. Героиня – комсомолка, посвятившая себя «пяtilетке в четыре года». Каждый раз, когда процент товаропроизводства на фабрике растет, лицо ее сияет гордостью. Потом является змей-искуситель в облике симпатичного журналиста Саши и протягивает ей яблоко любви; Ева-Соня пала жертвой соблазна; ухаживаниями и обманом работающую девушку заманили в сети позорного семейного счастья. Покуда Ева-Соня варит Саше кашу, ее место у станка пустует. Подробности ее страшного падения слишком печальны, чтобы поведать о них. Достаточно сказать, что молодоженов все глубже засасывает в трясины домашнего блаженства, а между тем процент товаропроизводства падает, падает, и вот уже сама пяtilетка пошатнулась на своих позициях! Неизвестно, как далеко могла бы зайти эта трагедия, если бы не своевременное вмешательство цензора и сценариста. Над самою бездной своего сытого, ко всему глухого буржуазного брака Соня осознает весь ужас своей ошибки. Когда она возвращается к станку под осанну сотрудников по цеху и нестройные рулады тапера, повсюду развеваются красные флаги – а

процент товаропроизводства взмывает под небеса, как бобовый стебель сказочного Джека.

Что там потом произошло с Сашей, я не помню, но не сомневаюсь: нечто достаточно радикальное, чтобы исцелить его от пристрастия морочить головы честным работающим девушкам губительными образами семейного счастья.

Чтобы изъяснить всю глубину своей лояльности, Московский Художественный театр поставил спектакль по произведению Владимира Киршона о коллективизации под названием «Хлеб». На самом деле это была передовица «Правды», написанная в виде диалога, но таково мастерство труппы театра Станиславского, что им удалось сделать из этого волнующую пьесу – вопреки даже тому, что персонажи, как видно, тоже вышли из-под фабричного станка. Как и всегда, сценическому коммунисту в делах сердечных разгуляться особенно не дают. Недостойный коммунист Раевский уводит жену у высокоморального коммуниста Михайлова, но публика не сомневается: невелика потеря. Раевский, только что из Берлина, в отутюженных брюках и с начищенным до блеска чемоданом, предлагает ветренице Ольге все то, чего она так жаждала: любезности, поцелуи, плейбойское кривлянье. Но подобные донжуанские триумфы – для троцкистов вроде Раевского и подобных им трухлявых доходяг старого мира, а вот сильные, негнибаемые строители мира нового, такие как Михайлов, тем временем громят подлых кулаков и плечом к плечу маршируют в будущее, распевая Интернационал. Долг всегда торжествует над романтическими нюнями и чем бы то ни было еще – так гласит советская мораль, которая отныне заменила собой все прочие развлечения.

Даже эта самая мораль нередко принимала облик увлекательного фильма, спектакля или романа. Но в большинстве своем тракторы так же идиотски однообразны, как напoмаженные голливудские адонисы. Советских

зрителей тошнило от поклонения машинам. Спрос на американские и немецкие фильмы был исступленный, даже если речь шла о моргающей и трескучей бульварщине самого древнего разлива. Я только раз видел в России массовый бунт, и это было в кинотеатре. Вечерняя программа началась с кинохроники: показали заводы, электростанции и ударные бригады. Потом запустили картину под названием «Весна». Название сулило, что нам поведают историю *о людях*; может быть даже - чем черт не шутит? – где весна, там и любовь... Обнадеженная публика устроилась поудобнее. Но на экране не появилось ни единого живого человеческого существа. Под весной, как выяснилось, подразумевался сезон открытия заводов и формирования колхозов; это был экстаз поршней, шестерней, молотков и заводских ремней, с точки зрения операторской работы восхитительных, но по-человечески несколько бессодержательных. Половина зала разошлась по домам, выкрикивая проклятия. Другая половина осталась, чтобы освистать киноэкран кто во что горазд.

ИЗ ГЛАВЫ «ЛОКОМОТИВЫ ЕДУТ В СРЕДНЮЮ АЗИЮ»

Перевод выполнен по изданию: Lyons E. Assignment in Utopia. – New York: Harcourt, Brace and Company, 1937. P. 304-309.

1

Однажды с Московского вокзала в далекую Среднюю Азию отправился поезд, битком набитый довольно-таки пестрой публикой – ехали к месту официального открытия Турксиба – Туркестано-Сибирской магистрали. Пассажиры делились на две дивизии: советских граждан и иностранцев, и внутри каждой дивизии имелись особые подразделения. Иностранцев придиричиво рассортировали на коммунистов и неверных. Среди русских было несколько небритых «ударников» с мозолистыми ручищами,

важничавшие чиновники с портфелями – символами их высокого общественного положения, - а также умеренное количество годившейся к случаю интеллигенции: репортеры, прозаики, драматурги.

Если подумать, это была уменьшенная копия советского мира и его капиталистического окружения. Пределы этого мира символизировали здесь, с одной стороны, Катаяма, почтенный японский коммунист в изгнании, чья напряженная невозмутимость делала его похожим на восточного священнослужителя, а с другой - представитель нашего буржуазного крыла, маленький японский дипломат, корректный, словно портной, вежливый и приветливый, таскавший с собой бинокль и фотоаппарат почти такого же размера, как он сам. Изысканно обставленный, укомплектованный всяческой всячиной вагон-ресторан удовлетворял прихоти гостей-капиталистов, а в куда более скромной закуской угощались вполне себе спартанскими блюдами гости-пролетарии.

Два лагеря смешивались редко, хотя как русских, так и иностранцев частенько застукивали на полпути. И в самом деле, положение иных советских писателей было непростое: с их избалованностью в еде, с их привычками в беседе, в том числе с женщинами, они, конечно, испытывали непреодолимое влечение к буржуазным краям этого мира на колесах, а между тем политически были на стороне ударников. Трудно было позавидовать и судьбе некоторых громкоголосых левых писателей из иностранцев, которые были вынуждены мириться с опостылевшим комфортом, в то время как с точки зрения идеологии они всей душой были там, на четыре-пять вагонов позади, с пролетарскими героями. Были даже прискорбные случаи политических мезальянсов.

Больше трех недель все эти люди ели, спали и упивались политическими разногласиями и крепкими напитками, флиртовали и тщились выпустить пар – и все в заточении этого в высшей степени особого

поезда, так же наглухо отрезанного от остального мира, как отрезан от него корабль посреди океана. Время от времени они всей гурьбой вываливались на берег в сухопутных гаванях Алма-Аты и Ташкента, Самарканда и Бухары, не говоря о десятках станций помельче. Но в конце концов всегда возвращались на поезд, к его запутанному социальному устройству. Классовая борьба, внутриклассовая борьба – все как на ладони, живая модель, передвижная выставка!

Тандем советских юмористов, Илья Ильф и Евгений Петров, вывели это путешествие в веселых, хлестких главах своего романа «Золотой теленок». Материал сам шел к ним в руки. Американские журналисты в вечной жажде «историй» и интервью. Борис Смоляр из еврейского телеграфного агентства в вечной жажде евреев – и он, кстати, всегда евреев отыскивал, что в Алма-Ате, что в Бухаре, что в какой-нибудь деревне посреди пустыни. Рыцарские турниры за внимание незамужних американок. Заводские рабочие отвесив челюсти наблюдают за ужимками играющих в удивительный покер, распивающих пиво, фотографирующихся незнакомцев, одетых как на поле для игры в гольф. На борту оказался экземпляр «Любовника леди Чаттерлей»; сначала он был новехонький, а к концу путешествия истрепался донельзя, и все вагоны по очереди (в зависимости от того, где именно он циркулировал в данный момент) наполнялись романтической атмосферой.

У некоторых супружеских пар были собственные купе. Чары Билли и семиструнная гитара, в особенности в сочетании с изрядными запасами копченой ветчины и прочих консервированных роскошеств превратили наше купе в дальнем конце журналистского вагона в центр всеобщего притяжения, уступающий в своей неотразимости разве что вагону-ресторану. Многие советские газетчики не устояли перед искушением выпить с нами на брудершафт, что сильно подорвало боевой дух классовой борьбы. Наименее благоразумные из советских литераторов тоже ушли на идеологические

каникулы и почти все время проводили в буржуазном вагоне-ресторане, в этом львином логове, и волочились за хорошенькими классовыми врагинями.

Возмездие не заставило себя ждать. У пролетарского крыла, была, конечно, своя стенгазета – эдакая сводка внутripоездных дел. Вскоре она ошетибилась всевозможными шпильками в адрес бродячих литераторов. «Как видно, общество рабочих недостаточно хорошо для некоторых наших «великих писателей», - вот к чему все это сводилось. – Им больше по вкусу ростбиф и надушенные дамы из иностранных вагонов. А мы возьмем и им назло выполним-таки пятилетку в четыре года! Да здравствует Турксиб! Да здравствует Сталин!»

И великие писатели мгновенно протрезвели: они узнали голоса своих повелителей. В спешке принялись они устраивать литературные вечера в пролетарской закуской, читали ударникам вслух отрывки из своих книг, напускали на себя восхищение, выслушивая топорные сочинения юных рабочих, метящих в литераторы, и дополняли стенгазету добродушными памфлетами на иностранных корреспондентов. Весь остаток пути они не упускали случая изъясить свою преданность нашим пролетарским товарищам по путешествию и показать тем самым, на чьей они стороне в этих классовых (между первым и третьим) войнах.

Кое-кто из левых иностранцев тоже тратил немало времени на заигрывания с ударниками. Стремление к успеху в обществе в зависимости от самого общества может принимать всевозможные формы, но неизменно остается источником веселья для незаинтересованного стороннего наблюдателя. Пухленькая американка, только что вернувшаяся с вечеринки в вагоне третьего класса, сияла от восторга, как какая-нибудь миссис Джонс после обеда у Асторбилтов: хвала небесам, ее «приняли»!

Еще прежде, чем купола Оренбурга, этого последнего форпоста Европы, отцвели на западном небосклоне, Азия, древняя и загадочная, уже

явила нам себя. По обе стороны от нас к горизонтам, закругленным, будто на просторах океана, расстилались иссохшие степи Казахстана. Под тяжелой поклажей изможденно ковыляли косматые верблюды. Иногда их вереница тянулась по самой кромке горизонта, и силуэты вырисовывались на фоне неба. Показывалась одинокая юрта – круглое, крытое войлоком жилище кочевников Средней Азии – или небольшая стайка юрт, издали похожая на поросль грибов. Или всадник, пряча глаза в тени остроконечной меховой шапки, без интереса наблюдал за нами, оставляя без ответа наши приветствия.

На этих выжженных равнинах с редкой щетиной полыни, площадью своей превышающих половину всей Европы, ютятся малочисленные обитатели – меньше двух человек на квадратную милю. Их верблюды и выносливые маленькие лошадки пасутся среди пустыни, довольствуясь сорняками, и дают людям кумыс (кобылье молоко), конину и верблюжатину – тем здесь и кормятся.

На редких жалких полустанках, по виду заброшенных, над подносами с сушеной рыбой или дряблыми овощами сидят не улыбчивые люди; темнолицые казахи, прищурившись, неподвижно сидят на корточках возле стен или перил – плосколицые, бездеятельные существа.

Азиатский мир жары, пыли и вечного, неизбывного монотонного гудения дикой пустыни. Наш поезд, набитый европейцами и американцами, энергичными, любопытными, нетерпеливыми, - он был Западом, а они, эти молчаливые, опаленные солнцем люди, медлительные и ко всему равнодушные – они были Востоком. В этом азиатском мире мы были непрошеными гостями. Даже ленивые мухи казались задумчивыми, азиатскими, сбитыми с толку нашей лихорадочной суетой.

Около двух дней мы тряслись вдоль этих бесплодных равнин со скоростью примерно двадцать миль в час, и от равнин мерцающими волнами

поднималось тепло. Изредка местность расцветала зеленью оазиса, но куда чаще выцветала до желтизны настоящей пустыни. В дне езды от Оренбурга мы увидели проблеск фосфоресцирующего Аральского моря, берега его на целые мили вглубь материка были пронизаны соляными прожилками. На следующий день на станции Арыс, что к северу от Ташкента, Восток предстал перед нами во всем своем пыльном, зловонном однообразии, во всей своей ностальгической прелести. Здесь, на этом железнодорожном узле, население пестрое; русские и коренные жители – казахи, узбеки, киргизы – и все они смешались в толпе, что приветствовала на перроне наш увешанный флагами поезд. Но колоритные азиаты в наших глазах совершенно затмили русских. Их смуглые лица под меховыми шапками или тюрбанами, их длинные, богато окрашенные одеяния или приталенные, узкие казахские камзолы – все это навеивало воспоминания о библейских преданиях и о сказках Тысяча и одной ночи; то были Нои, Авраамы и Аладдины из детских книжек с картинками.

Впрочем, заботили их сейчас вопросы куда как более современные. Они рассказывали о коллективизации: как здешние жестокие тираны – русские и из местных – втискивают всех в коллективные хозяйства, как ужасно не хватает еды. Повсюду прошел слух, будто вот-вот приедет из Москвы правительство, и изо дня в день эти люди ждали нашего прибытия, так и лопаюсь от вопросов, жалоб и подробнейших прошений, предназначенных Сталину и Калинину. Выбранные представители громогласно требовали немедленной аудиенции с Лениным и Троцким. Каково же было их недоверие и разочарование, когда им объяснили, что перед ними никакое не правительство, а делегация из представителей разных стран, которые прибыли поглядеть на новую железную дорогу, проложенную на древней земле.

Во время других остановок повторялась та же история. Среднюю Азию, которой при царе позволяли следовать собственным первобытным

путем, жестоко сотрясали нововведения большевиков. Женщин учили разводить костры из хиджабов и покрывал, а детей (ныне комсомольцев) – глумиться над традициями отцов. Хуже того, их стада и земли были конфискованы, а сами они превратились в работников на земле, которой когда-то владели. Именно здесь для создания колхозов использовалась, по выражению самого Сталина, «военная сила», именно здесь чиновники лишали частных землевладельцев доступа к драгоценной воде для орошения почвы.

Чем севернее мы подвигались, тем зеленее становились окрестности, и очень скоро по другую руку в глубокую синеву небосвода вонзились серебряные пики гор.

2

В конце концов 28 апреля 1930 года северная и южная части Туркестано-Сибирской железной дороги сомкнулись, и те, кто видел смычку собственными глазами, не забудут этого никогда. Избитое противопоставление Запада и Востока, первобытной жизни и современной науки больше не казалось банальностью: в тот день оно приняло форму грандиозного зрелища эпического размаха и поучительности.

Местечко под названием Айнабулак отныне не было просто каким-то названием в картографической пустоте, обделенным даже таким признаком существования, как железнодорожная станция. Когда в 1927 году на противоположных концах началось строительство, никто не мог бы предугадать, в какой именно точке встретятся рельсы. Но более эффектные декорации для этого события едва ли сумел бы подобрать даже великий театральный режиссер. Горы со всех сторон охватывали местность естественным амфитеатром. Сбоку от рельсов возвели огромную трибуну, и она была битком забита делегациями со всех уголков советской земли; транспаранты и флаги, которыми была обмотана трибуна, провозглашали

наступление в Средней Азии новой жизни. По другую сторону от рельсов на некрутом склоне столпилось видимо-невидимо казахских конников; эти мужчины с непроницаемыми, загадочными лицами сидели не шелохнувшись на своих скакунах, как если бы человек и конь были единым целым; их подбитые мехом приталенные камзолы расширялись книзу, и из-под распахнутых пол видны были цветные халаты и шаровары. Были с ними и казашки, несколько сотен, почти все с младенцами на закорках; они робко глазели из-под тюрбанов, высотой почти в фут.

В это самое утро спозаранок соединили две последние шпалы железной дороги, забив в них серебряный костыль. Русские, казахи и иностранные представители присовокупили к этой церемонии по несколько взмахов молотком, а затем локомотив, ополоумевший от духоподъемных выкриков и защищенный флагами, с пыхтением по этому месту протопал.

Потом началось заседание. Пять часов кряду тысячи людей корячились на жестких скамейках и верхом, покуда партийцы и люди из правительства на всяческих языках прославляли железную дорогу и власть Советов. Репродукторы доносили их голоса даже до тех, кто стоял совсем далеко. На головами кружил аэроплан. Солнце поднялось выше и жарило нещадно, но никто не шевелился – только чтобы похлопать очередной речи или какому-нибудь работнику, кого награждали Орденом трудового красного знамени за усердие на стройке.

Даже мы, привычные и к локомотивам, и к громкоговорителям, и к аэропланам, были взбудоражены этим зрелищем. Что говорить об этих казахах, явившихся из степей и с холмов! Позже некоторые из них несмело заглянули к нам в вагон-ресторан и были попросту поражены, совершенно по-детски, когда увидели собственные отражения в зеркале. Локомотивы и аэропланы – людям, никогда не выдавшим зеркала!

Из всех исполинских предприятий пятилетки Турксиб был завершен первым. Работа шла в спешке: старались, чтобы церемония смычки совпала с первомайскими праздниками и новостями об этой «победе на фронте индустриализации» можно было поразить как можно больше людей, когда они соберутся на весенние демонстрации. И пускай то, что опередил всех именно Турксиб, было случайностью, случайность эта имела свой подтекст. В своем многотрудном порыве к индустриализации Россия опиралась на технические достижения Запада, но лицо ее при этом было обращено к Востоку.

Уолдо Фрэнк

Из книги «Путешествие по Южной Америке»

АРГЕНТИНА ИНКОВ

Перевод выполнен по изданию: Waldo F. South American Journey. – London: Victor Gollancz Ltd., 1944. P. 84-91.

При всей своей громоздкой монотонности, как поражает Аргентина многообразием человеческих типов! Сами подумайте: тут вам и Санта-Фе, и Кордова, и Сантьяго-дель-Эстеро – и все это на клочке земли всего в несколько сотен миль площадью.

Чем западнее от предместий Буэнос-Айреса, тем менее плодородной становится пампа. В Гобьерно де ла Пампа и Сан-Луисе это уже скудная почва; тут вам не то что на востоке или в Уругвае, где какие-нибудь бык и корова, будучи предоставлены самим себе, во мгновение ока превращаются в миллионное поголовье. Знаменитые Сьеррас-де-Кордова, расположенные к западу от города, - продолжение неподатливого юга, скомканная пампа. Горы, прекрасные и ко всему безразличные, поднимаются над равниной практически под прямым углом. Их склоны и тупоносые вершины почти голые, если не считать снега. Долин нет. Низины заросли терновником. Потоки извиваются лениво, и на берегах растут ивы.

Но не неласковой земле, а ласковому солнцу и ласковому воздуху отданы во владение эти деревни, эти побеленные одноэтажные дома, крытые соломой. Животные и девушки, многие из которых прехорошенькие, делят жизнь с тихими, немногословными мужчинами. Замкнутый, вросший в самое себя народ. С искаженными представлениями о добродетели. Здесь, в краю скомканной пампы, одним из самых распространенных преступлений является сожительство отцов и дочерей. Кордовский судья говорил мне, что

только в его суд поступает около пятидесяти подобных дел в год. А о скольких еще попросту никому не известно?

Поросшие колючками пустоши на окраине города хранят другие секреты. Приятели повели меня сквозь этот узловатый ощетинившийся лес поглядеть на дом одного из самых замечательных из ныне живущих графиков. В доме, просторном и распахнутом холодному воздуху, обитает сумасшедший, который сам построил себе уединенную мастерскую в форме огромной бутылки из-под шампанского и подземную келью, порог которой охраняет гигантская гипсовая лягушка. Подозреваю, что арендная плата благодаря всем этим диковинам изрядно снизилась, так что этот художник, один из немногих первоклассных художников Америки, вполне может позволить себе такое жилье. Этот молодой аргентинец, Маурисио Ласански, - истинный наследник Дюрера и Рембрандта; не по духу, а в том, как беспощадно его кропотливое стремление к совершенству. Его работы, очень современные, не без влияния сюрреализма, обладают глубинной «американскостью». И в этом кроется загадка. В фигурах Ласански, выписанных с такой болью, в его лицах, черты которых заострены неразрешимыми вопросами, есть глубокая родственная связь со скульптурами прокаженного мулата, бразильца Алейжадинью. Разгадку следует искать не в педантичном сопоставлении техник и влияний, а в невероятной, бьющей через край мощи духа. Дух способен сделать братьями людей, еще менее близких друг к другу по эпохе, стране и крови, чем негр-бразилец восемнадцатого века и еврей-аргентинец века двадцатого.

Аргентинские Анды, эта западная стена Патагонии (Неукен, Рио-Негро, Чубут, Санта-Круз), раскидывают перед туристами ледники, озера и ошеломительные вершины, великолепие которых затмевает блеск Альп. Ясное дело, находится все это дальше от больших городов, чем Кордова. Но не одной только доступностью объясняется предпочтение, которое аргентинцы отдают скомканной кордовской пампе. Нежность очертаний этих

холмов, то, как они кротко соприкасаются друг с другом, весь этот ландшафт для аргентинца – образ самой его родины. То, что мы любим, есть слепок с нас самих – слепок, возможно, даже более точный, честный и свободный от примесей, чем оригинал.

Сантьяго-дель-Эстero с его неизменной минусовой температурой по Цельсию обогрел меня, как будто я вернулся домой. Снова передо мной базар с этой его индейской породистостью, милые крестьянки, что сидят на корточках между корзин с фруктами и бобами. Снова передо мной благороднейший, совершенно сумасшедший Эмилио Вагнер, археолог, не исключено, что великий; он посвятил всю свою жизнь изучению доинкской культуры, которую, желая окрестить ее как-нибудь позвучнее, зовет чакосантьягуэнской. Я рассматривал его недавние драгоценные находки – керамические изделия, ювелирные украшения, предметы домашнего убранства; видел, как много на них изображений женщин со змеями и символов птиц, по форме и духу практически идентичных тому, что обнаруживаем на предметах из древней Трои, из Египта или Мехико. Д-р Вагнер в связи с этим абсолютно убежден в существовании некой универсальной цивилизации – наверное, это ему навеялось рассказами об Атлантиде, - с Африкой на востоке и Америками на западе. Впрочем, объяснение может быть и в том, что человеческая психология тоже универсальна, и люди, никогда в жизни не видавшие друг друга, вполне могут выражать свои мысли и чувства в одинаковых рисунках. Как бы то ни было, здесь же я воссоединился с моим другом Бернардо Канал Фейхо, одним из тех редких аргентинских мужчин, которые по богатству характера и духовной глубине не отстают от лучших из аргентинских женщин. Юрист, писатель, социолог и культуролог, Канал Фейхо ни за какие коврижки не соглашается жить в столице. У него роман с миром Сантьяго; если такой человек, как он, покинет эти места, то в них уже не будут так безоглядно влюбляться.

Империя инков, а говоря правильнее – Тауантинсуйу (инками звалась правящая династия) раскинулась до самой Сантьяго-дель-Эстерио и насадила здесь свой официальный язык, кечуа – эту своеобразную латынь империи, что некогда поглощала нынешние Перу, Боливию, Эквадор...

Инки, словно римские цезари, перекраивали культуры на свой лад и пересаживали с места на место, а сами создавали мало. Если не брать в расчет язык, который до сих пор слышится в здешних лесах, в речах крестьян и их песнях, все индейское в Сантьяго – родом из доинкских времен.

В городе индейский дух ощущается явственно. Мужчины спасаются от холода не плащами, а шалями и пончо. Я почти готов вообразить себя в Боливии или Перу, но это все из-за того мягкого, обволакивающего чувства, которое вызывает пампа. Здешние и тукуманские женщины, в особенности красивые, напоминают мне о Египте... о египетских скульптурах.

Сантьяго, город с населением всего в семьдесят пять тысяч человек, живет собственной, вполне зрелой культурной жизнью (публика реагировала на мою лекцию ничуть не менее живо, чем это было в лучших аудиториях на юге). Раньше провинция была богатой; здесь обосновались четыре городка, стратегически расположенных так, чтобы служить опорой всему сельскому хозяйству региона. (Это край деревьев квебрахо, древесина которых столь крепкая, что об нее ломается топор: *quebra-hacha*). В 1870-х годах проложенная англичанами английская железная дорога, нацеленная на сахарные плантации Тукумана на севере, прорезала провинцию насквозь, но обходила стороной эти четыре города, подобные органам, без которых не может жить тело. Юноши покинули родные места, девушки нанялись в поезда прислужкой. Провинция потеряла свою экономическую целостность, воцарилась прискорбная бедность. Большинство приезжих работников, которых я встречал в Тукумане и которые пахали как Джоуды, были из Сантьяго. Таких работников поэтически прозвали *golondrinas* – ласточками.

Спасло провинцию какое-то особое духовное ядро, и когда эта сущность подает голос, становится ясно, что исток у нее отчасти индейский. Вопреки экономической разрухе, Сантьяго-дель-Эстеро сохраняет изможденную, кроткую цельность.

Я чувствую ее в картинах Рамона Гомеса Корнета, в этой простой и сдержанной портретной живописи, необыкновенно пронизательной, тронутой тем самым пафосом, полной той самой энергии, которые почти испарились во времена экономических и природных засух. Но лучшее воплощение этой цельности – проникновенный хорал *la vidala*, благородная печаль которого наполняет всякую комнату, где собираются обитатели Сантьяго. Композиционно такие хоралы близки григорианским песнопениям, а язык обыкновенно – кечуа; эстетическая сущность же его – дитя Аргентины и Сантьяго.

После лекции Канал Фейхо устроил небольшую вечеринку с танцами. Зумба, чакарера, гато, палито, видала.

Особенность здешних танцев в том, как четко разделены в них мужская и женская партии. Женщина, снисходительная, в плавном кружении, никогда не двигается слишком много. Изящный взмах платком, скромное поигрывание складками юбки, один осторожный шажок, другой, - вот и все ее движения. Мужчина же яростно, чуть не сбиваясь с ног мечется взад-вперед, его ноги заходятся в галопе, за ним не уследить – он будто конь, необузданный, нетерпеливый. Я видел трех прекрасных девушек, все они вели свою символическую партию. Одна была хрупкая, а в другой так и кипела жизненная сила, энергия. Но все они глубоко погружены в свою культуру, которая так нежно придает им форму. И когда они послушны ей – их красота становится совершенной.

Мы, североамериканцы, и есть настоящие дикари. Мы, с этой нашей неспособностью дать чему бы то ни было объяснение, как есть первобытные

люди. А эти мальчики и девочки из Сантьяго уже в конце пути, они закончены, они совершенны. Их красота сродни животному здоровью. Точно так же совершенна породистая лошадь. Но я не забываю о том, что Сантьяго – дом также и для Канал Фейхо и для Рамона Корнета.

Эти-то два друга составили мне компанию, когда я отправился на машине к западной границе провинции. Мы проехали по неприветливому краю квебрахо, рожковых деревьев, огромных кактусов, среди которых не было двух похожих. Мы миновали компанию *golondrinas*, направлявшихся на заработки в Тукуман (о ту пору как раз началась *zafra*, рубка сахарного тростника; на полях и мельницах кипела работа). Лошади и мулы везли женщин, детей и скарб; мужчины шли пешком. Изредка можно было увидеть расхлябанную телегу, со скрипом тащившуюся по колее, со сваленными в ней стульями, плитками, свертками. Бернардо рассказывал мне истории об индейцах, знакомил меня с премудростью этой суровой земли. Особенно мне понравилась старая испанская поговорка о квербахо и о женщинах: «*Quebracho de punta, y mujer de espaldas metale cargo!*» («под чем переломится квебрахо – то вынесет женская спина!») Надобно быть поэтом, чтоб взяться это перевести.

Мы пересекли границу Тукумана, проехав по высокому мосту над подсыхающей рекой. Я попрощался со своими друзьями из Сантьяго и пересел в другую машину, на которой из Тукумана приехала небольшая делегация, чтобы меня встретить.

Сантьяго-дель-Эстерио по-прежнему в моем сердце. Когда я увижу его снова? Мне представляется дикая пустошь: квербахо, рожковые деревья, мескито вдали; жесткая трава, кактусы, запах оцетинившейся, напряженной земли, притерпевшейся к солнцу. И прямо передо мной – девушка: непокорные черные волосы, темно-серые глаза на круглом лице, таком же

красновато-коричневом, как земля. Тело под грязной, нецелой сорочкой, как натянутая струна, полно музыкой и сладостью – сладостью земли, цветением земли...

Но вот уже кругом расстилаются тукуманские золотистые плантации сахарного тростника: теплое жидкое золото под зимней голубизной небес, в оправе редких серых и зеленоватых деревьев. Мельницы вырастают из золота и зелени, а в окрестных полях – жмущиеся друг к другу домишки из необожженного кирпича и суглинка: рабочие поселки. Это точка отсчета, прародина, самая окраина заснеженных горных цепей: Сьерра де Аконкиха, долина Кальчаки, что тянется до Катамарки, а на севере доходит до Сальты и самой Кордильера-Реаль. А за ними – зловещая, невыразимо прекрасная пустыня Атакама... Я сосредоточенно прищуриваюсь и снова закрываю глаза. Я вижу рубщиков тростника, *peladores de caña*. Мрачный народ; этой сладкой земли им не досталось ни крошки. Они живут в холоде и неприкаянности, в вечной сутолоке, изнуренные, кромешно невежественные во всем, что касается простейших человеческих прав, которыми обладают и они. Горемычное племя, и несчастьям их нет конца. Одна капля простой человеческой доброты, этой живой воды – и их чувства, их сознание расцвели бы, как те поля, на которых они трудятся. В Сан-Мигель-де-Тукуман я вижу будто бы другую расу людей: у тех есть одежда, дома, пища. Силы их зрения не достает разглядеть этих обездоленных, которых отделяет от них всего миля. И тем тоже их не видать... Как будто столица находится на другой планете. Среди горожан несколько тысяч студентов. Они-то видят или нет пятьдесят тысяч *peladores, golondrinas*, что живут с ними бок о бок на протяжении трех самых холодных месяцев в году?

Я верю, что только когда люди столичной расы... студенты, простые горожане увидят по-настоящему этих, других, признают их и полюбят, - это будет подлинным рождением Аргентины.

Из-за моих кордовских дел в Тукумане у меня оставалось время только на одну лекцию из запланированных двух, - вечер со студентами и день в поле, в обществе сезонников. Судья Мигель Фигуэро Роман, в чьей машине я теперь ехал, описывал мне самый обычный обед в загородном клубе с губернатором Критто, ректором Университета и местными литераторами. Будут говориться обычные речи; ожидается, что и я произнесу пару слов. Эту часть своих обязанностей я решил сократить до предела, пускай даже это будет на грани грубости. Пусть эти приятели из загородного клуба, если они честные люди, знают, что я отправился в это путешествие не лавры пожинать, а учиться. А если не честные – то мне и дела до них нет. Судья рассказывал мне о том, что под его руководством в Университете ведутся статистические исследования жизни рабочих с сахарных плантаций; от них не ускользает ни одна мелочь, имеющая отношение к их быту, сексуальным привычкам, языку, религии, обычаям, этническому происхождению, развлечениям и т.д. и т.п. Мы притормозили и отправились в поле, где целые семьи сезонников рубили тростник. Мы заходили в их дома. Мне доводилось видеть и более нечеловеческую бедность – трущобы польских гетто, например (и это было еще до Гитлера!), где евреи ютились в своих беспросветных подвалах, или жилища лондонских рабочих, которые, несмотря на более достойный уровень жизни, физически куда сильнее надломлены. Но невзгоды, распущенность, все горчайшие грани абсолютной, безнадежной нищеты, - все, чем наполнена жизнь этих сезонников, - тем больше позорят нас, что кругом – золотая земля, таящая в себе сокровища, а над головой – солнце Аргентины. И тем страшнее это, что непокоренными остаются их прелесть, их живой, как родник, ум.

Они селятся в общих домах. Если повезет, могут получить аж две комнаты на семью: в одной они спят, переваливаясь с пола на влажную землю за порогом, в другой устраивается крошечная кухонька с жаровней. Нет ни кроватей, ни печей; даже в относительно процветающих домах, где

живут постоянные работники, - *ingenio* - я ни разу не видел печки. Некоторые из домов, называемые *colonias*, представляют собой длинные грязные открытые с одной стороны конструкции, внутри которых есть комната без окон – одна на всю семью. С открытой стороны, под навесом, готовится пища, не на жаровнях даже, а на сооружении из тоненьких веточек квебрахо. А на заднем дворе – мулы и прочая живность. В комнате, площадью от силы десять квадратных футов, живет семья с четырьмя или пятью детьми; и живут, и спят они вместе, и несколько тюфяков с грязной соломой служат им постелями. Здесь отец и мать занимаются любовью, здесь мать рождает, здесь умирают младенцы – большинство из них. Это жизнь, которая порождает смерть. И, разумеется, преступление. Выпивка и страсти бродят в этих людях... незлобивых, разумных... и затаенная обида рано или поздно понуждает кого-то из них выхватить свой *cuchillo de cana* (так они называют ножи, которыми рубят тростник), или, что бывает куда чаще, толкает в пучину извращения отца, который насилует дочь, или брата, который насилует сестру.

Идем за семьей в поле. (Они работают не каждый день). Взрослые и дети старше двенадцати лет рубят тростник. Красивым, отточенным движением поднимают стебель с земли, отрезают листья и побеги, отделяют сладкую часть от всего лишнего и бросают туда, где ребятишки поменьше собирают урожай в груды. Эта семья в своем круглосуточном, нескончаемом труде... в этом трагическом танце, который заставляет их нищету казаться грациозной... заработает всего четыре или пять песо – прожиточный минимум для одного человека!

Вымазанные в грязи, бледные, мужчины остаются сильными, женщины, пока они молоды, - прекрасными, и дети сохраняют свою внутреннюю безоблачную чистоту. Хороший народ, подлинное сокровище Аргентины... Я говорил с многими из них. Я растолковывал им, что в богатстве народа им принадлежит своя, неоспоримая доля, пытался

объяснить, что они должны объединиться и постоять за себя. Они понимали. Но отходили от меня... в рассеянности, думая уже о чем-то совсем другом. И все же я знал, что несколько лет назад они неожиданно восстали и захватили улицы Тукумана, посеяв страх на том самом месте, где пожинали урожай своих горестей. Они добились повышения заработной платы, которая со временем стала такой же, как была. А значит, они выйдут с протестом снова.

Наглядевшись на все это, я помчался на обед. Губернатор показался мне интересным человеком; он крепок, основателен, обходителен и хитер, как крестьянин. Он медик, которого затянуло в политику радикализма в последние годы правления Иригойена. Добрая воля, общественное сознание... ну и так до упора. А упор в данном случае – и опора неплохая, настоящий островок безопасности: продвинувшись дальше, вы едва ли добьетесь успеха как политик. Даже если вас зовут Франклин Рузвельт.

До тех самых пор, пока не покинул Тукуман, я чувствовал, что оказался в опасной близости от этого самого островка безопасности. Фигуэра Роман с энтузиазмом рассказывал мне о том, как продвигаются его исследования условий жизни *peladores*, и во время первого визита к ним был моим жизнерадостным чичероне. Когда он увидел, как в моем потемневшем лице отразилось все негодование, которое вызвало во мне это богохульство против Человека, он заметно поостыл. Часы, которые я провел в обществе этих детей скорби (и все же повторю: скорбью было полно главным образом мое сердце; забвенье, в котором они живут, их безропотное принятие собственной жизни есть самая страшная из глубин этой скорби), сообщили моей вечерней лекции на тему «Война против войны» чрезвычайную остроту. Так что и я в свою очередь эксплуатировал этих несчастных ради той эмоциональной встряски, которой столь задешево делился теперь со своей публикой. Виноват ли я? Во всяком случае, у меня не было выбора. Впрочем, может быть, у других эксплуататоров тоже «нет выбора». В зале, как обычно, стояла тишина: меня слушали с увлечением, и я рассказал публике о том, как провел

несколько часов с «представителями другой расы» там, в полях. И тут произошло нечто неожиданное. Я обмолвился о домах сезонников: «если это можно назвать домами». И вдруг огромная толпа разразилась аплодисментами, и все никак не прекращала аплодировать. В первом ряду сидели губернатор и ректор. Им все это было явно поперек горла.

Еще один, последний визит – и мое северное турне подойдет к концу. Я не досидел даже до середины позднего ужина и отправился на свою обычную неформальную встречу со студентами. Они собрались в клубе, в просторном холле, - сгрудились вокруг небольшого столика и кресла, предназначенных для меня. Они были прямо как гирлянды: те, что в первом ряду, сидели на корточках, за ними – те, кому достались стулья, еще дальше – забравшиеся на столы, одни сидели, другие стояли, и, наконец, те, кто вскарабкался на подоконники. Все взгляды были прикованы ко мне.

Я сказал: моя цель – чтобы они говорили сами. И то, они ведь видели собственными глазами, что после лекции и ответов на многочисленные вопросы я был не больно-то разговорчив. Но дело было даже не в этом. Главное – я явился не столько учить, сколько учиться. Я рассказал подробнее о том, что видел на тростниковых плантациях. А потом задал им вопрос: «Вы – важные шишки, студенты тукуманского университета. Разве вас это не касается? Почему вы ничего не предпринимаете? Подумайте, что вы можете сделать. И что вы сделаете?»

Ответы были самые разные, некоторые чрезмерно затягивались. (Девушки в большинстве своем отвечали лаконичнее, чем молодые люди). Один парень сказал: ничего не делается и делаться не может, потому что студенты – по всей стране – ничуть не более организованы, чем сами сезонники. Другой откликнулся: ладно, но почему просто не начать, не попытаться что-то с этим сделать? У нас есть проблема, на которой мы можем сосредоточиться – и эта общая проблема организует нас. Еще один

заявил: мы студенты, и мы здесь для того, чтобы учиться и сдавать экзамены. Почему бы нам не заняться собственными делами? Ему с негодованием ответила девушка: благополучие наших сограждан, наших товарищей – и есть наше дело, и неважно, что мы изучаем – медицину или коммерцию. Тут поднялся зрелый молодой человек и вдумчиво заговорил: ничего не делается и делаться не будет потому, что мы, студенты, в большинстве своем не желаем ссориться с теми, кто нанимает этих рабочих. Осознанно или бессознательно, но мы этим рабочим – враги. Даже если мы сейчас не принадлежим к среднему классу, то позже, когда получим свои степени, все равно будем принадлежать. Его слова встретили аплодисментами и свистом. Заговорила девушка: мы положим конец этому допотопному делению на классы. Образованные люди, профессионалы тоже могут быть рабочими и иметь достойный доход. И им не придется использовать труд других. Тут воскликнул молодой человек: я изучаю фармацевтику. Если у рабочих вырастет покупательная способность, мне это будет только на руку. Да и вам, будущие врачи, тоже только лучше, если из-за нищеты не будет умирать половина младенцев! Тут встала девушка и заговорила трезво, тихо, как если бы собиралась говорить очень долго. Она и говорила долго. Наш гость, сказала она, ясно дал понять своими лекциями и своими книгами, что перед нами стоит выбор. Либо мы верим в то, что демократия возможна, и добиваемся демократии; в таком случае бедность и невежество других становятся делом каждого. Либо мы верим, что эксплуатация неизбежна. В таком случае те, кто посообразительней, студенты колледжей, конечно, постараются оказаться среди фашистских волков, а не среди овец. Она свой выбор сделала, и она уверена, ее однокашники, присутствующие в этом зале, поступили так же. Пусть исчезнут и волки, и овцы, а на их месте появятся люди! Рядом с нами творится несправедливость, вопиющая о нашем вмешательстве. Она здесь, прямо за дверью. Она предложила еще до следующей встречи что-нибудь предпринять. Бурные аплодисменты. Я прервал их и спросил: отлично, а что именно можно предпринять? Я

поинтересовался, есть ли у студентов обычай посещать рабочих и изучать их жизнь. Я рассказал о похожих экспедициях, которые устраивали в прошлом веке русские студенты, эти подлинные предвестники революции, селившиеся среди мужиков. Я объяснил, что нужно заниматься исследованием, нужно обдуманно собирать информацию, а уж потом только переходить к разумным действиям. Сначала нужно поговорить. Просто поговорить. Но поговорить по-настоящему.

Я расстался с ними уже далеко за полночь. На улицах Тукумана стояла тишина. Но вдруг они огласились радостными криками студентов...

Лэнгстон Хьюз

Из книги «Поброжу и расскажу»

ИЗ ГЛАВ «СЦЕНАРИЙ НА РУССКОМ» И «ПЕРВОМАЙ»

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. I Wonder as I Wander. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 73-74, 218-223.

В Москве нас разместили в Гранд-Отеле, это в одном квартале от Кремля – самый центр столицы. Там были огромные номера с невероятных размеров кроватями еще царистских времен, тяжелыми портъерами и коврами, в которых утопала нога. В большой темной столовой было полно еды: котлеты, капуста, икра, иногда блюда из птицы – но в целом без разносолов. Почти все постояльцы Гранда были, по всей видимости, какие-то высокопоставленные русские – политики или руководители заводов, которые въезжали на день-два, а потом исчезали, - ни с кем из них мы так и не познакомились. Путешественники, которые в те времена приезжали в Россию, почти все останавливались в Новой Москве или в Национале. Время от времени в Метрополь вселялись какие-нибудь американцы, но вообще этот аристократический старый отель, казалось, предназначался для важных политических гостей из других стран, не из США, а также для артистов балета и прелестных, но чрезвычайно загадочных девиц, о которых говорили, будто они работают на секретные службы. Во всяком случае, Метрополь был единственным московским отелем, где в баре можно было увидеть девушку. А еще – единственным, где имелся джазовый оркестр и хорошенькие женщины, с которыми можно было потанцевать.

– Все как на подбор шпионки, – сказал кто-то из наших: он пришел к заключению, что в Метрополе мило, но дороговато. – Шпионки, да к тому же и ловить там нечего.

– Шпионки, не шпионки, а для меня так очень даже годятся, – отвечали им. – Для меня и для танцев!

– Я выучил одну линди-хопу, – заявил кто-то из ребят на второй день нашего пребывания в городе. – Так она уже меня вчистую перетанцовывает. С танцами у здешних шпионов все в полном порядке!

Я так и не понял, что это были за молоденькие русские красотки в Метрополе. Это совершенно точно не были проститутки, - как это обычно бывает с такими барными цыпочками в других европейских городах. Проституток в России было очень немного, потому что женщины работали наравне со всеми. Да и вообще, русские полагали, что проституция – это «не по-советски», то есть, попросту говоря, плохо. Фраза «не по-советски» доносилась с каждого угла. Если кого-то слишком бесцеремонно толкали в спину при входе в автобус или трамвай, к обидчику оборачивались и говорили: «Гражданин, это не по-советски!» Если два человека на улице накидывались друг на друга с кулаками, полицейский кричал им: «А ну стой! Не по-советски!» Если ребенок вырывал у другого из рук конфету, мать бранила его: «Это не по-советски». Любая грубость или дурной поступок характеризовались как «не советские», то есть, говоря иначе, недостойные советского гражданина. Я побывал во многих крупных городах мира, и по моим наблюдениям, именно москвичи, как никто, вежливы по отношению к незнакомцам. Но, может быть, объяснялось это тем, что мы негры, а дело Скоттсборо было в то время на первых полосах газет во всем мире, а уж в России тем более, – вот люди и старались проявлять к нам радушие. Окажись в переполненном трамвае – и девять из десяти, что какой-нибудь русский скажет: «Negrochanskj tovarish – товарищ негр, присаживайтесь!»

В уличных очередях за газетами, папиросами или прохладительными напитками нередко говорили: «Пропустите товарища негра!» А если начнете отказываться, будут настаивать: «Прошу вас! Гостей вперед». Казалось, простые граждане ощущают себя официальными лицами, хозяевами Москвы.

“Oni sedit” – «он сидит», так выражаются русские, когда говорят о ком-то, кого держат под стражей в политической полиции, ОГПУ. За год, проведенный в СССР, я не познакомился ни с кем, что «сидел бы», кроме одного московского студента-поэта. Раз или два в начале весны он заглядывал ко мне почитать свои стихи на школьническом английском. Потом месяц-другой я его не видел, и когда осведомился, куда он подевался, мне ответили: *oni sedit*.

– Почему? – спросил я.

Ответ последовал маловразумительный. Я так понял, что это было как-то связано с его буржуазным происхождением. Через несколько лет после моего отъезда из Средней Азии председатель Совета народных комиссаров Узбекистана Фейсулла Ходжаев, с которым я познакомился в Ташкенте, был арестован и предан суду как предатель: его обвинили в ведении переговоров с британцами через афганскую границу. Мой московский редактор Карл Радек исчез во время поздней чистки. А Сергея Третьякова из «Рычи, Китай» расстреляли в 1938 году, «ликвидировали», как говорят в России. В СССР политиков не просто лишали должности – очень часто вместе с должностью лишали и жизни. <...>

Над головой гудели самолеты, на улицах играли оркестры, развевались флаги.

Этот полногласный, радостный рычащий крик красноармейцев зарождался в первых рядах взводов и становился все громче по мере того, как взводы объединялись друг с другом, пока наконец вся Москва не заполнилась, чудилось, раскатами могучего баритона, человеческим грохотом, равного которому по нарастающей мощи ритма я никогда раньше не слышал.

Американцы, прожившие в Москве несколько лет и не раз видевшие празднование 7 ноября и 1 мая, рассказывали мне, что практически неизменно кто-нибудь дает маху прямо у Сталина под носом. Они сказали, что за год до того, как я сам побывал на параде, самый огромный из всех огромных советских танков, участвовавший в шествии, сломался непосредственно перед ленинским мавзолеем. Ревущий бронированный танк с величайшим грохотом и треском вылетел на Красную площадь, пушки завертелись – а затем он заклекотал, забулькал и заглох – прямо на глазах у Сталина! Всем остальным участникам парада пришлось ошиваться вокруг агонизирующего танка, покуда несколько танков поменьше куда-то его не оттащили. Эмма была убеждена, что командир этого танка «сел» до конца своих дней.

На первомайском параде, который видел я, произошло то же самое, только с другим образцом военной техники. Все газеты трезвонили о том, что Красная армия будет показывать модернизированное полевое оружие – гладкоствольные пушки, способные стрелять на большие расстояния. Когда распорядитель парада желает выделить что-то особо, все остальные участники на время останавливаются у входа на площадь. И вот, покуда прочие части замерли в ожидании, на площадь, запряженная четырьмя красивыми белыми лошадьми, с прямым как стрела возничим на лафете, выехала самая длинная, гладкая и серебристая пушка, какую я видел за всю свою жизнь, и выглядела она так, будто выстрел ее покрывает многие километры, да к тому же с молниеносной скоростью. Когда этот величественный образец полевой артиллерии приблизился к диктаторам Советского Союза, возничий уселся еще прямее. Рядом с мавзолеем, кажется, даже лошади почуяли, что проходят мимо Сталина, Калинина и Молотова – уверенно и горделиво вышагивали они, пересекая площадь. Но только без пушки! Прямо на глазах у великих сановников пушка открепилась от лафета, на котором ехал возничий, и нос орудия, повисшего на двух колесах, рухнул

на булыжники. А величавый солдат ехал себе дальше, ни о чем не подозревая, покуда полевое орудие валялось позабыто-позаброшено у него за спиной, прямо посреди площади. Всхлипы и крики ужаса, раздававшиеся в толпе, солдат принял за приветственные возгласы, и Красную площадь он покинул так и не обернувшись – и без пушки.

«Oni sedit, – сказала Эмма, когда услышала об этом. – Можешь не сомневаться, он уже в тюрьме».

Вскоре из-за кремлевских ворот привели лошадей и с позором утащили неприкаемую пушку, а парад тем временем продолжался. Москвичей эта история изрядно повеселила. А вот повеселила ли она Сталина – не знаю.

Впрочем, мне кажется, что кремлевские владыки тоже посмеялись над этим конфузом – почти у всех русских, с которыми я имел дело, прекрасное чувство юмора. Они, конечно же, рассказывают огромное множество анекдотов о самих себе и о советском государстве. У русских евреев масса шуток про Троцкого – расскажи их кто другой, они звучали бы не только антисоветски, но и антисемитски. А что до кремлевских владык, которые смотрели первомайский парад, стоя на вершине ленинского мавзолея, то есть такая жутковатая присказка: «Когда тем, кто смотрят парады с ленинской могилы, придет время самим ложиться в гроб, то будут им чудненькие похороны с автокатафалками и целыми километрами лимузинов; чиновникам помельче достанутся простые катафалки, запряженные лошадьми, а скорбящие поплетутся за ними пешком; ну а если ты простой рабочий – дуй на кладбище и закапывайся сам, как знаешь».

У советских граждан, так же как и у американских негров, чувство юмора мрачноватое. Помню, после расовых забастовок в Детройте в какой-то цветной газете была карикатура: один мальчишка показывает другому охотничьи трофеи в кабинете отца. На стене висят головы лося, медведя,

льва, буйвола, оленя. И среди всех этих прелестных сокровищ – голова негра. «А этого, - говорит мальчик. – Папа добыл в Детройте!»

В мою московскую весну ходил анекдот про делегацию, посланную из Кремля в какую-то горную кавказскую деревушку где-то у черта на рогах – у них там вообще не двигалось дело с пятилеткой и ничего не работало. Московской делегации надлежало мирными методами склонить селян к социализму. И вот приезжают комиссары, селяне встречают их с распростертыми объятиями и говорят: «Напрасно вы говорите, что у нас тут ничего не работает. Пойдемте-ка на площадь!» Приводят они комиссаров на свою сельскую лужайку, а там прямо посередине возвышается старинный воинский трофей – пушка времен Крымской войны. Селяне и говорят: «Глядите, вот это – работает!» Бабах! И комиссары стертые с лица земли! А когда новость дошла до Кремля, Сталин сказал: «Этих тупых ослов и стоило ликвидировать!» Так село наградили Орденом Красного знамени.

<...>

Еще была история про москвича, который в переполненном трамвае наступил сам себе на ногу и сказал: пардон!

А из-за того, что мужчины и женщины, занятые в тяжелой промышленности, имели преимущественное право на театральные билеты, на чеховские пьесы во МХАТе попасть было почти невозможно, и среди интеллигенции ходила такая поговорка: «Только рабочим можно смотреть на то, как страдают интеллигенты».

А одна из моих любимых шуток – про писателя, который как раз в ту весну, а была она дождливая, отправился в большой универмаг купить себе пару калош. Он выбрал калоши подходящего размера и модели, затем преодолел все положенные испытания: подошел к продавцу, вырвал из книжки талон, оплатил покупку, потом вернул талон на прилавок вместе с

чеком – и тогда только ему выдали уже завернутые калоши. И когда он пришел домой, то выяснилось, что обе калоши – на левую ногу.

И писатель воскликнул: «Ничего себе мы забрали влево!»

Из книги «Большая вода»

АФРИКА

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 101-104.

На следующий же день после того, как мы покинули нью-йоркскую гавань, моряки взялись за уборку. Всю дрянь, весь мусор, который скопился в порту, сбросили в океан, и прозрачная сине-зеленая вода приняла и мусор, и помои, но не утратила своей чистоты. Это одно из многих чудес моря – то, что тысячи кораблей ежедневно испражняются в него своей трюмной водой и отбросами, а оно никогда не становится грязным.

Скоро наше судно заблестало и засветилось; медь была вычищена, палубы надраены, перегородки выкрашены. И команда тоже выглядела отдохнувшей и чистой – все наконец отоспались после ночных гулянок в нью-йоркском порту. Солнце светило ярко, дул свежий ветер, брызги были соленые и холодные, волны – белопенные, а воздух играл в легких, как тоник. И отныне целых семь месяцев, что остались нам до Африки, никто мог не бояться остаться без еды или без крова, или без работы, или без смысла жизни.

Путешествие оказалось солнечным и безбурным. Мы миновали Азоры, Канары и, наконец, добрались до Африки. До длинной песчаной береговой линии, искрящейся на солнце. Пальмы до небес. Реки пачкают кромку океана мутной водой своих глинистых дельт. Люди черны и прекрасны, как ночь. Обнаженные, острые груди женщин на рынках. Пульсирующие мускулы

мужчин, занимающихся погрузкой пальмового масла, какао-бобов и красного дерева на корабли из мира белых людей, ради которого было здесь и наше судно – увезти в этот мир сокровища Африки. Мы привозили орудия, консервы и голливудское кино. Мы увозили богатства земли, и на борт их грузили человеческие руки.

За труд мы платили очень мало. Немногим больше – за товар. Белый верховодит Африкой. Что вещами, что жизнями – всем он распоряжается, по большому счету, как пожелает. Урожай земли – для Европы и Америки. Урожай людей – для европейских колониальных армий. И африканцы сбиты с толку и смиренны. Они слушают миссионеров и гнутся в три погибели перед Господом, но еще ниже они склоняются перед торгашами с кнутами и пистолетами, которых защищают белые законы, придуманные европейцами для черных колоний.

В ту пору, в 1923-м, имя Маркуса Гарви было известно каждому встречному и поперечному по всему западноафриканскому побережью. И африканцы отнюдь не потешались над Маркусом Гарви, как многие в Нью-Йорке. Они надеялись, что все слышанное ими о нем правдиво, что он действительно мог бы объединить черный мир, освободить и возвысить Африку. Они не осознавали чудовищной сложности колониальной проблемы. Они знали только, что по Африке разгуливает белый человек и что он сидит у них на шеях, очень тяжелый и абсолютно безжалостный. И они жаждали выдворить его прочь.

– В Америке у нас почти те же самые проблемы, – говорил я африканцам. – Особенно на Юге. Я ведь тоже негр.

Но они только смеялись надо мной, трясли головами и говорили:

– Ты белый! Ты белый!

Африка была единственным местом на земле, где меня называли белым. Они глядели на мою медно-коричневую кожу и прямые черные волосы – как у моей индейской бабки, разве что чуть-чуть выющиеся, – и говорили: «Ты белый».

Один человек из племени кру, из Либерии, работавший у нас на корабле, видел много американских негров и много знал об Америке; он все мне растолковал.

– Здесь, на западном побережье, – сказал он. – Не слишком много цветных, то есть полукровок, – и эти цветные в большинстве своем приезжают сюда как миссионеры: чтобы учить нас чему-то, для них ведь как дважды два, что сами мы ничего не знаем. Или это клерки и работники колониальных администраций, которые заявляются из Вест-Индии, чтобы насаждать тут законы белых людей. Потому-то африканцы всех их зовут белыми.

– Но я-то не белый, – говорю я.

– Но и не черный, – просто ответил он. – Тут есть человек одного со мной цвета, – и он показал на буфетчика Джорджа, который принялся громко возмущаться.

– Нечего в меня тыкать, – заявил Джордж. – Я из Лексингтона, штат Кентукки. И африканской крови во мне нет, ну вот ни единой капельки.

– Ты черный, – сказал кру.

– Ну хочешь, я волосы себе расчешу на пробор, – говорит Джордж. – Это тебе не ворс негритянский чесать.

По правде говоря, Джордж выбривал себе на голове пробор еженедельно, поскольку от расчески ему в этом деле проку не было. Кру об этом прекрасно знал, так что они оба громко расхохотались, ведь физиономия у Джорджа была африканская, как сама Африка.

(Джордж, черный как уголь, всегда называл себя «коричневым», и только несколько лет спустя, когда темнокожий священник из Нью-Джерси осудил меня перед своим приходом за то, что я назвал его «черным» в газетной статье, я осознал, что американские негры вообще не выносят слово «черный». Они предпочитают называться «коричневыми» или по крайней мере «темно-коричневыми» - вне зависимости от того, насколько темна эта «коричневость» на самом деле).

В одном из маленьких африканских портов я стал свидетелем особенно поразившей меня трагедии из жизни полукровок. Я не знаю, насколько типичной была эта история, но расскажу ее, потому что она того стоит. (Потом, намного позже, она переродилась у меня в небольшой рассказ под названием «Африканское утро» - один из моих лучших, как мне кажется).

Мы были в небольшом порту в английской колонии, у самого устья реки. Когда мы встали на якорь, среди темнокожих туземцев на палубе я заметил парнишку-мулата, лет шестнадцати-семнадцати, с золотистой кожей – не коричневой и не черной. Он был одет как европеец. Когда я в компании с другими матросами отправился на берег поторговаться за фрукты и попугаев, парень заговорил с нами и поинтересовался, нет ли у нас английских газет или журналов.

Звали его Эдвард. Он превосходно говорил по-английски, и всю неделю, пока мы были там, с охотой заглядывал на корабль поболтать с нами. Однажды он пригласил меня к себе в дом, очень скромный дом, почти такой же, как все африканские лачуги, и представил своей матери, которая английского не знала. Она была молода и даже недурна собой, в этом своем африканском одеянии – цветастой тряпке, обволакивавшей тело. Она угостила меня кокосовым молоком и предложила стул, единственный в доме. Как я узнал, отец Эдварда был англичанин, руководивший банком в этом обширном форте Британской Империи. Он жил в своего рода рабочем

поселке, где располагались дома банковских и всевозможных правительственных служащих. Четыре года назад жил в этом поселке и сам Эдвард, вместе с матерью, которая работала там прислугой. Но отец его вышел в отставку и вернулся в Англию. И теперь Эдвард и его мать жили за пределами поселка. Отец устроил им небольшое пособие и время от времени присылал письма из Лондона. Но приехать в Англию мальчику и его матери он не позволял.

Эдвард сказал, что здесь ему очень одиноко. Белые из поселка не желают давать им работу, а негры недолюбливают мать за то, что она столько лет жила с белым мужчиной, так что друзей в деревне у Эдварда нет, и ему даже не с кем поговорить. Наше судно держит путь в Англию? Может быть, мы возьмем его с собой? А правда, что в Америке черные относятся к мулатам дружелюбно? А белые и к тем, и к другим – одинаково скверно? И правда ли, что белые повсюду дурно обходятся с цветными? Эдвард сказал, что отец его был вовсе не плохой человек, но теперь он вернулся в Англию и бросил их с матерью здесь одних. Что же ему делать?

Бедное дитя! Он казался таким неприкаянным, и в день, когда мы подняли якорь, стоял на пристани. Он взял у меня адрес, чтобы писать мне в Америку, и однажды, годом позже, я и впрямь получил от него письмо – но только одно, потому что не в моем обычае отвечать, когда я не знаю, что сказать.

ПАРОХОД «МАЛОН»

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 111-117.

Злосчастные миссионеры, наши пассажиры, терпели нескончаемые мучения. Они твердили, что судно небезопасно и что когда они придут в

свои порта и сойдут на берег, восторгу их не будет предела. Потом мы узнали, что они посылали в нью-йоркский офис гневные письма, в которых разоблачали развеселое и поистине преступное положение дел на борту парохода «Малон». Больше никогда в жизни они никуда не поплывут этой компанией. Некоторые даже грозились подать на компанию в суд. Другие писали своим конгрессменам.

На суше миссионеры казались симпатичными, крепкими белыми ребятами, уроженцами всяких незамысловатых айов и вермонтов, но как только дошло до дела, они и впрямь не оценили всей прелести, каковую являют собой пьяная в хлам команда, лоснящиеся от грязи палубы, буйные полуночные гульбища и ватага голых африканцев, главных наших работников, которые каждый вечер мылись на юте соленой водой из-под шланга, нисколько не смущаясь тем, что их превосходно видно со всех концов корабля. Впрочем, африканцы были чрезвычайно вежливы – не в пример иным северянам – и из почтения к миссионерам поворачивались к ним спинами и причиндалы свои прятали промеж ног, явно не догадываясь, что из-за этого они аккурат топорщатся сзади.

<...>

С капитаном у меня бесед никогда не было. Собственно, за все плавание он не обмолвился со мной ни словом, за исключением тех нескольких случаев, когда мне требовались деньги. Тогда звучал дежурный вопрос: «Сколько?»

– Один фунт, сэр, – вот и все, что я ему говорил, и так было из раза в раз.

Словом, вызывать меня к капитану не было причин: я никогда не делал ничего такого ужасного, чего не делали бы все остальные. И хотя команда была, мягко говоря, не сахар, отношения у меня со всеми были приятельские. Если не считать третьего механика.

Третий механик был из Арканзаса, в одноименном штате, - чудно, прямо как моя мексиканская учительница английского. Он был высокий, с землисто-желтым цветом лица, и отличался исключительной суровостью нрава. Его никто не любил. Филиппинцы его ненавидели. Он то и дело отпускал злобные словечки в адрес «латиносов» и «ниггеров», но есть ходил в мою столовую, так что я вынужден был лицезреть его, восседающего за столом, по три раза на дню.

Вменялось мне также кормить таможенных инспекторов, клерков грузовых компаний и прочих портовых администраторов, которых в любой гавани на борту оказывается предостаточно. Эти люди почти всегда были негры, многие из этих африканцев проходили обучение в Англии или Франции. Чаще всего - очень скромные, образованные, порядочные черные ребята. Приходя обедать, мои питомцы-чиновники частенько ко мне заглядывали. Я всегда с удовольствием их поджидал и, если они могли изъясняться по-английски, мы болтали о том о сем.

Я не сомневался, что третий механик, зная, что в мои обязанности входит кормить клерков и портовых администраторов, во время стоянок нарочно опаздывает к обеду. Как-то раз все уже собрались в столовой на обед, а я почти час прождал, пока механик явится завтракать. Потом спросил стюарда, как быть. Он говорит: «Запускай таможенников и клерков».

В тот день это были все сплошь негры, африканцы в европейском платье, четверо или пятеро, такие опрятные и любезные в этих своих белоснежных парусиновых костюмах. Они уселись за одним длинным столом, и обед был в самом разгаре, когда вломился третий механик.

– Гони отсюда этих ниггеров, – скомандовал он. – Я еще не ел.

– Можете есть с ними, если угодно, – ответил я. – Или я обслужу вас позже.

– Я не сажусь за стол с ниггерами. И тебе, ублюдок, прекрасно известно, что офицер вовсе не обязан дожидаться, пока черномазые набьют себе брюхо, – он повернулся к перепуганным африканцам. – А ну выметайтесь отсюда!

– Выметайтесь-ка лучше сами, – заявил я и потянулся за большой металлической супницей, которая стояла на раздаточном столе.

Третий механик был здоровенный малый, и голыми руками мне было с ним не сладить, так что я замахнулся супницей, полный решимости запустить ею механику в голову.

– Ах ты черномазый х**сос, я доложу о тебе капитану!

– Пошел вон, м***звон, да ты дважды м***звон, чтоб тебя! – крикнул я, не выпуская супницы из рук. И африканцы смогли спокойно закончить обед.

В тот же день я наведаясь к главному стюарду, степенному маленькому филиппинцу, и заявил, что больше не буду дожидаться третьего механика в столовой. Нет, сэр, ни при каких обстоятельствах! Но стюард, у которого своих забот был полон рот, - например, надвигающаяся на нас нехватка мяса, или матросы, которые целыми ящиками сбрасывали за борт припасы, если те были им не по нутру, или жалобы миссионеров, которые там у себя в Айове совсем к другой кормежке привыкли, или немец-капитан, который вообще знать ничего не желал, кроме кислой капусты, - стюард ответил мне с жалобным видом:

– Слушай, парень из столовой, жизнь моя не то чтобы нескончаемый праздник. А порой ну просто адово пекло! Я буду тебе очень признателен, если ты меня выручишь и будешь-таки кормить Третьего.

Итак, из симпатии к стюарду весь остаток путешествия я продолжал обслуживать третьего механика, а он во время стоянок в портах продолжал приходить так поздно, как только было можно, зная при этом, что негры все

это время дожидаются своей очереди у дверей столовой. Но вел он себя тихо и ни разу не обмолвился об истории с супницей.

ЛУНА В БУРУТУ

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 117-120.

Иногда жизнь – спелый плод, вкус которого слишком восхитителен для человека. Полная луна повисла над Буруту, и то была ночь в дельте реки Нигер.

Мы шли по тихим улочкам туземного городишки, Том Пэ, один из кру с нашего корабля, и я. Не было ни тротуаров, ни фонарей. Только широкие поросшие травой улицы, крытые соломой хижины и склонившаяся к самой земле полная луна. Темные фигуры людей с обнаженными плечами, с одними только тканевыми повязками на бедрах, босоногих, то и дело возникали рядом, и шаги были беззвучны на травянистой дороге, и голоса были мягкими, как лунный свет. В некоторых домах из-за открытых дверей мерцали очаги. Женщины, занятые готовкой, мелькали внутри. Высокие деревья манго отбрасывали на дорогу узорчатые пурпурные тени. Ветра не было. Только луна.

– Как тихо, – сказал я Пэ.

– Правда, – откликнулся он. – Но они скоро будут делать джуджу.

– Сегодня?! Где? – вскричал я. – Я хочу пойти.

Пэ затряс головой, но махнул рукой в сторону окраины городка, туда, где стеной возвышался лес.

– Христианину нет польза от джуджу, – сказал Пэ вежливо. – Танец омаи не хорошо для христианина.

– Но я хочу посмотреть, – настаивал я.

– Нет! – воскликнул Пэ. – Белый человек никогда не идти смотреть джуджу. Он навредить тебе. Он слишком страшный! Белый человек никогда не идти.

– Но я не белый, – спорил я. – Я бы...

– Но ты и не черный, – нетерпеливо возразил Пэ. Пришлось мне отказаться от затеи поглядеть на джуджу.

Мы были званы в дом торговца Нагари. Дом был чуть побольше других домов в селении. В нем было две или три небольших комнатки. Мы сидели на полу в первой из них, и из-за порога внутрь лился лунный свет. Большой зеленый попугай дремал на деревянном кольце, подвешенном к потолку.

Нагари был пожилой магометанин, весь закутанный в просторное длинное одеяние. В молодости он, должно быть, был рослым и сильным мужчиной. Было какое-то медлительное достоинство в его смуглом старом лице и гордой осанке.

Нагари позвал жену. Она вошла, красивая мулатка, намного моложе Нагари. Ее тело было облачено в одежды из дорогой ткани приглушенно-красного цвета. Она не говорила по-английски, зато улыбалась. Нагари послал ее за двумя свечами и стулом; стул она предложила мне. Потом он велел ей принести три тяжелых ларца, и она поставила их перед ним. Он раскрыл два из них и показал нам нигерийские статуэтки, выполненные в технике «битой меди». Их выковали умелые руки; женщины из дальних деревень облачили их в одежды, сшитые из шкур диких животных и мягких белых перьев, найденных в пышущих опасностью лесах буша.

Третий ларец Нагари отпер ржавым ключом. Внутри хранилось целое состояние из слоновой кости. Огромные тяжелые браслеты, какие женщины начинают носить после замужества; твердые бивни, шелковистые на ощупь и белые, как молоко; маленькие фигурки и крошечные барельефы, вырезанные с причудливым искусством, и один большой белый бивень с выточенными по кругу обезьянками и свернувшимися в кольцо змейками. Нагари не предлагал мне купить что бы то ни было из этих вещей. Казалось, ему было довольно моего удивления и восхищения. Он рассказывал мне о своих путешествиях вверх по реке в Уори и вниз – в Лагос. Он вручил мне целый ворох перьев. Когда я уходил, он распростер руки и проговорил: «Да пребудет с тобой Господь».

Когда мы покинули дом Нагари, луна уже поднялась в небе. Теперь она была не так велика, но стала еще ярче. Я никогда не видал такой яркой луны.

Мы свернули в узкий проулок, в котором было чуть более оживленно. Какие-то мужчины ходили по нему взад-вперед.

– Здесь живут девушки, – объяснил Пэ.

Ночные женщины стояли у низких дверных проемов, волосы у них были натерты маслом, а ногти подкрашены хной. В золотом свете они казались ночными цветами, отдающими луне всю свою красоту. Яркие ткани обволакивали их стройные тела; они поджидали любовников и в нерушимом молчании взирали на прохожих. Они просто тихо стояли и ждали.

На пороге одной из хижин трое белых моряков с британского судна торговались с какой-то старухой. За ее спиной, перепуганная и пристыженная, стояла маленькая девочка, про которую было сказано, что она девственница. Цена – четыре фунта. Моряки настаивали, чтобы цену снизили. У них нет таких больших денег.

Мы перешли пересохшее русло ручья. Вдалеке пели барабаны омали, танца джуджу. Их мерные звуки неслись над топами к подножию леса. В эту ночь туземцы танцевали со своими богами.

Мы повернули к докам и пошли по дороге вдоль реки. Мы видели сотни маленьких плавучих домов; при каждом имелся свой фонарь, водруженный на тонкий шест, и фонари покачивались над местами стоянки. Длинные плоские пароходы Нигера были пришвартованы на середине реки. Река спокойно катила свои волны под луной.

Мы пришли к докам, где стояли на якоре большие корабли из мира белых людей – американский корабль, бельгийское грузовое судно и английский пароход. Высокие, сумрачные, зловещие корабли, высоко выступавшие над водой.

«Люди с этих кораблей, – говорят туземцы. – Эти белые сильные люди, - они проходят за нашим пальмовым маслом и нашей слоновой костью, за эбеновым деревом и красным, они приходят покупать наших женщин и подкупать наших вождей...»

Я взобрался по веревочной лестнице на «Малон». Издалека, с самого предела ясности, от самого леса доносилось до меня пение барабанов омали, танца джуджу. Луна в вышине была подобна золотому спелому плоду, вкус которого для человека слишком сладок.

Я долго не мог уснуть.

СВОБОДУ ОБЕЗЬЯНАМ!

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 120-123.

В одном из портов Конго я купил обезьянку. Я расплатился за нее тремя шиллингами, застиранной рубашкой и парой ботинок. Но стоило мне

тронуть своего нового приятеля пальцем, как он принимался кусаться. Это была крупная рыжая обезьяна, совершенно дикая, прямиком из буша. У меня ушла прорва времени на то, чтобы его приручить, но в конце концов, многие недели спустя, кусаться он бросил. Он даже полюбил меня, и с тех пор его никогда не оставляло желание болтаться на моей шее или спать у меня на руках. Как раз в это время, несмотря на всю его привязанность, привычка кусаться вернулась; если раньше он норовил вцепиться в меня, если я брал его на руки, то теперь – стоило мне его отпустить.

В результате, когда мне приходила пора заступать на работу, а ему – возвращаться в клетку, он приходил в совершенное неистовство. Он трещал и бранился, как полоумный. Потом, когда я исчезал из поля его зрения, переходил к рыданиям. Я прозвал его Джокко и задумал дома подарить своему братишке Киту. Но теперь мне кажется, лучше б я сам изображал в Америке его ужимки – потому что здесь вышла история.

Даже на корабле – не говорю уж о суше – от мартышек были сплошные неприятности. Их у нас было штук двадцать. У каждого матроса была обезьянка или попугай, а один кочегар чуть было не купил бабуина, да только ему запретил капитан.

Мы соорудили на палубе большую клетку для обезьян и кормили их объедками со своего стола. Снеди у них было хоть отбавляй, потому что когда матросам приходился не по вкусу обед, они, вместо того чтобы выбросить еду за борт, скармливали ее обезьянам. После чего к коку-китайцу посылали Рамона, и тот грозил ему: мол, если сей же час не даст нам пожрать чего-нибудь съедобного, то не миновать ему кровавой гибели. Даже обезьянам, присовокуплялось в конце, не сгодились бы такая стряпня.

Но обезьянам все годилось: они проглатывали все подряд, от похлебки до пирожного с кремом, и прямо-таки расцветали на глазах. Наши обезьяны стали толстыми и игривыми. И все шло как по маслу, пока однажды утром,

вскоре после того, как мы покинули Африку, не начался небольшой шторм: корабль заходил ходуном и по палубе начали перекатываться волны. Одна высокая волна ударила прямо в обезьянью клетку, выбила гвозди из пазов, перевернула ее, и обезьяны высыпались наружу мечущейся, скачущей и расползающейся во все стороны толпой: они верещали среди брызги в конце концов пронеслись по всему судну от носа до кормы, как стая белок-летяг.

Кто-то взгромоздился на мачту, пребывая в твердом убеждении, что это пальма. Обезьяны помельче вступили в переговоры по радио и повисли в поднебесье, зацепившись хвостами за тонкие провода. Другие захватили салон и выдворили оттуда визжащих миссионеров, которые в этот час как раз предавались утренней молитве. Еще у каких-то макак оказались поистине доблестные сердца и они взяли штурмом капитанский кубрик, пока сам капитан занимался инспекцией книг суперкарго. Они произвели опустошительный набег на его письменный стол, развеяли по ветру важные документы, растащили карандаши и унесли с собой на верхушки мачт часть корабельных записей. Они действовали быстро и были неуловимы, как ветер.

Когда капитан их увидел, то побагровел так, что едва мог вымолвить слово. Если б на борту не было пассажиров, сказал капитан, то он пристрелил бы каждую из этих резвящихся на ветерке паршивок как собаку, к какой бы мачте, к какому бы тросу она ни прицепилась. Он пригрозил, что урежет жалованье всем владельцам обезьян. Он дал команде час на то, чтобы запихать обезьян обратно в клетку – или побросать их всех в море.

Но на то, чтобы загнать их в клетку, ушло два дня. За это время две из них потонули, а еще одна угодила в рулевой механизм, который стер ее в порошок. Другую мы нашли в ванне в миссионерской каюте, еще одну – в пустом, но еще не остывшем котле в камбузе. В итоге отловить всех все равно не удалось. Нет: они забавлялись и играли на ветерке и прыгали с мачты на мачту до тех пор, пока полностью не утолили свою жажду свободы.

И только тогда голод загнал их обратно в клетку, где славное угощение из бананов, хлеба и мясных обрезков, а еще блюдечки с липкой сгущенкой соблазнили их оседлой жизнью. Только тогда мы собрали их всех. А мой Джокко сдался одним из последних. Но в конце концов и он, ворча, прыгнул ко мне на руки и с жадностью сжевал чернослиvinу.

ДЖОККО

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 131-137.

На следующий день я отправился в зоомагазин забрать Джокко. Он был очень рад мне - затрещал и завизжал, стоило только переступить порог. Но владельцы магазина вручили мне чек на тридцать долларов! Я остолбенел. С большой учтивостью они разъяснили мне, что Джокко относится к очень редкому виду обезьян и потому нуждается в особом уходе. Ему требуется специальная диета, сказали они, из индийского риса, молока и фруктов. Когда я возразил, что на корабле он жрал все что ни попадя, они заявили, что этого просто не может быть, поскольку «все что ни попадя» никак не может прийтись по вкусу такой редкой обезьяне. Словом, они предлагали мне тридцатку. А у меня в карманах было считай совсем пусто.

Я усадил Джокко в небольшую черную сумку с парой круглых отверстий для воздуха по бокам. В сумке ему нисколько не понравилось, и всю дорогу к станции он скулил, взвизгивал и лягался. Я опасался, что проводник услышит его вопли и вышвырнет Джокко из поезда. Носильщик уже сказал мне, что обезьян перевозить можно только в клетках, а клетки у меня не было. Но в поезде все вроде бы шло гладко. Домой я должен был приехать около двух часов ночи. Я собрался было поспать сидя и из того, что Джокко помалкивал, делал вывод, что он тоже вздремнул.

Но тут приключилась беда. Явился проводник и сказал, что все пассажиры сидячего вагона в Вашингтоне должны сделать пересадку.

– Какую еще пересадку? – спросил я.

– После Вашингтона останутся только пульмановские вагоны, – говорит он. – Следующий поезд на Мак-Киспорт будет утром.

Я остолбенел уже второй раз за день. Ребята, у которых я покупал билеты в Нью-Йорке, ничего мне про это не сказали, и у меня не было денег ни на то, чтобы отвоевать себе пульмановское место, ни на то, чтобы снять номер в Вашингтоне. По правде говоря, у меня и доллара бы не наскреблось; я возвращался домой без гроша, если не считать Дузы и Джокко! Я так и слышал мамин голос: «Ты только мартышку и привез, малыш?»

Но я хотел доставить Джокко домой как можно скорее. Я боялся, что ночь, проведенная в Вашингтоне, вероятнее всего, в промозглом зале ожидания на станции, закончится для него пневмонией. Мне надо было измыслить способ добраться до Мак-Киспорта этим же поездом, в пульмановском вагоне.

Я заговорил с одним из проводников и попытался продать ему кое-какие африканские сувениры из тех, что нашлись у меня в сумке: тапочки из носорожьей шкуры или поднос из ковanej меди. Но он всем этим не соблазнился. Он не верил, что вещи настоящие, и не верил, что я в самом деле был в Африке. Он ни минуты не сомневался, что я какой-то школяр, который пытается наставить ему нос.

Через полчаса поезд прибыл в Вашингтон; сидячие вагоны отсоединили, а пульмановские подсоединили. Я выскочил на перрон и спросил у полисмeна, где находится ближайший ломбард. Расспрашивать полисмeна о ломбардах было серьезной ошибкой. Но я был так возбужден, – мне даже в голову не пришло, что он может меня арестовать. Он

внимательно оглядел меня с ног до головы, но на мне был новый костюм и, как видно, я не производил впечатления подозрительного типа. Наконец он медленно проговорил:

– Ближайший ломбард, юноша, находится в Виргинии. У нас в округе Колумбия нет ломбардов.

Итак, эта надежда рухнула! Место в пульмановском вагоне до Мак-Киспорта стоило три доллара, а у меня было восемьдесят центов. И мы с Джокко оба проголодались. Я вернулся к красным фуражкам на станции. Я разглагольствовал об Африке и вытаскивал из сумки свои медные подносы, негритянские бусы и пунцовые тапочки, но нет покупателей – нет и трех долларов. Наконец, когда оставалось всего десять минут до отправления и Джокко уже принялся елозить в сумке и канючить, меня осенило. К моему новому костюму прилагалось две пары брюк. Это был очень симпатичный костюм из голубой саржи, и вторые брюки я еще ни разу не надевал. Я достал брюки из чемодана и предложил их красным фуражкам за два с половиной доллара. И красные фуражки их купили. Даже не переложив деньги в карман, я помчался покупать пульмановское место в салон-вагон. Я успел на поезд в ту самую минуту, когда он начал отходить от платформы.

Я положил сумку с Джокко под сиденье в надежде на то, что он поутихнет и что громыхание поезда заглушит его хныканье. В эту осеннюю ночь было чертовски холодно, и я от души жалел бедного африканского зверька. Я снял пальто и укутал им сумку. Проходивший мимо проводник с подозрением принюхался, но в конце концов пробил мне билет и удалился. Я слишком много времени провел вместе с Джокко и не осознавал, что на близком расстоянии от него несет, как от целого зоопарка, – а сейчас, после того, как он провел в тесной черной сумке целый день, и того хуже. Не знаю уж, что просилось на ум проводнику всякий раз, когда он проходил мимо меня, принюхиваясь и поглядывая под сиденье. Полагаю, он думал, что запах

исходит от меня, а я делал вид, что сплю. (Но чувствовал себя не в своей тарелке).

Я был рад оказаться дома. Хотя я никогда и не бывал в Мак-Киспорте, я называл это место домом, потому что сюда переехала моя мать. Все они встречали меня на станции – мама, отчим и мой братишка Кит. Но Джокко я им не показывал до тех пор, пока мы не добрались до дома; правда, они его, уж конечно, учуяли. Я ни разу о нем не упомянул. Но дома я открыл сумку, и Джокко выпрыгнул наружу, оглушительный, как сами джунгли.

Мама издала вопль ужаса. Отчим замер в изумлении. Кит дал деру. Джокко прыгнул мне на руки, и мама посадила нас обоих под замок на всю ночь. Они боялись, что обезьяна вырвется и нападет на них.

Здоровенная рыжая обезьяна, - надо думать, тем, кто не был знаком с Джокко, он и должен был казаться свирепым чудовищем. Но брат, которому тогда было около одиннадцати, был в восторге от подарка. Джокко так прикипел к нему, что прыгал Киту на руки, прижимался к нему и мог сидеть так целый день напролет. Но стоило брату попытаться освободиться от Джокко, как тот принимался вопить, брыкаться и кусаться. В общем, стоило Джокко добираться до Кита, - брату приходилось держать его до тех самых пор, куда домой не приходил я – я освобождал его из-под ига блаженствующей обезьяны.

В воскресенье около десяти утра, когда мы с мамой уехали в Питтсбург, Кит взял мартышку с собой на прогулку. В шесть часов вечера того же дня Джокко по-прежнему сидел у него на плечах – весь день мой братишка безуспешно пытался опустить его на пол.

Мама ненавидела Джокко, и тот, зная, что она его боится, дразнился: кусал маму за юбку, прыгал у нее за спиной и дергал за завязки фартука до тех пор, пока они не распускались. Время от времени он залезал в мамину

корзинку с шитьем и набивал пасть пуговицами и наперстками. Туда же он запихивал граммофонные иголки и принимался просто забавы ради плевать ими во все стороны.

Мы снимали верхний этаж в старом деревянном доме, у ортодоксальной еврейской семьи; они жили под нами. Жена носила парик, а ее старик-муж – кипу. Дом стоял в нижнем течении мак-киспортской речки и был окружен деревьями, по которым Джокко обожал лазать теплыми осенними вечерами, когда кружились разноцветные листья и светило солнце. Однажды жена хозяина подошла поближе к дереву, на котором играл наш Джокко, и принялась смеяться, глядя на него. Вдруг Джокко свесился с ветки и вцепился пожилой еврейской леди в волосы. Она побежала со всех ног, а ее парик остался у Джокко в лапе.

Моего отчима Джокко забавлял, и он то и дело подступался к маме с просьбой его оставить. Но мы с Китом почти проиграли эту битву, когда с визитом из Топеки приехала мать самого отчима. Это была опрятная престарелая дама, жена бывшего церковного старосты, и была в ней эдакая солидность. Перед ее приездом мы укоротили веревку, которой привязывали Джокко к ножке стола в кухонном углу. Но в самый разгар суматохи, вызванной ее прибытием, ему каким-то образом удалось вырваться на свободу, и в ту самую минуту, как моя сводная бабка подошла к лестнице, чтобы подняться на наш этаж, Джокко во всем своем треске вскочил на перила над верхней ступенькой. Как громом пораженная, пожилая леди опустила сумки на пол и отказалась сделать еще хоть один шаг. Вопрос был поставлен ребром: или она, или Джокко. Пришлось нам выбирать. Ничего не оставалось, как запереть Джокко в чулане на всю ночь, а на следующий день она потребовала, чтобы – хотим мы того или нет, ей безразлично – чтобы мы соорудили клетку и держали Джокко там до тех самых пор, пока она не вернется в Канзас.

Итак, в своей борьбе с Джокко мама обрела среди домашних союзника. Но к тому времени слава его прокатилась уже по всей земле. На него приходили поглядеть одноклассники брата, все как один. Навещали Джокко и взрослые - многих из этих людей мы видели в первый раз в жизни. Никто больше не интересовался, как поживают члены нашей семьи, теперь спрашивали только: «Ну как там Джокко?»

Как-то раз субботним вечером, в день получки, отчим загорелся идеей взять Джокко в бильярдную, чтобы наши соседи-мужчины могли на него посмотреть. Выкупанный, причесанный, наряженный в вязаную кофту, Джокко забрался к отчиму на плечо, и они отправились. Произошедшее после вошло в анналы.

Отчим и Джокко прибыли в бильярдную около восьми вечера. Там толпились субботние игроки: молодые бездельники, зеваки, пьяные. Было шумно и накурено, но появление Джокко произвело настоящую сенсацию. Мужчины обступили его и принялись глазеть на разодетую в свитер рыжую обезьяну с бакенбардами. Чтобы было ловчее хвастаться зверушкой, отчим посадил Джокко на зеленое сукно, держа его при этом на длинном поводке. Но весь этот гомон, толпа, дым и крики – это было для Джокко чересчур. Он взвыл от страха и принялся бешено скакать по столу, насколько позволяла длина поводка. Толпа заревела от хохота, и вокруг бедняги Джокко стало смыкаться кольцо черных физиономий, все плотнее и плотнее, и это привело его в такой ужас, что он потерял всякий контроль над собой и принялся, прыгая по всему столу, опорожнять кишечник.

Толпа снова зашлась смехом, а вот владелец заведения был близок к тому, чтобы схлопотать апоплексический удар. Джокко вымазал омерзительной массой все сукно, и хозяин вознамерился арестовать отца, так что ему пришлось заплатить за будущий ремонт.

Из-за этой истории люди глумились над отчимом многие месяцы. А мама нет! Потому что новое бильярдное сукно обошлось отчиму в двадцать пять долларов, и мама чуть не спятила от злости.

Несколько дней спустя я вернулся в Нью-Йорк.

Через неделю мама отдала Джокко в питтсбургский зоомагазин. В первом же письме, которое я получил из дома, говорилось, что уж теперь-то он не дергает ее за завязки, эта африканская сволочь! Но мне было жаль Джокко. Это был лучший питомец за всю мою жизнь. Он обнимал меня за шею. И плакал всякий раз, когда я уходил из дома.

ИТАЛИЯ

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 186-190.

В июле, когда дела шли совсем плохо, администраторы Grand Due приняли решение закрыть кафе до сентября; по-новому все декорировать его, нанять новый персонал и поразмыслить, как им восстановить свой статус de luxe. Вечером накануне закрытия Ромео спросил меня, как я собираюсь провести время до осеннего возвращения к работе.

– Думаю, просто останусь в Париже.

– Почему бы тебе не поехать в Италию вместе со мной и Луиджи? Мы едем домой на каникулы. Сможешь остановиться у меня.

– А почем билет на поезд? – спросил я.

Оказалось, цена на билет в третий класс была совсем не велика. Я сумел отложить несколько сотен франков и потому решил ехать с ними. Я очень хотел побывать в Италии, особенно в Венеции, где, как мне доводилось читать, все улицы сплошь из воды. Луиджи был из Турина, так

что день-два мы провели там, вместе с его родителями. А потом отправились в Дезенцано, где жил Ромео.

Дезенцано – весьма древнее поселение на берегу озера Гарда; в этом краю умер д'Аннунцио. Не деревня, а сущая открытка, и озеро такое голубое, что в любой другой стране оно могло бы быть только нарисованным – никак не настоящим. Сама деревня начиналась рыбацким портом и, мягко поднимаясь по склону холма, переходила в цветущие луга, пересеченная древним акведуком, собиравшим воду с гор. На рыбацких лодках - красные паруса, и оранжевые, и коричневые паруса, плавно вздымающиеся в потоках воздуха, когда береговой ветер гонит к причалу лодки с их серебристым уловом.

Девушки были темноволосы и очень хороши собой. У Ромео оказалась хорошенькая подружка; она жила рядом с портом и имела от него ребенка. Но мать Ромео, аристократка, жила на самой вершине холма в просторном, старинном каменном доме на мощеной площади, напротив церкви и неподалеку от единственного в городе кинотеатра, где кино показывали только по воскресеньям, после того как пропоют «Ангел Господень».

Мы приехали в воскресенье вечером, как раз когда вся деревня отправилась в кино. У Ромео дома никого не было, и ключей у него не оказалось, так что мы оставили багаж у дверей и тоже пошли в кино. Это был один из тех кинотеатров, где экран располагается рядом с дверью, так что входя, вы видите лица зрителей. Когда мы вошли, прожекторы были выключены: пленку как раз меняли. Внутри было полно людей, но стоило нам войти, как вся толпа повскакивала на ноги и ринулась к дверям. Скоро нас окружила кричащая, толкающаяся людская масса. Я не понимал, что они говорят, ведь они, само собой, говорили по-итальянски, а я не знаю итальянского. Нас с Ромео вынесло на улицу, и вокруг столпились охваченные любопытством мужчины, женщины и дети, правда, настроенные

вполне дружелюбно. Наконец, мать Ромео пробилась к нему через толпу и обхватила сына за шею. Я решил, что все жители деревни - друзья Ромео; но почему вдруг они висли у меня на рукаве и трясли меня за руку, почему целая ватага мужчин и мальчишек тянула и толкала меня во все стороны, покуда наконец мы не очутились посреди винного погреба и передо мной не выставили дюжину здоровенных бокалов с вином – все это мне было совершенно невдомек.

Позже вечером Ромео объяснил мне, что в Дезенцано, насколько ему известно, никогда не бывало негров, так что нечего удивляться тому, что каждому хотелось посмотреть на меня поближе, прикоснуться ко мне и угостить бокалом *vino nero* – «черного вина». Ромео сказал, что все они и впрямь его друзья, но едва ли целый кинотеатр высыпал бы на улицу во время замены катушки, если бы с ним не было меня, негра. Они бы вполне удовольствовались тем, что прокричали бы приветствия прямо с кресел, за исключением, конечно, его закадычных друзей – те бы не преминули броситься вниз по проходу, заключить его в объятия и пару раз ласково хлопнуть по спине.

Целую неделю я был городской достопримечательностью и общим гостем. Выяснилось, что самый темнокожий человек, которого когда бы то ни было видели в Дезенцано – ист-индиец, который был здесь проездом много лет назад. Впрочем, любопытство было доброжелательным, а гостеприимство – бесхитростным и исполненным благодушия.

Мужчины брали меня с собой в местные портовые кабаки и потчевали вином, или на танцы под луной на песчаном берегу озера, или на пикники в древних оливковых рощах, где имел обыкновение прогуливаться Вергилий. Мальчишки охотно одалживали мне велосипеды, и я катался под ярким солнцем по мощеной холмистой дороге, которая вела к другим деревням, рассыпанным по всему берегу.

Мать Ромео готовила для сына и для меня лучшие пасты, минестроне и блюда из дичи. Словом, я восхитительно проводил время в этой деревне-открытке на слишком-голубом-чтобы-это-было-наяву озере. Скоро я совсем позабыл, что мне стоило бы вернуться в Париж и присмотреть себе другую работу – или жить надеждой на то, что Grand Duck откроется раньше, чем у меня закончатся франки.

Однажды я получил записку от доктора Алена Локка; он писал, что приедет в Италию на две недели, прежде чем отплыть в Америку к началу учебного года в Говардском университете. Коль скоро он не раз слышал, как я мечтаю увидеть Венецию, он с удовольствием будет моим проводником по тамошним музеям и покажет мне Тициана и Тинторетто. И я решил отправиться в Венецию и поглядеть на улицы из воды. По пути туда я заночевал в Вероне, где видел амфитеатр и «письма», которые туристы опускали в почтовый ящик рядом с гробницей Джульетты.

Венеция, риальто, Дворей дожей, Мост вздохов и голуби Сан-Марко – все это оказалось точь-в-точь таким, как мне грезилось. В тот вечер, когда я приехал, в Пьяцца Сан-Марко был джазовый концерт и фейерверки, и кто-то из джаз-бэнда так упоительно играл на трубе, и звучание ее ласкало слух, как человеческий голос.

Доктор Локк знал Венецию наизусть, как книгу. Он знал, кто написал все эти картины, кто построил все эти древние здания, и где умер Вагнер. Знал он также, в каких ресторанах готовят лучше всего, и был так любезен, что пригласил меня вместе отужинать.

Но еще прежде, чем неделя подошла к концу, я несколько утомился от дворцов и храмов, и знаменитых полотен, и английских туристов. Мне стало интересно: неужели здесь нет ни бедняков, ни трущоб, - ничего, что было бы похоже на кварталы за рынками на Видлэнд-авеню в Кливленде, где живут американские итальянцы. Так что пару раз я выходил на прогулку сам по

себе и бродил по районам, о которых помалкивают путеводители. Так я узнал, что в Венеции множество бедняков и множество неприглядных закоулков - и каналов, слишком грязных, чтобы быть живописными.

Доктор Локк сказал мне, что замечательный негритянский поэт, Клод Маккей, живет в это самое время в Тулоне на Ривьере. Его стихи мне чрезвычайно нравились, так что мне захотелось повидаться с ним и поговорить о поэзии и о России, где он жил вскоре после Революции. Поэтому я послал Клоду Маккею карточку и записку, что возвращаюсь в Париж через Ривьеру и ради встречи с ним сделаю там остановку.

На обратном пути – ехали через всю Италию в переполненном вагоне третьего класса - я заснул. Деньги и паспорт я запихнул поглубже во внутренний карман пальто и приколот булавкой – так бабушка наставляла меня хранить ценные вещи, когда сажала меня, еще мальчика, на поезд в Лоуренсе – я ехал навестить маму в Топеку или в Канзас-Сити. Так что во время путешествий я всегда держал под рукой спасительную булавку. Словом, я ехал в поезде и погрузился в глубокий, беспробудный сон. А когда проснулся, и заветная булавка, и паспорт, и деньги исчезли! Кто-то оторвал у меня карман.

БРОДЯГА

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 190-197.

После ограбления у меня осталось всего несколько лир – они уцелели, потому что лежали в кармане брюк. Я сошел с поезда в Генуе. Без паспорта и без единого гроша я не мог вернуться во Францию. А потому отправился в американское консульство. Консул был очень мил, пребывал в самом безоблачном настроении и сказал, что сделать для меня ничего не может, разве что, коль скоро я моряк, запишет меня на корабль: вот и заработаю на

дорогу домой – если только меня пожелают нанять. В американском консульстве не располагают средствами, чтобы помогать оказавшимся на мели американцам.

– Хорошего дня! – попрощался он со мной.

Тогда я пошел в Альберго Популаре – городскую ночлежку – и за две лиры в ночь заполучил себе койку. Это было большое современное здание, в несколько этажей, с чистыми комнатами с проволочными перегородками, и каждая кровать значилась под своим номером. Правила здесь были установлены самые удивительные. Если денег у тебя вообще нет, то тебе дозволяется оставаться тут десять дней и ночевать на койке. Если по истечении этого срока ни денег, ни пристанища у тебя по-прежнему нет, то можно спать еще десять ночей, но только уже на цементном полу в подвале. А уж только после этого полагается платить те самые две лиры в ночь - или выметаться на все четыре стороны. Мне выметаться не пришлось, потому что я нашел подработку и раз в несколько дней подменял одного моряка, когда тому хотелось хорошенько покутить на берегу.

Одна беда была с Альберго Популаре – там нельзя было находиться в дневное время. Ночлежка открывалась в четыре пополудни для регистрации, и спать можно было до семи утра. Таким образом, проводя большую часть времени на берегу, я ежедневно насквозь пропитывался свежим воздухом, дождем и солнечным светом. Я заделался бродягой с генуэзского пляжа – моряком без лодки и без мало-мальски надежного источника дохода.

Время от времени меня одолевал голод и большую часть времени – чертовская тревога. Я подумывал рвануть автостопом до Турина или в Дезенцано, но не сомневался, что Ромео и Луиджи уже вернулись в Париж. И даже если нет, они уже были ко мне так добры, что было бы неблагодарностью с моей стороны ожидать от них или от их семей, что они продолжают печься обо мне и дальше. Да и как они могли помочь мне

получить новый паспорт, если для этого требовалось десять долларов, море времени и целый ворох документов?

Я думал: вот найду работу и тогда смогу на какое-то время остаться в Италии. Но в Генуе работы не хватало даже итальянцам, не говоря уж обо мне, и к тому же я никого здесь не знал. Единственным знакомым мне именем, связанным с Италией, было имя Гордона Крега, о котором я читал, что он живет и работает во Флоренции. Разумеется, мне безумно хотелось увидеть Флоренцию, так что я подумал – может, мне дойти дотуда пешком и предложить Гордону Крегу свои услуги, например, в качестве повара – вдруг он любит цыпленка по-мэрилендски, которого меня научил готовить Брюс. Но на той же неделе, когда мне пришла в голову эта идея, в Генуе начало лить как из ведра, так что никуда я пешком не пошел.

Тем временем у меня были все шансы помереть с голоду. В Генуе я был такой голодный, как больше никогда за всю свою жизнь (хуже было только много лет спустя в Мадриде, во время Мировой войны). Иногда я был голоден до такой степени, что мог остановиться возле витрины булочной или продовольственного магазина и пуститься в размышления, как бы мне стащить что-нибудь поесть и не угодить при этом за решетку. Но на воровство не достало у меня ни наглости, ни нужды: всякий раз, когда становилось совсем невтерпеж, что-нибудь да подворачивалось, и в конце концов с голоду я не помер. Прежде всего, мне посчастливилось найти эту дурацкую работу в порту, а во-вторых, вскоре я познакомился и свел дружбу с компанией находчивых парней, которые за свою жизнь успели пообретаться на пляжах очень многих стран и знали, как разжиться аж несколькими лирами в день.

В ту осень в генуэзской гавани нас было с полдюжины – тех, кто говорил по-английски: два белых американца и я, один шотландец, один британец или что-то вроде, и один гигантский вест-индский негр,

высоченный и широченный, и притом кромешно черный. Парень из Вест-Индии представлялся боксером и зарабатывал по меньшей мере несколько лир, позволяя итальянским бойцам, гораздо мельче и слабее, чем он сам, мутузить себя под рев толпы, славящей доблестную Италию. Не сомневаюсь, что он сейчас настоящий богач, этот негр; быть может, теперь он называется эфиопом и по-прежнему собирает все шишки.

Мы, остальные, не имели возможности выдавать себя за кого бы то ни было, кроме как за обыкновенных проходимцев, каковыми мы и являлись. Но был среди нас один техасец, обладавший недюжинной премудростью в теории и практике бродяжничества. Завидев компанию туристов, американцев или англичан, он бухался на скамейку на набережной с видом самого разнесчастливого смертного под луной. Глаза его наполнялись слезами, рот раззявливался. Туристы останавливались полюбоваться панорамой генуэзской гавани, а он тем временем внимательно прислушивался к их голосам и выговору. И вот стоило туристам пройти мимо техасца Кенни, как он вскакивал с места и, задыхаясь, припускал за ними с криками:

– Вы случаем не из Вермонта?

Или из Канзаса? Или из Уэльса? Или из Австралии? Или еще откуда-нибудь – откуда, он догадывался по выговору. И очень часто попадал в самую точку. У него была поистине чудесная способность различать всяческие акценты, не говоря уж о том, каким великим актерским даром наградила его природа.

Если они отвечали «да», Кенни говорил:

– И я тоже. Сам из Новой Англии. И вы только взгляните на меня, ребята! Парень из Вермонта, без гроша, здесь, в этой Богом забытой стране макаронников! И хоть бы один корабль отплывал в наши края!

Иногда туристы давали ему столько, что потом мы могли безбедно жить целую неделю.

Шотландец в нашей труппе разыгрывал почти столь же блистательный трюк. Почти – потому что на его счет, наверное, люди все-таки иногда начинали подозревать неладное. Когда шел дождь, шотландец снимал пальто и отдавал его на хранение мне или кому-нибудь еще. Затем он выискивал компанию туристов, спешащих где-нибудь укрыться, и во имя белого человека, очутившегося в темной стране накануне зимы, просил дать ему денег на покупку поношенного плаща или хоть чего-нибудь, что защитило бы его от пронизывающего мистраля.

А если день наоборот был солнечный, то при приближении туристов шотландец снимал ботинки и прятал их в тени дерева или под брошенной кем-нибудь газетой. И пускался в уверения, что кто-то стащил у него ботинки, пока он спал на скамейке, прямо с ног снял; теперь итальянцы потешаются над ним, а вот англичане или американцы – люди, у которых порядочность в крови – уж конечно, помогут ему купить новую пару. Жертвы, как правило, так и поступали, и иногда дело доходило даже до полукроны или чека на доллар.

Унизительное, раболепное попрошайничество было ниже их достоинства, - что Кенни, что шотландца. Они всегда разыгрывали спектакль. И ни один из этих парней, насколько я знаю, не пытался промышлять воровством. Говорят, итальянские полицейские склонны к душевной чуткости еще меньше, чем любые другие.

Кое-кто из бродяг обхаживал грудастых торговок или портовых буфетчиц. Один из американцев жил с проституткой, на которую потратил весь свой заработок в ту самую ночь, когда корабль снялся с места раньше времени, - и, получается, товарищи бросили этого американца в ее постели

совсем одного. Теперь девица отплачивала ему тем, что предоставляла место, где поспать и поесть.

Мы вшестером разношерстной шайкой слонялись по берегу дни напролет. И что бы нам ни перепадало, мы все делили поровну. Но когда дело шло к закату, все разбрелись кто куда. Иные не оставляли попыток пробраться на какое-нибудь судно и поужинать с командой. Громадина-негр подыскивал какое-нибудь итальянское кафе или кабачок для фермеров, где случайный крестьянин угощал его ужином просто за возможность на него потарашиться и подергать за мочалку на голове.

Я же обычно ел спагетти с соусом и спагетти с маслом, спагетти с морепродуктами и спагетти с томатной пастой, или спагетти с чем угодно еще, что там добавляют в спагетти итальянцы, или просто спагетти без всего, в маленьком ресторанчике с видом на море, где одна дымящаяся, полная пасты тарелка, стоила очень недорого, - с булочкой и бутылкой красного вина впридачу. А потом отправлялся в свою ночлежку и заваливался спать.

Но как-то вечером меня пронзила сводящая с ума мечта о куске мяса. Я умирал от желания съесть хоть один сытный, плотный, жесткий, ничем даже отдаленно не напоминающий спагетти кусок мяса. Я не ел мяса с тех пор, как много недель назад уехал из Венеции. (Да, далековато меня теперь занесло от тамошних музеев). Итак, я просмотрел список мясных блюд в меню и не смог прочесть ни единого слова. Я не знал, что означают итальянские слова, но знал: это мясо! Так что я ткнул пальцем в слово, рядом с которым значилась цена 3 лиры, и кивнул официантке.

Пожалуйста, поскорей! Мясо! Наконец-то мясо! Мой рот наполнился слюной.

Когда блюдо явилось, я почувствовал его запах еще издали. Это была печенка. Да еще какая! В маленьких итальянских ресторанах не бывает

морозильных камер. Это означает, что итальянцы имеют обыкновение есть мясо, уже когда оно достигнет преклонного возраста и обзаведется душком. Во всяком случае, у этого конкретного куска печени возраст был самый что ни на есть преклонный. Более чем. Но я был голоден, и я не знал ни как попросить что-нибудь другое, ни как потребовать назад деньги, ни как закатить скандал; я не мог позволить себе остаться без ужина и просадить вникуда свои три лиры тоже не мог – короче говоря, я съел эту печенку, каждый ее трепыхающийся кусочек, и смыл в желудок красным вином. А потом пошел в ночлежку спать.

В ту ночь в Генуе было землетрясение. Город ходил ходуном, и все высыпали на улицы. Альберго Популаре оглашался криками. Вопли повскакивавших с кроватей мужчин, натягивающих на себя одежду, разбудили меня, и я почувствовал, что здание трясет. Но я проснулся больным! И чем сильнее раскачивалась ночлежка, тем хуже мне становилось. И дело было не в землетрясении, не в страхе. Дело было в печенке! Я ощущал во рту ее вкус, и это был вкус тысячелетней древности. Я чувствовал, как она варится в моем желудке. Я ощущал в своем дыхании вонь ее более чем сомнительной свежести.

Какой-то немец из тех, что разъезжают по всей Европе на школьных автобусах с узелками на плечах, подошел к моей раскладушке и уставился на распластанного меня. Он потряс меня за плечо и говорит:

– Фставай! Земля провалифается фниз!

Я говорю:

– Пускай проваливается куда угодно! Я тут помираю.

Тогда немец вместе со всеми выскочил наружу и оставил меня в покое.

Меня действительно мало заботило, что происходит с землей, потому что я был уверен, что в любом случае умру. Но долго землетрясение не продлилось. В скором времени все вернулись и разлеглись по койкам. А я лежал больной еще два дня, и по утрам, когда нас выставляли из Альберго Популаре, едва мог доползти до скамейки в парке.

В этом-то парке я написал статью о своей поездке в Африку и послал ее в «Кризис» с просьбой заплатить мне за нее 20 долларов; я пояснил, что оказался в Италии без средств и живу впроголодь, но постараюсь не дать дуба до тех пор, пока не придут деньги. Еще ни разу не было такого, чтобы я просил «Кризис» за что бы то ни было мне заплатить – я на такое даже никогда и не рассчитывал. Теперь же я отчаянно надеялся, что статья им понравится.

Беда не приходит одна. Спустя несколько дней после моего выздоровления на нашу портовую шестерку напали чернорубашечники: дело было в том, что они увидели, как неподалеку от гавани мы хохочем над клоуном на цирковой афише. Фашисты возомнили, что мы потешаемся над наклеенным рядом посланием Муссолини.

Через пару дней после этого меня наняли покрасить полуразвалившийся баркас, стоявший на якоре поодаль от пристаней, на глубине. Хозяева хотели, чтоб я покрасил борта под кормой – задача, которая требует сноровки в обращении с малярным помостом. Я понятия не имел, как поднимать или опускать малярный помост, и плавать не умел тоже. Но какой-то добряк-матрос опустил для меня помост и подвязал тросы. Так я висел битый день над водой, не двигаясь с места, и красил одни и те же шесть футов кормы, не смея ни подняться, ни опуститься: я боялся, что при малейшем движении и доска, и банка с краской, и я сам немедленно рухнем в море.

Скоро я утомился от Генуи вконец – мне очень хотелось убраться оттуда подальше. Но американский расовый барьер даже здесь растянул головоломные сети предрассудков. За те недели, что я провел в порту, в гавань заходило несколько американских кораблей, и белые ребята нанимались на них один за другим. Но негра в команду брать никак не хотели. Мне следовало дождаться корабля со смешанной командой или с цветными стюардами и только там попытаться счастья. Наконец такое судно явилось, и капитан согласился взять меня без жалованья – платой за работу должно было стать возвращение в Нью-Йорк. Боцман велел мне обстругивать и красить доски вместе с другими матросами.

Я рад был распрощаться с Генуей.

ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД

Перевод выполнен по изданию: Hughes L. The Big Sea. – New York: Hill and Wang, 1993. P. 197-201.

Мы поплыли в Ливорно, а оттуда в Неаполь. В пыльном старом неапольском музее я видел грубые сокровища Помпеи, но побывать в самой Помпее не успел. На обратном пути мы проплывали мимо Капри, и мне вспомнился бунинский «Господин из Сан-Франциско». Мы побывали на Липарских островах, искрящихся на алмазном солнце белизной и лиловой пылью, бесплодных и наводящих ужас (говорили, тогда там располагалась тюрьма Муссолини).

В Катании на одной из рыночных площадей мы стали свидетелями удивительного побоища. Мы так поняли, что то была семейная междоусобица, - с каждой из воюющих сторон сражались и мужчины, и женщины, и дети. Летели камни, сверкали ножи, и мы решили поискать другую дорогу в кабак.

Обогнув Сицилию, мы прибыли в Палермо, и там я видел мозаики Ламартораны. Затем мы устремились в Испанию по танцующему Средиземному морю.

В Валенсии капитан позволил команде раскошелиться, и все отправились на берег. Поскольку я отработывал свой проезд, у меня не было ни пенни, но на борту оказался один цветной парень по кличке Борода, - он предложил мне составить ему компанию и вместе посмотреть город. От порта мы поехали на трамвае, и я во все глаза глядел в окно сквозь сгущающиеся сумерки – боялся что-нибудь пропустить. «Валенсийские рассказы» Бласко Ибаньеса пришли мне на ум, и я, должно быть, искал взглядом его маленькую цветочницу.

Борода хотел поглядеть представление в городском саду, где щелкали кастаньеты и весело пели гитарные струны. Мы пошли туда и пили сладкое желтое вино, пока девушки в сверкающих бисером платьях и красных юбках чеканно стучали каблучками, кружились и вскрикивали, покачивая бедрами в такт гитарному перезвону.

Старый испанец в черном костюме подошел к нашему столику и спросил, не желают ли джентльмены выпить вина в таком месте, где толпы нет, а девушек сколько угодно. Мы последовали за ним. Неторопливо шли мы по узким петляющим улицам Валенсии, под высокими арками, проходили мимо высоких решетчатых ворот, за которыми виднелись цветущие патио, укрытые серебряными тенями луны.

Звон колокольчика возвестил полночь. Я сказал:

– Может, нам лучше двинуться обратно на корабль?

– *Ya no hay tranvias*, – проговорил старик.

Трамваи уже не ходят! До порта было несколько миль. Борода говорит:

– Если сейчас заночуем у девиц, утром встанем пораньше и поедем.

– О'кей, – говорю я.

Но мы не встали пораньше. В доме, где мы остались на ночь, в девять утра все еще спали. Наконец явилась мадам и постучала в нашу дверь: «Ку-ку! Поднимайтесь, морячки! Уже поздно».

«Уже поздно» – это не то слово! Для моряков, которым надо возвращаться на корабль, было дьявольски поздно! Девушки напоили нас черным кофе и в глубокой встревоженности проводили до дверей, таратора указания. До трамвая пришлось тащиться целую вечность. Потом мы никак не могли понять, на какой садиться, и в конце концов решили дойти пешком до центра. Мы выпили густого шоколаду с булочками в кофейне напротив цветочного рынка, и зачерпывая тяжелой ложкой свой густой, как каша, шоколад, я продолжал думать об ибанесовской истории про маленькую цветочницу.

Борода говорит – теперь уже спешить нет смысла. Ему и так урежут жалованье. А что до меня, так мне ничего не урежут, потому что мне ничего и не платят. Так что на корабль мы вернулись около полудня, и то только чтоб поесть. Но момент для возвращения мы выбрали на редкость неудачный.

Наше судно стояло на якоре в открытом море, в нескольких сотнях ярдов от причала, и на него шла погрузка с посыльных барж. Нам надо было заплатить, чтобы нас переправили на корабль на шлюпке. Лодочник уже собирался стащить ее на воду, как с пирса крикнули: «Эй! Минутку! У нас тут еще пассажир». Мы обернулись, и кто бы вы думали шел по причалу, если не сам капитан?

Старик шагнул, скорее нетвердо, в лодку, протянул лодочнику свой песето, а потом поднял глаза и прямо перед собой увидел нас! Он принялся

осыпать нас проклятьями. Старик, уж конечно, тоже всю ночь прошлялся, но ведь это его привилегия! Он капитан. А мы – столовский уборщик и парень, отрабатывающий проезд, и впридачу к тому оба цветные. Поток брани не иссякал.

Когда лодочник оттолкнулся от берега, капитан назвал Бороду всеми возможными и невозможными оскорбительными словами и пригрозил, что за возвращение на корабль в такой час урежет ему жалованье настолько, насколько вообще позволяет закон. А что до меня... тут он приказал лодочнику поворачивать обратно. «К берегу! Поворачивай! Возвращаемся!» Но лодочник не понимал по-английски, или делал вид, что не понимает, и капитан снова обернулся ко мне. Он заявил, что высадит меня на берег со всем моим барахлом и оставит в Испании без гроша, раз уж я предпочел – добавил он саркастически, - прелести Валенсии своей службе на судне. Меня он тоже назвал всеми теми же словами и выразил готовность заковать в кандалы и запереть в трюме.

(Кстати, при всей своей невоздержанности на язык старик ни единым словом не обмолвился о нашей расе. Мне он из-за этого потом стал чуть ли не симпатичен).

Но я ничего ему не ответил: месяцы, проведенные в Мексике, научили меня тому, что перед лицом гнева лучше всего молчать. (А еще лучше – испариться! Провалиться сквозь землю, пропасть как не бывало). Только вот пропадать было некуда, лодка ведь находилась посреди Валенсийской гавани – разве что прыгнуть в воду, но плавать-то я не умею. Так что мы с Бородой так и сидели, уставившись на капитановы ноги, прочно упирающиеся в дно лодки. Мы сидели и слушали. Это была самая неудобная лодка из всех, на которых я плавал.

На борту капитан дал указание своему помощнику больше не отпускать нас двоих на берег до самого Нью-Йорка. Там-то, сказал он, мы

сможем выйти на берег и остаться на этом самом берегу на веки вечные! И он с новой силой принялся крыть нас по матери.

Через несколько дней мы спустились вдоль испанского побережья к чудесным пляжам Аликонте: белый город возвышался у самой воды, вдоль которой выстроились длинные ряды пальм. У второго кока еще остались кое-какие деньги, и он предложил нам с Бородой сплавать на берег. Мы дождались, чтобы старика не было поблизости, и поехали. Мы шикарно провели время в Аликонте, но на этот раз вернулись на корабль задолго до заката.

Когда мы проплывали по Гибралтару, мне было видно только огни – стояла темная безлунная ночь. Я был так близко к Африке – и сочинил стихи об Англии, что всматривается в лик темного континента, - но потерял листок с записью, и оно так никогда и не было опубликовано, мое стихотворение о Гибралтаре.

Во время перехода через Атлантику я постирал помощнику капитана рубашку, и он дал мне за это двадцать пять центов. Давненько я не видал американских денег! Рано утром 24-го ноября мы пришвартовались на оконечности острова Манхэттен, и я взял из этих денег пять центов и на метро поехал в Гарлем.

Десять месяцев назад я отправился в Париж с семью долларами в кармане. Я побывал во Франции, в Италии и Испании. И после этого средиземноморского гранд-тура вернулся домой с двадцатью пятью центами. Выходило, что моя первая европейская поездка обошлась мне в шесть долларов семьдесят пять центов!

В Гарлеме я купил пачку сигарет, и у меня еще остался целый пятицентовик.

Джон Дос Пассос

Из книги «Во всех краях»

СТРАНА ВЕЛИКИХ ВУЛКАНОВ

Перевод выполнен по изданию: Dos Passos J. In All Countries. - New York: Harcourt, Brace and co., 1934. P. 75-81.

Вот они, Орисаба, Попокатепетль и Истаксиуатль, три высоких вулкана, в ночи белые, на закате розовые, поддерживают ломкую синеву безбурного неба. Один только Попокатепетль затягивается своей вечной сигарой и, стряхивая пепел, грязнит серостью снег на своих отвесных склонах. К северу от вулканов раскидываются заключенные в кольцо равнины, усеянные, сколько хватает взгляда, шахматной россыпью агав – это высокогорная долина Анауак, сердце Мексики.

Под хрупким холодным небом ли, под неизменным солнцем – Мехико раскидывает сети своих улиц, зеленых утопающих в цветении скверов, низеньких сводов из красного кирпича и покосившихся то так, то эдак башен грязноватых колониальных зданий. На улицах – старики в очках, юные девушки, старухи в шالях, босоногие дети, продающие лотерейные билеты, засахаренные кактусы и бататы, жвачку чиклетс, сигареты, лотерейные билеты, жвачку, билеты, жвачку. Лавочники – гальего, каталонцы, евреи, немцы, французы, - качают головами над утренними газетами. Для деловых людей время никудышное: упадок и застой. В кондитерской Санборна, в аптеке, в универмаге – этой цитадели всей Янкиландии – американские путешественники беседуют о том, как из рук вон плохи дела: что ни день, пугают друг друга новыми революциями, а под конец неизменно прикладывают к своим ушибленным надеждам целебный бальзам: «ну в конце-то концов мы возьмем это дело в свои руки».

Журналисты выпивают в баре Реджиса и толкуют о могуществе Эндрю Меллона, время от времени фыркая – нет-нет и засвербят в носу сера и дым, которыми брызжет американское посольство в сторону всего мексиканского, от тако и до трудового кодекса.

По улице шаркает индеец в стертых сандалиях – держатся на честном слове, - безмолвный незапоминающийся человек в белесых лохмотьях, сгорбившийся под своей ношей – ящиком, который крепится к специальному ремню, охватывающему голову носильщика. Он идет, уставившись себе под ноги, он не произносит ни слова. Политиканы всех цветов кожи проезжают мимо на розовых лимузинах, пурпурных родстерах, скоростных авто с монограммами.

«В Мексике мрут не столько от пуль, сколько от забот», – сказал мне кто-то.

Гляньте на карту – вы увидите, как воронка Северной Америки засасывает Мексику своим носиком; как навалилась на нее Янкиландия всем весом, подмяла под себя. Как у По с колодцем и маятником: нажим с севера все растет, растет. И молчаливый шаркающий индеец сгибается все ниже под тяжестью многовековой эксплуатации.

«Мексика – это пирамида, – сказали мне. – Пирамида, по которой молотят сваебойной машиной. Вершина пирамиды – Кальес, он достаточно крепок, чтобы выдержать любой удар, но под ним – политики и генералы, кто-то работает, кто-то пустословит, извивающееся месиво. А вот ниже кладка снова прочная: это больше миллиона организованных рабочих, Мексиканская региональная рабочая конфедерация, МРРК. И в самом низу – батрак, уставившийся себе под ноги».

Открытые церкви. До сих пор можно видеть, как крестьяне, презрев боль, на коленях волочатся к Святой Марии Спасительнице через весь храм.

В Гуадалупе-Идальго какой-то мальчишка увидел Лик на стволе дерева, и улицу смогла расчистить только вызванная кем-то пожарная охрана. В потайных комнатках верующим за колоссальные деньги незаконно скармливают всякие таинства и мессы. В холмах, что окружают долину, полно весельчаков, готовых ограбить вас и перерезать вам горло с гимном «Славься Царь Христос» на устах. Говорят, колонские кабальеро платят им по два с половиной песо в день, да еще они могут забирать всю скотину, какую отнимут у крестьян. Повсюду во имя распятия и кубышки для пожертвований восстают Спасители. Был такой маркиз Пиньятелли, последний потомок Кортеса, фашист и любитель дуэлей; поговаривали, будто он в Оахаке кинул боевой клич Ave Maria Purissima, правда, потом выяснилось, что он уехал в Никарагуа, и за ним при этом тянулся длинный хвост поддельных чеков. Или еще неукротимый Архиепископ Гвадалахарский, который, говорят, скрывается в делях Халиско. Или некто Капистран Гарса, подлинный титан божьей доблести, - попрошайничает у американских капиталистов и Рыцарей Колумба и расклеивает агитки по каким-то тexasским захолустьям... <...>

Десять миллионов мексиканских крестьян и рабочих, разобщенных, сбитых с толку гвалтом политиков, спят на полу на соломенных циновках, съедают за день тортилью-другую и ложку чили, чтобы заглушить привкус сырой кукурузы, - они там, на своих полях, пытаются выстоять против католической церкви, против двух одержимых нефтью шаек, на которые раскололся мир, против кровавого колосса Севера, чья сокрушительная долларовая мощь просто не поддается воображению.

Так на чьей же ты стороне – на стороне доллара, этого всемогущего божества, или на стороне молчаливого смуглого человека (у него вши; он пьет слишком много пультке, когда удастся его раздобыть; в любой момент его может ни с того ни с сего свести судорогой свирепой жестокости) – этого Иоанна Безземельного, уставившегося себе под ноги?

Солнце жарко и бело ложится на запыленный рынок, на небольшие квадратные навесы, в голубой тени которых индианки, одутловатые, словно гранитные идолы, сидят на корточках перед небольшими горками перца, или апельсинов, или луковиц. От куска свинины, что, потрескивая, варится в огромном котле на пороге столовой, идет тяжелый запах жира. На этот кисловато-невзрачный неприятный запах накладывается доносящийся изнутри голос старика, поющего под гитару. Он поет корридо «Призрак Сапаты». Когда люди слышат название песни, прекращаются все разговоры. На коричневых лицах, на желтых лицах под огромными соломенными шляпами, сдвинутыми на затылок, не дрогнет ни единый мускул. Это Морелос, вотчина Сапаты.

Это Яутепек; синие, белые и розовые, облепленные лиловыми пятнами улицы блуждают среди лоснящихся горбатых мангровых деревьев. Большие дома или сожжены, или превращаются в руины. Овец держат в залах старинных асьенд, куры и индюки сторожко шныряют по плитам заброшенных дворов, в конторах, где раньше сидели надзиратели и подсчитывали, сколько батраки задолжали землевладельцам, обосновались утки. На площади, где все прогуливаются вечерами, не увидишь заграничного платья: мужчины в белых хлопковых костюмах, похожих на пижамы, и широкополые веревочные шляпы, девушки – темные шали и пышные юбки.

Как-то раз днем я поднялся на холм. У подножия креста сидели двое мужчин. Мы вместе курили и смотрели на равнину и на огромную гряду красноватых зубчатых вершин на той ее стороне, особенно высоких на северо-востоке, у курящегося темного пика Попокатепетля. Толстяк указал мне на церкви и брошенные сахарные заводы.

– Видите, сеньор, – сказал он. – Там, где квадрат зеленый – значит, посадили тростник, а где бурый – там, значит, нет. А по старым временам все было сплошь зеленое. Взгляните на эти амбары, на мельницы, где мололи тростник. У нас их тут было восемнадцать, да еще несколько сахарных заводов. А теперь все простаивают. Рабочих у нас нет, чтобы столкнуть это дело с мертвой точки. Станки все заржавели. Но тогда всей страной ворочали одиннадцать человек, почти сплошь испанцы, гачупины, ну может только один или двое гринго...

– И что, разве без них вам не лучше?

– *Quien sabe, senor?* /Кто знает, сеньор?/

Беседовавший со мной толстяк носил потрепанный костюм цвета хаки и пушистые усы с меланхолично свисавшими кончиками. Обращался он главным образом к своему приятелю, жилистому индейцу с кожей медно-красного оттенка и редкими черточками усов в уголках рта; тот сидел на корточках, улыбался и ничего не говорил. Толстяк был пожелтее и ораторствовал с удовольствием.

– Эрнан Кортес был выдающийся, мудрый человек – знаете, какие они, эти древние, великий завоеватель, – продолжал он густым, жирным голосом. – Добравшись до Морелос, он основал здесь первую церковь и первую сахарную мельницу, вот прямо где Тлальтенанго, неподалеку от Куэрнаваки. Как знать, может, ему виднее было, что делать.

Маленький индеец слегка коснулся рукой моего колена, а потом указал ей на город, сияющий среди сумеречных мангровых деревьев.

– Во времена сапатистов тут что ни день то бойня, но ведь теперь все ушли – и священники, и земельные хозяева, и посредники, и бандитов не осталось ни в холмах, ни в городах; мы ведь теперь объединились.

– Объединились, чтоб с голоду пухнуть, – ответил толстяк. – Губернатор Куэрнаваки *sinvergüenza* («мерзавец», исп.), кооперативщики мерзавцы, и следующая революция будет против мерзавцев.

Маленький индеец с почтением взирал на своего толстого друга, улыбался и ничего не говорил.

Письма Дж. Дос Пассоса

Перевод выполнен по изданию: Dos Passos J. The Fourteenth Chronicle: Letters and Diaries of John Dos Passos. / Ed. and with a biogr. narrative by T. Ludington. – Boston, MA: Gambit, 1973. P. 91-92, 508-509.

Джон Дос Пассос – Рамзи Марвину,

23 августа 1917 г.

Окрестности Вердена

Дорогой Рамми,

Война – распроклятая околесица, исполинская опухоль, которая только жиреет от лжи и злобного корыстолюбия тех, кого на поле боя и не доищешься.

Последнее, ради чего стоит воевать на этом свете, - это правительство. Ни единый из этих злосчастных, чьи искромсанные перемазанные в грязи тела я отвожу в госпиталь на своей неотложке, не дал бы гроша проклятущего за эти цели, ради которых ведется эта нелепая бойня – они воюют потому, что слишком малодушны и слишком лишены воображения, чтобы понять, куда на самом деле следовало бы оборотить оружие.

Бога ради, Рамми, мальчик мой, затолкай все это себе в трубку и скури – все, что говорят/пишут/думают в Америке о войне это брехня – Боже правый! Дух спирает хуже, чем от ядовитого газа!

И вот я сижу, противогаз на плече, шлем на голове - in a poste de secours (в окопе) – рядом 220-миллиметровая пушка, которая, покуда я пишу, зашлась своим адским лаем и снесла кому-то полголовы.

Не говоря о том, до чего мне горько все это вообще, я и обязанностями своими наслаждаюсь безмерно, - неделю мы пробыли, как говорят, в самом жутком пекле, где доводилось бывать скорой помощи, - и все время с тех пор, как наше подразделение из двадцати фиатов спустилось с холма в растюканную долину, что за этим леском (в нем-то мы по большей части и работаем), - все это время то и дело нас бомбят.

В свою первую ночь я провел в окопе пять часов, спасаясь от ядовитого газа – у нас, разумеется, были противогазы, но ничего более адского я и представить себе не могу.

<...>

Это просто поразительно, сколько снарядов может разорваться вокруг и даже тебя не задеть.

Наша неотложка просто в решето – как эта старушенция не рассыпается на части, выше моего понимания – присылай весточку – и подумай о войне – и не верь никому – даже мне – и вообще никому, кто и вправду здесь был.

Джон Дос Пассос – Э.Э. Каммингсу

23 августа 1937 г.

Провинстаун

Привет, Каммингс – Пронесся слух в чрезвычайно приятном обличье Морри Вернера, выволокнувшего его по горячим следам из публичной библиотеки: мол, ты вытащил свою обезьянью ферму из Нью-Йорка и перетащил ближе к Лондону как раз тогда, когда мы свою втащили обратно после столь многообразных и поучительных путешествий между двумя войнами. <...> Он также снабдил меня твоим, я надеюсь, не полностью вымышленным адресом. Потом у Банни мы слушали твою пластинку – позор на голову Франклина Д. Каммингса – которая, кстати, на удивление хороша и должна производить очень даже недурное воздействие на людей, собирающихся почитать книжку из Harcourt Brace. Под людьми, сэр, я имею в виду американских людей, 130 миллионов американцев. Все это заставило Кэти попенять мне, что я никогда не вытаскиваю на свет Божий этого Каммингса, а меня – пожалеть о том, что нету на этом берегу Каммингса, которого можно было бы вытащить на Божий свет. Все чаще друзья становятся взрослыми людьми – что особенно необыкновенно для приматов

и человека в частности – и тем больше они становятся похожи на стариков и меньше – на друзей. Майкл Лойола Голд – далеко не единственный, кто обвиняет меня на страницах газет в том, что я к этой стадии даже не приблизился и вместо того продолжаю пребывать в прискорбном, буржуазном, воинствующем и неискоренимом подростковом малоумии – и я от всего сердца надеюсь, что и тебе тоже по-прежнему ближе юношеская игривость, нежели свирепый рык престарелой гориллы. Как ты, Каммингс? Как насчет того, чтоб обронить в почтовый ящик открыточку с описанием основных характеристик среды обитания?

Я тут в своей башне из слоновой кости – проклятуще высокой штуковине, которая, надеюсь, вполне себе огнеупорная и устоит против подстрекательских снарядов – и здесь проклятуще уютно. Время от времени приходится прогуливаться к огневому рубежу, дабы убедиться, до чего тут недурно – огневой рубеж, преисподняя, каторга, не знаю, как лучше это назвать – в любом случае, эта дорожка из опилок не для меня. Как тебе Париж в этом году? Мне вдруг снова приглянулись и Париж, и французы. Когда дела идут совсем паршиво, французы делаются проклятуще отличными ребятами. В этот раз они показались мне почти такими же, какими были на войне: бодрые, веселые и даже не жмоты. Увидишь Леже – передавай ему от нас с Кэти самые добрые приветы, когда мы были в Париже, он был проклятуще мил. Никогда еще я не получал такого удовольствия от этого мыса, как нынешним летом: все эти лодочки под парусом, огородики.

Мы с Кэти обнимаем тебя и Мэрион

Твой Дос.